



ЮНОСТЬ

5

1964



Г. ЧЕРЕМУШКИН.

На целине.

Гравюра на гипсе
из серии «Казахстан»

Михаил Светлов

Фото



Музыка ли, пенье, что ли, эхо ли,
Что же это зазвучало вновь?
От вокзала Дружбы мы отъехали
К следующей станции — Любовь.

Кто-то с кем-то навсегда простился,
Чай колеса, затоптали след?
И над стрелочницей опустился
Свет разлуки — сумеречный свет.

Будем вместе во всеобщей давке.
Ну, какой тут может быть секрет,
Если из конспиративной явики
Вышла ты, любовь, на божий свет!

Звездами планета разнаряжена.
Ночь растет, растет за часом час,
И заря в тумане ищет скважину,
Чтоб потом насплетничать о нас.

Рано еще. Чуть взошло светило.
Только-только ночь простираясь ищи,
И еще не прикасалось мыло
К неумытым лицам проводниц.

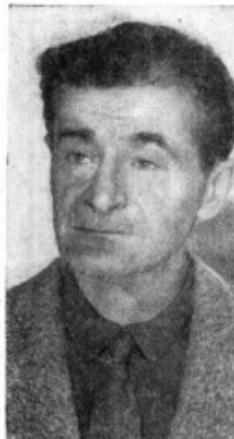
Так оно ведется год от года,
Шпал мельканье, шепот проводов,
И обогащается природа
Движущимся утром поездов.

Через все завалы снеговые,
Через летний утренний туман
Комсомольцы Западной России
Мчатся на Алтай и в Казахстан.

Пусть они ни разу не сражались,
Мне смотреть на них не надоест,
Как они воинственно прижались
К седлам бесплацкартных мест.

Юность расшумелась по вагонам.
Что творится поутру?
Контролер отшельником казенным
Ходит в распевающем миру.

Каждый день торчу я на вокзале,
Корошо б за тыщу верст махнуть!
Вежливо мне годы указали
Путь домой — без путешествий путь!



В больнице

Ну, на что рассчитывать еще-то?
Каждый день встречают, провожают...
Кажется, меня уже почетом,
Как селедку луком, окружают.

Неужели мы безмолвны будем,
Как в часыочные учрежденья?
Может быть, уже не слышно людям
Позвоночного столба гуденья?

Черта с два, рассветы впереди!
Пусть мой пыль как будто остывает,
Все же сердце у меня в груди
Маленьким боксером проживает.

Разве мы проститься захотели,
Разве «Аллилуя» мы споем,
Если все мои сосуды в теле
Красным переполнены вином?

Все мое со мною рядом, тут,
Мне молчать года не позволяют.
Воины с винтовками идут,
Матери с детишками гуляют.

И пускай рядами фонарей,
Ночь несет дежурство над больницей,
Ну-ка, утро, наступай скорей,
Стань, мое окно, моей бойницей!

Апрель 1964 года.





Ф а з и л ь И с к а н д е р

Весна

За город рвется электричка,
Наращивая аппетит,
Как ошалевшая москвичка,
Тряхнув кошельками, бежит.
Навстречу из любых расселин,
Напор весны неотразим,
Летят напруженная зелень
И воздуха зеленый дым.
...Пчелиный слушаю напев я,
Подземный и тягучий гул.
Торжественно гудят деревья,
И сад, блаженствуя, уснул.
Дадут слог стихов возвышен!
Здесь агитация садов:
Меняя непрочность белых вишен
На прочность красную плодов,
На соснах пенистая влага,
Ты, кровь древесная, играй!
В стволах, как в бочках, бродит
брага,
И льются смолы через край.
Промытые сияют травы,
Мечта застенчивых быков,

Еще не тронуты потравой
Жары и летних пикников.
Твой сок, березовая юность,
Не пил из горького коша,
Не то чтобы не подвернулось —
Не понимал, что хороша.
Теперь гляжу я на березку.
Вот эту б., тонкую, погрызть...
(Но, скажу зубами палироску,
Черемухи ломая кисть.
Вокруг засияние черемух,
Цветены сладостный дурман.
Когда-нибудь в таких хороших
Я в prose напишу роман.
Весь мир весною перевернут!
'Цветение водоворот'.
Здесь даже старый, черный омут
Крахит, а ряской цветет.
На полпланеты полыхает
Весны необоримый дар!

А мой сосед в саду вздыхает:
Чужие пчелы жрут нектар...

Утро в Дубне

Шуршаные мокрое гудрана
По свежей улице с утра:
Летят кормильцы циклотрона —
Алхимики и мастера.
Попыхивая сигаретой,
Выносятся из полууты.
Но почему велосипеды,
Тончайшей техники умы?
Рациональная спортивность?
Или приятна просто вам

Той ранней техники наивность,
Как лепят женщины мудрецам?
На внутриатомном распаде
Движение будущих ракет.
На внутримышечном заряде
Работают велосипеды.
И шпарят физики с уклоном,
Догадкой озаря взгляд,
Как будто сотни почтальонов
К нам из грядущего летят.

Баллада о «девочке из саркофага»

Почему из векового мрака
Вынесла на наши берега
Каменную лодку саркофага
Вечности подземной река?
Маленькая римянка, фанчуала,
Почему так много говорят
О тебе, которая уснула
Два тысячелетия назад?
Вспыхивают лампы репортёров,
Молнии неведомых племен,
Словно блики дальних метеоров
Сквозь нагромождения времен.
Варвары, слоны и колесницы
Проносились, как чума и глад,
И дрожали детские ресницы
Два тысячелетия подряд.
Волей византийского коварства,
Волей самозванцев и царей
С грехотом вставали государства,
Заглушая вопли матерей.

Но сметало время по привычке
Царства и богов с лица земли...
С твоего ж лица одной реснички
Бури века слушнуть не смогли.
И ищите тайны в саркофаге,
Здесь любовь великая одна...
Материнских слез чистейшей влагой
Девочка от праха спасена.
Два тысячелетия у предела
Над бессмертнем детского чела.
Женщина, ты этого хотела:
Дочь твоя тебя пережила!
И под силу никаким Атлантам
Этот тихий, этот горький вздох,
Женская святая контрабанда
Из кровавой суетой эпохи.
От гримасы злобного излома
Этот мир спасали, как могли,
Матери земли... О мама Рома!
Мама Рома, матери земли...

АЛЬПИЙСКИЙ ХОЛОД

Альпийский космический холод.
Из всех только этот люблю.
Шагаю, покуда я молод,
Мотаю петлю на петлю.

По горным исторьям дорогам,
Где влажно спиркают лога,
Где надо пройти по отрогам,
Чтоб к черту взойти на рога.

Бывало, туманы тревожат,
Как будто бы сбились с пути,
Как будто бы небо не может
Дорогу на небо найти.

И тонут стремительно края
В предместье альпийских лугов.
Ты сквачен внезапной кашей
Внезапных июльских снегов.

Спасение вету от градин.
Ты думаешь: божеский суд.
От пресных ты пыни виноградин,
Ведь, сволочи, в голову бьют.

А ливень! Хоть это нелепо,
Он верить заставит тебя,
Что можно, качаясь, на небо
Взобраться по струям дождя.

Но вот открывается к ночи
Пастушеский тесный шалаш.
Ты вымерз, ты вымер — короче,
Ты с жизнью простился — шабаш!

Еще дотянуть бы окурок,
Вдохнуть глубоко-глубоко...
Тяжелыми крыльями бурок
Ты в сон опрокинут легко.

А утром грызешь у костища
Почти ископаемый сыр.
А рядом и блещет и свищет
Зелений, пронизительный мир.

Ты шел, оглушенный, как рыба,
Ты чуть не загнулся в грязу,
Но теплого, липкого гриппа
Здесь нету. Он где-то внизу.

Зимние игры

Сухого ветра жжение,
Гулает Подмосковье!
Цветастое скольжение,
Январь, снега, здоровье.

На лыжи! Ветер лежится,
Стучит о палку палка.
Со мною рядом лыжница,
Цыганкистая Галка.

За быстрою пробежкою
В глазах мелькают елки.
У спутницы насмешкаю
Горят глазные щелки.

Летим, снегами шаркая,
Морозная пыльца.
Вокруг такая жаркая,
Косматая зимища!

Шугают белку школьники.
Она по ветке лысой
К вершине треугольника
Взлетает биссектрисой.

Мне Север Ютом кажется,
Хоть и с обратным знаком.
Здесь лыжницы, как пляжницы,
Подвержены атакам.

Студенты вояжируют.
Их палочки с разбега
Как будто дирижируют
Симфониями снега.

Счастливейшие мытари.
Глядят не мимолетно

На девичьи на свитеры,
Напяленные плотно.

Вскипают страсти. Корсика!
Как будто бы бесцельно
Подъедут и по просекам
Поедут паралельно.

А ну-ка, душу вытруси,
Дорожка снеговая!
Мы тоже вам не цитрусы,
Ну, вывози, кривая!

Расплющеный распоркою,
Тяжелый, как булыжник,
Лежу в снегу под горкою
И думаю: «Эх, лыжник!»

А спутница, на корточки
Почти присев — гляди-ка! —
Летит, откинув мордочку,
Победная, как Ника!

— Вот это траектория! —
Я говорю, вставая.—
А ты, моя теория,
Не вывезла, кривая.

Друзья, не страшно шлепаться,
Не страшно и не странно,
Страшнее старой шлепанцией
Валиться у дивана.

Домой! Взлетают палочки
Все тише, тише, тише...
Конец! Спасибо Галочки
За снег, за все, за лыжи!



Повесть



КОЗЫРЬ

МОНАХА ГРИГОРИЯ

Рисунки
И. Обросова.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Н и дороги, ни тропинки, Каширин шел наугад, по памяти; сначала он шагал по дну небольшого оврага, поросшего осокой и кустарником, потом по склону косогора, а когда выбрался на вершину, было уже около шести вечера. Солнце садилось, большое и багровое в напльывающих облаках; где-то за станцией, за железнодорожным полотном, коснулось оно земли, и в эту минуту — Каширин даже остановился от удивления — послышался тонкий и протяжный гудок паровоза, затем эхо прокатилось по оврагу, переметнулось в горы и отозвалось многоголосым глухим и далеким стоном. «Знамение!..» Каширин усмехнулся. Усмехнулся потому, что подумал о знамениях, о молитвах, которые надо читать при знамениях, — он знал их наизусть, — о старухах, падающих на колени при одном только упоминании этого знака божьего («Господи, сколько их, разбросанных по свету, этих доверчивых и неразумных, повязанных черными платками старух!»). И еще подумал о себе; он не верил ни в бога, ни в черта, ни в какие знамения, хотя те самые старухи, всегда покорно слушавшие его по-

АНАТОЛИЙ АНДАНЕВ



церковному мелодичному голосу, называли его святым отцом Григорием. Он был и «святым отцом» и «монахом». На груди носил четки. Эта связка поперечных из дерева и рук деревянных кубиков и квадратиков и сейчас висела на шее, спрятанная под рубаху и пиджак. Каширин поправил полы пиджака и ощупал ладонь четки. И снова вспыхнула и скользнула по лицу усмешка.

Он еще секунду постоял, глядываясь в багровое закатное небо, прислушиваясь к далеким стационарным звукам, и опять шагал, теперь уже по самой вершине косогора. Потом спустился вниз, в лощину, отыскал самый большой родник и долго шарил пальцами по дну, взрыхлив песок, остановился, отогревал руки и опять принимался искать поспешно, зло. Шесть лет назад, еще до ареста, он закопал здесь серебряную ризу с иконами боевой матери; еще тогда хотел открыть «чудо» пятигорским веющим и назвать эти родники «святыми». Каширин снова и снова принимался рыть песок то на дне одного, то на дне другого родника — их здесь семь: в котором запрятано раз? В третьем? Да, кажется, в третьем. Неужели он забыл, неужели память изменила ему? Было уже темно, когда он наконец посиневшими, почти бесчувственными от холода и переска лапьями наткнулся на занесенную илом облицовку иконы. «Она...» Каширин повертел ее в руках, смыв ил и снова при слабом свете вечерней заря оглядя ее, — да, это была та самая серебряная риза с иконами боевой матери, которую он хранил много лет, хранил сначала просто как ценность, возил с собой из города в город, заворачивая в тряпье, а потом по совету брата во Христе, немощного старца Дмитрия, зарыл здесь, на дне родника, для «чуда».

— «Пресвятая владычице моя богоордине, святыми твоими и всеми сильными мольбами отгони от меня, смиренного и окаймленного раба твоего, уныние, забвение, неразумение, нерадение!» — негромко, по-лушепотом начал Каширин, сначала только для того, чтобы проверить, не забыл ли молитву «о пресвятой богоордине», но по мере того, как шептал эти слова, голос креп, возвышался, тягуче и напевно звенел в ушах, и он уже представлял, как будет читать эту молитву старухам, уставшим на колени, и крестящимся старухам: — «И вся сквернила и хульная помышленность отгони от окаймленного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламень страсти моих, яко нищ есть и окаянен, избави от многих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых освободи мя, яко благословлено еси от всех родов и славится пречистое имя твое во веки веков. Аминь».

Каширин все еще держал в руках ризу. Молитва окончена; он не забыл ни одного слова из нее, это хорошо; и голос еще крепок и чист, это тоже радостно. Еще раз прочел молитву и задумался. Но теперь он подумал уже не о голосе и не о предстоящем чуде, которое скоро откроется пятигорским веющим, а совсем о другом: слова молитвы неожиданно пробудили в нем странные ощущения тревоги. «Избави мя от многих лютых воспоминаний и предприятий!» Каширин опять, как и час назад, на косогоре, сухо усмехнулся. Шепчи не шепчи, а от воспоминаний не уйти, от жизни не забиться. Прожитые годы, как пудровые мешки, давят на плечи, и никакими молитвами не избавиться от них. Каширин прикрыл глаза ладонью и с минуту сидел так, неподвижно и тихо, и в эту короткую минуту, минуту воспоминаний, пронеслась перед мысленным взором вся его жизнь.

Он вспоминал не последовательно, не событие за событием, как все было в жизни, а лишь отдельные картины, лишь то, что с особенной силой когда-то запечателось в душе и сейчас было дорого и ненавистно ему. Избушка лесная, лесной скит, где он прожил почти пять с лишним лет. Скит стоял на краю обрыва, окруженный высокими соснами; и эти сосны, этот домик с одним-единственным оконцем, увешанный иконами и образами, склоненные спины старцев — их было сначала трое, потом двое, потом остался один, самый старший, седой, как луна, инох Филипп, — склоненные спины старцев, лысые, вздрогивающие затылки и головы, тягучие, охрипшие и умиленные, молитвы и книги, молитвы и книги — все это сейчас всплыло в памяти и тоской сковало сердце. Инохи умирали, скит пустел, рядом росли холмики и кресты.

Но однажды старец Филипп повел его, худенького мальчика Гришу, к людям, в село. Они остановились в тени палисадника, напротив огромного деревянного дома, покрытого железом, — зеленая крыша, как церковные купола, ласконо отсвечивала на солнце, — сели на траву у штакетника, и старец Филипп торжественно и нараспив, как молитву, произнес «известное» слово: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем своим!» В этом доме жил твой дед, мой родной брат; в этом доме жили отец твой и мать твоя, убиенные ныне Михаил и Настасья; их расстреляли за окопицей ночью и тела волоком притащили по снегу на церковную площадь... Может быть, не так запомнились слова старца, но дом с зеленою крышей, огромный деревянный птицентник, как живой, стоял в глазах мальчика.

Позднее он узнал, что отец его раскулачен и вместе с матерью сослан на Север за поджог колхозных хлебных складов; позднее юноша Григорий еще раз приезжал в родное село и видел отцовский дом, превращенный в пекарню, обшарпанный и подновленный, с тесовыми пристройками, угольной кладовой и муминым амбаром, но это уже было не тот, не каширинского богача птицентника; позднее, уже после войны, снова случай привел Григория, уже имевшего себя монахом, проехать через родное село и увидеть дом, теперь померкневший и покосившийся, превращенный в склад для мешкотары, а рядом возвышалось кирпичное здание районной пекарни. Все три встречи, и особенно первая, вспомнились Каширину сейчас так ясно, с такими мельчайшими подробностями, будто он сидел у палисадника, облокотясь спиной к штакетнику, и слышал под ухом торжественный и напевный голос старца Филиппа: «Смотри, сын божий Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем...»

Каширин встал, огляделся вокруг, зябко передернул плечами, будто этим движением можно было сбросить с себя тяжесть нахлынувших воспоминаний, потом нагнулся и торопливо зарыл серебряную ризу с иконами в песок на дне того же, третьего по счету снизу, родника. Потом раздвинул кусты, выбрался на косогор и теперь пошел прямо по гребню вершины, не спускаясь в овраг; он знал: сейчас темно, никто не увидит его.

Внизу горели огни стационарного поселка.

Всю дорогу, пока он шел по гребню, и затем, когда шагал по улице поселка, придерживаясь теневой стороны, и потом, когда сидел на вокзале — с ночным поездом должна была приехать «сестра во

Христе! Екатерина Супрунова, и он пришел встретить ее,— когда сидел на вокзале, забывшись в дальний, темный уголок, к окну, под фикусы, все те же тягостные воспоминания, нахлынувшие у родника, ни на минуту не покидали его. Прожитая жизнь, как лента, раскручивалась перед глазами, и было на этой ленте красные, белые и черные пятна; больше черных, как платки молящихся женщин.

«Господи, избави мя от многих лютых воспоминаний и предпринятий...»

Могила старца Филиппа за оконцем Афимовки, большого алтайского села, заросшая лебедой и польникою, осевшая, никем не ухоженная. На эту могилу водила его Григория, десятилетнего мальчика, тетка Мария, злая, ненавистная и грубая тетка. Она заставляла его опускаться на колени и читать молитвы об усопших: «Помяни, господи, от жития сего отошедших...» — и сама крестилась, билась головой о траву и рыдала, а по вечерам, когда собирались в доме верующие, зажигала лампадки перед иконой боянки матери (как раз с этой иконой и сорвал поток Каширина серебряную ризу), и опять начиналось пение и коленопреклонение. Мальчик Григорий, сирота, божий человек, как называли его собиравшимися старухи, должен был прислуживать тетке Марии на бдениях. Эти годы запомнились Каширину как бесконечное колебание черных сгорбленных старушеческих спин, темные силуэты крестов на афимовском кладбище и приношения, которые молящиеся оставляли на столе после ухода. Вот они, чуть развернутые узелки с хлебом, салом, яйцами; тетка ворчала, когда узелков было мало; ее лицо с одутловатыми щеками, пухлыми веками и коротким гладким лбом — оно даже во сне снисло Григорию — это всегда злое, отпугивающее, совсем не смиренное лицо тетки.

Раз в месяц она водила его к «болеющему человеку». Ходили ночью, крадучись; на самом kraю Афимовки, в избе юродивой старухи Марковны, в подполье, завернутый в лохмотья и тряпье, лежал этот «болеющий человек». Грехот дверного засова, скрип лестницы, ведущей в подполье, сырой, магильный запах земли — все это вызывало озноб в худеньком теле Григория. Каждый раз он шел к «болеющему человеку», как на казнь, и сидел перед грудой лохмотьев, перед заросшим и бледным, как мертвца, «святым», съежившимся в комочек, дрожа от сырости и страха. Там он впервые услышал об истинной православной церкви, там впервые в его детской душе возникли противоречивые мысли: зачем эти молебни и лохмотья, сырье подполья иочные бдения, когда есть солнце, есть трава, птицы, люди, его сверстники, мальчишки, шумно играющие на поляне в лапту?

«Смирись!»

«Смирись!»

«Смирись!»

Твердка тетка утром и вечером, внушила при встречах «болеющему человеку». И Григорий смирялся, читал евангелие, заучивая псалмы и молитвы. Он был такой же худой и бледный, как и «боле-



щий человек», и видел солнце только сквозь задернутое цветной ситцевой шторкой окно. Он не знал тогда, что и тетка Мария и тот «болеющий человек», бывший белогвардейский офицер, анненковский католик, возглавляли общину последователей истинной православной церкви, не знал, что есть такие общины, — бог в его представлении был для всех один, и он молился одному Богу; не знал Григорий, что «болеющий человек» вовсе не был болеющим и воздержанным; не отреченно, не по-монашески жил этот злобствующий и стареющий «святой», в неделях пьянствовал и гулял с теткой Марийей, пьянствовал тайком от верующих, и даже не в подполье, а в комнате — Каширина сам однажды видел это сквозь щель в ставне; и еще не знал тогда Григорий, запущенный божками карами, что эти люди готовили его к проповеднику, радетели веры, миссионеры и потому показали отобранный отцовский дом, потому напомнили о былом достатке и «кубинских» родителях.

Сейчас, когда Каширина самого стали называть монахом, святым отцом Григорием, когда в его жизни все определено и намечено, сейчас, перебирая в памяти прошедшие годы, он с ненавистью думал о тетке Марии и о «болеющем человеке», которого давно уже не было в живых — его похоронили рядом со старцем Филиппом на афимовском кладбище. Это они, тетка и «болеющий человек», сделали его, Каширина, таким двойственно злым, злым на власть, на колхозы и злым на молящихся старцев, на скитских иноков, безжалостно отбравших у него детство. Он мстил старцам, кощунствуя над церковными писаниями, завещанными ему «болеющим человеком», и мстил людям, вовлекая их в круж при приверженцев истинной православной церкви, вовлекая и старых и молодых, обманутых, обиженных, слабых, чтобы собирать с них пожертвования и жить самому за счет этих пожертвований.

Тихий говор пассажиров в стационном зале оживления не мешал ему размышлять; он никого не видел и ничего не слышал, погруженный в свои думы; у окна, за большими зелеными листьями фикусов, было спокойно и уютно. Он думал сейчас о по-



следней встрече и разговоре с «болеющим человеком». Было это давно, в третью послевоенную зиму. Ночного ветер взвихривал и гнал поземку по улице, мрачно глядели из-под белых крыш и сугробов черные, закрытые ставнями окна деревенских изб. Григорий шел вместе с теткой Марийей навстречу ходяющему ветру и кючкой поземке на краю села, к дому юродивой старухи Марковны. В комнате было тепло, «болеющий» лежал на кровати, накрытый темным одеялом, у изголовья и ног его горели свечи; две старухи, всхлипывая, читали заупокойную. Пламя свечей колебалось, и в этом колеблющемся полумраке все казалось неестественно большим и расплющенным; и головы читающих старух, и особенно их раскаивающиеся тени на стенах, и крест с изображением распятого Христа на груди умирающего, и особенно лицо, восковое, без единого движения, и закрытые провалившимися глаза. Все смолкли, едва тетка Мария и он, Григорий — аму тогда было шестьнадцать лет — переступили порог. «Болеющий» человек открыл глаза и попросил всех удаляться. Григорий один остался с умирающим в комнате, так хотел «болеющий» человека.

— Подойди ближе, сын мой, — проговорил он. — Тебе завещано говорить народу устами Бога, и я благословлю тебя на это. Да воздастся тебе стоящая за благие деяния твои... Глаза старца сверкнули. Каширин хорошо запомнил, как озлобленно и с какой ненавистью сверкнули его глаза. Потом умирающий поманил пальцем приподнявшись поближе и снова заговорил: — Пролившие кровь да поплачутся своей! Поклянись перед господом, что не отступишься от веры, пронесешь истину в грядущее, дабы знали правдивы жития и мучения отцов своих. Клянись и целуй крест.

— Клянусь тебе, господи!

— А теперь позови женщин.

Когда вошли старухи, «болеющий человек» трижды перекрестил стоявшего на коленях у кровати Григория и, напрягая силы, как можно громче произнес:

— Святой, истинно святой, молитесь и преклоняйтесь перед ним.

К утру «болеющий» умер.

О клатве Богу Каширин всегда вспоминал с усмешкой; и сейчас, сидя у окна за фикусами, он усмехнулся, повторив про себя: «Клянусь тебе, гос-

поди!» Листок фикуса слегка покачивался почти перед самым лицом, и Каширин хорошо видел на нем и тонкие белые жилки, и белесую, как мучной налет, стансционную пыль, — он дышал, пыль слетала, незаметно растворяясь в душном воздухе зала ожидания, и листок светел, словно ожидал у него на глазах; листок ожидал так же, как ожидал воспоминания в воображении Каширина, — и те далёкие дни детства в Афимовке, когда он обмывал ноги тетке Марии и заучивал псалмы и молитвы, и афимовский молитвенный дом, в котором он стал потом главным служителем, и затем суд, лагерные годы — это особенно гнетущее действовало на него сейчас и озлобляло, — и еще совсем недавнее прошлое, вернее, то, что было вчера, позавчера, три или пять дней назад, когда после освобождения из заключения он приехал в Пятигорск и впервые встретился в доме старухи Алферовой со здешними верующими. Службы не было; он просто беседовал с ними, потому что надо же было ему сколачивать на новом месте общину, и он просто выведывал, много ли в Пятигорске верующих, кто они и не «забыли ли Бога». О себе он сказал лишь, что приехал из Сибири, что «страдал за веру и что был рад принять это «мученичество». Перед мысленным взором Каширина сейчас вновь всплыли удивленные и умиленные лица пятигорских верующих женщин; впереди всех сидела хозяйка дома Алферова, рядом с ней — старуха Тельянгина, и Григорий особенно хорошо запомнил их сияющие глаза; они смотрели так доверчиво, и во взглядах их было столько торжественности, — иначе кончилось бы сеансовый вспоминки и о них и присягал им на вящую радость святого отца! — было столько торжественности, что Каширин даже немножко смущался; он старался не смотреть на них, когда отвечал на вопросы.

«Теперь церковь открывать, или как?»

«Откроем, но только Богу известную и нам».

«Это как же?»

«Господь подскажет и указует».

«А в Калачинске так там и в колокола к обедне, и все чин по чину».

«Колокола те не Богу звонят, а антихристу. Бог нынче покинул те храмы, оттого и пошли они на раззор. А почему покинули? Потому что истинной веры не благодут там».

«Вона-а...»

Каширин снова скептически скривил губы, вспомнил и это «вона-а», и то, как и что сам говорил, как при этом неторопливо крестился и шептал молитвы; он ничего не сказал им, какую общину хочет собрать здесь, в Пятигорске, что это будет за община, — перед ним сидели верующие, и хотя это были пока лишь одни старухи, но он знал, что вслед за старухами придут и помоложе, и совсем молодые, потому что в каждом городе среди сотен тысяч людей всегда найдется несколько десятков недовольных, оскорблений и несчастных, и им нужно «сочувствие» и «утешение»; они найдут у него, «монаха» и «святого отца», и «сочувствие» и «утешение».

«Найдут...»

— Можно? Не занято?

Каширин вздрогнул от неожиданности и удивленно взглянул на человека в легком сером демисезон-



ном пальто и такой же серой шляпе, который сбиралась сесть рядом и газеткой смахивала крошки со скамьи.

— Можно?

— Садитесь, — равнодушно ответил Каширин, будто ему действительно было все равно, сидят ли кто рядом или нет. Однако незаметно для непрощенного соседа онинул взглядом станционный зал ожидания: нет ли где более уединенного и спокойного уголка?

Между тем, расположившись поудобнее на скамье и сняв шляпу, человек в сером демисезонном пальто снова заговорил, обращаясь к Каширину:

— Здешний?

— Нет.

— Я тоже приезжий. Недавно. Перевели, знаете ли. А сегодня, — он достал носовой платок, вытер им щеки, лоб, шею, хотя ни лицо, ни шея не были потными, потом свернул платочек так же аккуратно, углом к уголку, спрятал в карман и только после этого продолжил: — Сегодня жену встречаю. Едет. — Он взглянул на часы. — Едет... А Пятигорск — вы не находите? — странный городишко. Одна улица на тридцать верст! Страшно неудобно: первый кордон, второй кордон, третий кордон... И названия то совсем не городские. Город и кордоны — представьте себе, не сразу укладывается в голове. Клуб на первом кордоне, там, можно сказать, центр, а что прикажете делать людям с третьего? А ну, пошагай тридцать верст из конца в конец...

Он говорил громко и возбужденно, то и дело вставляя обращения: «Как вы находитесь?» Как вы считаете? — и Каширин, которому совсем не хотелось поддерживать беседу с этим неожиданно подсевшим гражданином, вынужден был так или иначе что-то отвечать — либо соглашаться, либо отрицать. Каширин предпочел соглашаться; так было проще, удобнее; он даже не произносил «да», а просто кивал головой. Между тем он тоже, когда первый раз, еще до ареста, приезжал в Пятигорск, с удивлением смотрел на вытянутый вдоль большого ущелья город. Но теперь, когда познакомился поближе, когда подыскал домик на третьем кордоне, вдали от центра, от «начальственных глаз» — домик для молчания, — решил, что такое расположение даже удобно. Удобно для него.

— Универмаг на первом, «Гастроном» на первом, предстарайте себе...

— Да, да.

— Город, как рыба: голова и хвост...

— Да.

— А сообщение какое?

— Да.

Сначала Каширин только искас поглядывал на оживленно говорившего соседа, но потом заметил, что и лицо собеседника, полное, гладкое, и его манера беспрерывно вытирать шею, лоб, щеки носовым платком напоминают что-то очень знакомое. Прягаясь внимательно — действительно, этого человека он уже где-то видел, но где именно? Каширин принялся перебирать в памяти разные встречи. Полными были начальственные лагеря, где он отбывал наказание, и начальник конвой, и еще общественный обвинитель на суде; он тоже беспрерывно вытикал шею и лоб носовым платком, говорил возбужденно, с хрипотцой в голосе. Каширин сразу вспомнил и зал суда, до отказа набитый людьми, конвойера за спиной, судей за красным столом, прокурора и общественного обвинителя, этого самого человека в сером демисезонном пальто, который сидел сейчас рядом и назойливо рассуждал о плавировке города.

«Он!»

Между тем и собеседник — это был лектор горкома Иван Евдокимович Шевелев — тоже все пристальное и пристальное всматривался в лицо Каширина и наконец, неожиданно оборвав на середине очередное свое высказывание о нелепом расположении и планировке городов, кстати, относящееся не только к Пятигорску, оборвав себя на полуслове, неожиданно сказал:

— Я вас где-то видел.

— Вы не могли меня видеть, — возразил Каширин, не позорачивая головы и не глядя на собеседника.

— Видел.

— Хм!

— Вы были под судом? Вы «монахи» Григорий, так вас в Афимовске называли...

— Ошибаетесь, гражданин.

— Возможно. Тому дали девять лет, и если он еще не амнистирован, то должен сидеть.

На это Каширик ничего не ответил. Встал и молча, не останавливаясь и не оглядываясь, направился через весь зал к выходу. Он знал, что этот назойливый собеседник, бывший общественный обвинитель, смотрит сейчас ему в спину. Каширик чувствовал на себе его сверлящий взгляд и невольно сутулился, наклонял голову. Даже очнувшись на привокзальной площади, не очень освещенной, не очень людной в этот поздний вечерний час, долго еще не мог отделаться от неприятного ощущения. Он был уверен, что здесь, в городе, его, Григория, никто не знает, кроме тех двух-трех религиозных старух, кому это положено знать, перед кем он не собирался скрывать ни свое прошлое, ни свою будущую деятельность; и вот эта неожиданная встреча в зале ожидания!

Поехавшись от ночной прохлады, время от времени потирая забинтованные руки, Каширик прохаживался взад-вперед по утоптанному тротуару вдоль уже закрытых станционных ларьков, проклиная «назойливого собеседника», станцию, зал ожидания, поезд, в котором ехала Екатерина и который уже отпраздновал. И еще думал о том, что теперь придется предпринять кое-какие меры предосторожности, может быть, даже не получать паспорт, чтобы никто из пятитурбинцев — глазное, тот самый «собеседник» — не подозревал, что в городе проживает освободившийся из заключения «монах» Каширик.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда поезд остановился, Каширик был на перроне. Но он не сразу подошел к вагону, в котором ехала Екатерина; он сперва стоял в тени, под часами, рядом с висевшим на стене вокзального колоколом, и смотрел, как толпа прибывших и встречающих постепенно заполняла перрон. Только когда людской поток хлынула к выходу, Каширик неторопливо и осторожно двинулся на встречу этому потоку — к седьмому вагону.

Екатерина ждала в купе. Она стояла одна у окна. Ехавшие с ней пассажиры уже попрощались и вышли.

— Как доехала? — спросил Каширик, отдернув дверь и войдя в купе.

Он сказал это негромко, сухо и, лишь мельком взглянув на Екатерину, тут же принялся стаскивать с полок ее вещи. Но этого мимолетного взгляда было достаточно, чтобы заметить, как хорошо эта тридцатилетняя женщина в макинутом на голову темном платке, — она порызисто повернулась, платок соскользнул на плечи и обнажил густые, заплетенные в косу и уложенные на затылке волосы.

— Спасибо, Гриша, — так же негромко ответила Екатерина, и хотя Каширик, снимавший с полок чемодан, не видел, как в эту секунду дрогнули в улыбке ее полные розовые губы, все же сразу уловил тот ласковый тон, каким она произнесла «Гриша». — Спасибо, хорошо доехала.

— Все привезла?

— Все.

— И свечи?

— И свечи. Ты не рад? — Она слегка протянула вперед руки, готовясь обнять

— Потом, потом. Бери чемоданы.

— Что-нибудь случилось?

— Потом, потом.

— О господи!

Они молча пересекли станционную площадь, потом так же молча шли по теневой стороне улицы. Было около двенадцати ночи, тротуары пустынны, никто не встречался, никто не оборачивался и не смотрел ни на Сулунову, ни на Каширика, и эта тишина улиц, полумрак, это покорное молчание Екатерины, шагавшей следом, радовали «монаха». Он думал о том, что вот она приехала по его зову в Пятигорск, послушница, смиренная, шагает сейчас, может быть, даже след в след за ним по бетонным плитам тротуара и будет шагать за ним так же по жизни, единственная радость, поддержка, опора. Он ульбакся в темноте, хорошо зная, что никто не увидит его радостную ульбку, даже Екатерина (он считал, что с ней всегда надо быть постороже, тогда больше боязни и уважения), и к нему малю-помалу возвращалось то спокойствие, то хорошее настроение, с каким он вечером пришел на вокзал, в зал ожидания. Телёры и встреча с Иваном Евдокимовичем Шевелевым, бывшим общественным обвинителем, представлялась ему совсем иначе, просто как небольшое и не очень значительное событие в цепи прочих за минувший день, — собственно, он дал понять общественному обвинителю, что тот ошибся! Главное теперь — больше никогда не попадаться ему на глаза, не встречаться с ним, вот и все.

Каширик останавливался, перебрасывал с плеча на плечо чемодан и снова шагал размеренно и спокойно; кованые каблуки ботинок ровно стучали о бетонные плиты тротуара. Он нес самый тяжелый чемодан, в котором лежали церковные книги, тетради с проповедями и молитвами, исписанные от руки, иконы, свечи, кресты и кресточки — все то когда-то завещанное «болящему человеку» и переданное потом Каширику — «монаху» и «святому отцу», — что было необходимо для оборудования церкви, вернее, молитвенной комнаты, и его монашеской кельи. На свое монашество он смотрел как на профессию, как на ремесло, которое приносит определенный доход, дает пищу, хлеб и даже моральное удовлетворение; именно моральное удовлетворение, потому что только здесь, через церковную проповедь, можно открыто выражать свою ненависть и обиду.

Каширик нес чемодан с иконами и церковными книгами так, как носят ремесленники свои инструменты, отправляясь точить ножи, чинить примусы или вставлять стекла, с тем же чувством важности и предвкушением приличной оплаты. Может быть, потому, что он больше привык к уединению, чем к людской толчее, он наслаждался спокойствием и тишиной ночной улицы. Сейчас он был особенно уверен в себе, и будущее не представлялось ему мрачным, однообразным, непроглядным, как иногда в тосклиевые часы раздумий. Напротив, ему казалось, что наконец-то судьба повернулась к нему лицом, наконец-то кончились мытарства и он занялся спокойно, размеренно, не торопясь, не жадничая.

Когда-то он завидовал «болящему человеку». Сейчас, мысленно представив себя и Екатерину сначала на служении перед коленопреклоненной толпой, потом, ночью, на супружеском ложе, — мысленно представив эту уже почти осуществившуюся мечту — жить по образу и подобию «болящего человека» (ведь Екатерина согласилась на все, что предложил ей Каширик, потому и приехала; ее согласие — в письме, которое лежит в нагрудном кар-



мане пиджака), — он с той же злостью и теперь с удовольствием подумал о себе. Он даже на мгновение поверил, что есть все-таки бог, что молитвы услышаны, и потому это открывшаяся перед ним благодать. Он прислушивался к тишине и больше к тому, что совершалось в нем самом; ему казалось, что происходит какое-то обновление в его душе, и это еще больше радовало и поднимало настроение. Он сплюнул, подумал, что, наверное, все же есть где-то этот ясевший, всесияющий и всевидящий. «Господи, многою твою благостью и величими щедротами твоими для если мне, рабу твоему, мимошедшее время ноши сей без напастей, зла, и оградил миром житие мое в православии и во всяком благочестии и честности», — мысленно повторил он, вспомнившие слова молитвы.

Но ни эта молитва, ни размышления о всевышнем, на минуту охватившие сознание, не могли затмить в его мыслях то главное, что, собственно, и было причиной приподнятого настроения,—приезд Екатерины. Теперь, в темноте, останавливаясь и перекладываясь с плеча на плечо тяжелый чемодан с иконами и книгами, он искаса поглядывал на Екатерину. Он не видел ни ее лица, ни глаз, ни рук, белых, пухлых, немного холенных рук, а только темный силуэт, только очертания женской фигуры, грудь, бедра, и каждый раз в нем вспыхивала та неодолимая страсть, естественная, человеческая, то влечение, от которого он никогда в жизни не смог бы добровольно отказаться.

Кашкирин не верил непогрешимость монашеской жизни, потому что знал, как жил «безящий человек»; он бы немедленно сорвал с себя и выбросил монашеские чехлы, если бы они хоть сколько-нибудь, хоть на мгновение стесняли его в чувствах и мыслях; и еще он оправдывал себя тем, что даже библейские патриархи жили далеко не безгрешной жизнью, хотя бы тот же Авраам с Саррой, которых голод погнал из земли Ханаанской в Египет...

Как сбрасывали колокол и срывали железо с круглых церковных куполов, Екатерина не помнит. Ей было тогда всего шесть месяцев от роду, лежала она в люльке, по-крестьянски подвешенной к потолку, и Марфа, тихая и безропотная нянька, ночами до онемения рук качала эту люльку, успокаивая и усыпляя крикливое пополовское чадо. Не помнит Екатерина и тот день, когда ее отца, полного, краснощекого, чуть начавшего лысеть служителя церкви — попа стасовского прихода, — чекисты арестовали и увезли в город, арестовали за то, что он запретил своим бывшим прихожанам, стасовским мундирщикам, вступать в колхоз, пригрозил анафемой, а случай с комбикормщиком Филимоновым, который, перекрывая свою избу как раз тем сорваным с церковных куполов железом, упал с крыши и разился, — этот случай обозвали знаком божким. Не помнит Екатерина и того, как однажды, не говоря никому ни слова, собралась и ушла из дома няньки Марфа, как увела из конюшни лошадей, потом забрала корову, а потом, отобрали дом, лучший в Стасовке поповский дом. Составлявший протокол сельсоветский писарь, заглядывая в раскрытые сундуки и ощупывая пальцами шелковые попедышины комбинации, так сказал: «Ступай теперича, матушка Василиса, и богу в рай, земной для тебя кончишися». Но попадая не уходила, она стояла на крыльце, держа на руках маленькую Екатерину и тяжкий узелок с вещами, и рыдала. Тот же сельсоветский писарь, когда опись отобранныго имущества была окончена, сжался и разрешил матушке Василисе

поселиться на окраине Стасовки в заброшенной кем-то избушке, похожей скорее на землянку, чем на избушку, без амбара и дворовой ограды, без стекол в маленьких слеповатых оконцах.

Нет, Екатерина не помнит ничего этого. Она так и не узнала, какой страшной, голодной и забийкой была первая зима, а еще страшнее — первая ночь, проведенная в этой пустой — ни топчана, ни столя — избушке. Едва переступил порог, матушка Василиса рухнула на пол и в отчаянии, плача и причитая,ломала руки; она призывала смерть, и если бы не соседка, Богомольная старушка, следившая за каждым шагом матушки, не было бы сейчас в живых ни Екатерины, ни этих тягостных дум, и крест над могилой матери давне подняли бы и потемнел от времени (матушка Василиса пережила те годы и умерла недавно, прошлой осенью, и деревянный крест у ее могилы на стасовском кладбище казался еще совсем новым, — перед отъездом Екатерина ходила на кладбище прощаться), не было бы ни этих тревожных дум, ни ее самой, Екатерины, теперь покорно шагающей по темным улицам горнцкого города следом за святым отцом Григорием.

Она думала сейчас о прошлом, потому, что человек не может, дожив до определенных лет, не оглянувшись, шагать дальше. И хотя у нее ничего отрадного и примечательного не было в прошлом и не предвиделось в будущем — молитвы, бденки, щедрые и нещедрые поклонствования верующих, лепки свечей по вечерам и еще ложносупружеское счастье с монахом, хотя между тем, как она жила в Стасовке, и тем, что ожидало ее здесь, в Пятигорске, разница была очень незначительной, но все же была, было новое, пусть просто дом, улица, соседи, — именно потому Екатерина тоже хотела остановиться и оглянуться на прожитые годы. Она вспоминала не все, а лишь то, что с годами все больше и сильнее волновало ее. Избушка, которая и сейчас стоит на окраине деревни, та самая избушка, подновленная, обжившая, огороженная, сбагриющая к оврагу, и кладбище за оврагом, кресты, кресты, большие, маленькие, темные и древние, как иконы, и свечки, белеющие строганными боками, точь-в-точь как над могилой матери, тропинка через кладбище к лесу, к грибым полянам, и оттуда, с лесной опушки, раскинувшаяся на версты Стасовка — все это сейчас представлялось в воображении и отдаленным и близким.

Екатерина как бы разом, одним взглядом охватила всю это с детства презревшую в память и знакомую до боли картину и в то же время видела ее в частностих, в деталях, каждый штрих в отдельности. Словно в детстве, словно в те далекие годы, сквозь раздвинутые ветви берез смотрела она с лесной опушки на отстроенную кирпичную школу в центре деревни, — она четыре года пручилась в этой школе и ушла, бросила, потому что ее дразнили поповкой, смеялись над ее привычкой молиться перед тем, как съесть школьный завтрак. Когда позврассела, стали говорить ей: «Мать твоя бабчит, и ты будешь бабчить. Бабчить, бабчить!..» Сначала просто было обидно слышать это непривычное слово, но потом, когда Екатерина узнала, что оно обозначает, когда однажды сама увидела, как мать, заведя в повивальную — специально отведенную небольшой чуланчик с входом из кухни — неизвестную женщину, орудовала над ней вязальными спицами и как затем исколот и окровавлен, еще не оформленшейся тельце закопала во дворе, за сараем, — когда все это открылось Екатерине, она ужаснулась, хотела убежать из дома. Но

че убежала, а, напротив, закрылась в комнате и не выходила из нее, как затворница, боясь взглянуть людям в глаза. В эти дни она выучила десятки новых молитв; она стала настоящей затворницей, замкнутой в молчаливой, и спустя год, два, три, по-прежнему не выходила на улицу, а если и разговаривала с кем, так только с богомольными старухами, все еще посещавшими дом, бывшего попадьи, матушки Василисы. Екатерина так и не смирилась с тем, что мать ее бабич, и молилась, чтобы не проговориться и не показать место за сараем — маленькое кладбище — сельсоветской комиссии (разные слухи ходили по деревне о повинительных делах попадьи, и потому несколико раз приходила сельсоветская комиссия); она так и не смогла привыкнуть к слову «бабичть». Не смогла привыкнуть и к другому, менее обидному, — «попутуха», как еще иногда называли ее мать, «Попутуха!» Но мать была не той повинтухой, которая помогает роженицам, дарует младенцам жизнь, а той, которая убивает жизнь в заточении — их было много, трупов, похороненных во дворе, за сараем. Это маленькое кладбище, на котором Екатерина всегда мысленно расставляла кресты, и то большое, начинавшееся концом огорода, сразу за оврагом, — и тогда, в детстве, и теперь, когда она стала взрослой, эти два кладбища вызывали в ней странное ощущение какой-то неосознанной вины. Когда она становилась на колени и крестася и щепка моянды, произносила: «Помилуй мя, грешную!» — ей казалось, что ее грех именно в том и состоит, что она могла и не смогла уберечь от смерти тех, закопанных не одном и на другом кладбищах. Именно тем и греческие люди, что не предохраняют смерть близких, а, напротив, каждым помыслом, каждым действием приближают ее, — так представлялось Екатерине.

Она и сейчас, глядываясь в темноту улицы и видя перед собой покачивающихся силуэты Каширин, видя этот сплут и вспоминая о кладбищах, снова испытывала то же чувство вины. Оно было сильнее, чем прежде, и больше угнетало ее сейчас, потому что все, что они — «монахи» Каширин и она, Екатерина, — собирались делать в Пятигорске, было не исправлением, не взаменением грехов, не той, всегда только мерещившейся справедливостью, а чисто-то иным, нехорошим и гадким, почему она не могла, вернее, боялась найти определение. Ее угнетало еще и то, что она не могла ничего изменить в своей жизни, и не потому, что не хватало решимости, — в ней, как и в Каширине, жила и теплилась, растревалила душу, та же с кровью впитанная ненависть к людям, арестовавшим отца, отбравшим дом, заставившим — так она думала и была уверена в этом, — заставившим матку бабичть, чтобы кормиться. Этую мысль сперва внушала ей сама мать, молясь, жалуясь, ненавидя. Затем о том же — о ненависти к новым порядкам — постоянно твердил первый ее муж, дьячок, с которым она обвенчалась, но давно уже не жила, потому что тот без просыпу пил и днем и ночью и драился. Потом внушал ей все ту же ненависть Каширин: этот говорил гневно, с холодной и беспощадной озлобленностью. Мать, матушка Василиса, искала утешения в молитвах и учила



этому Екатерину. Дьячок, напротив, сомневался, что есть Бог — иначе почему он допустил всеобщее разорение церкви? — и убеждал в своих сомнениях Екатерину; Каширин же определенно говорил, что нет ни Бога, ни чарта, а есть человек, утверждаящий на земле свое «я»; каждый утверждает «я» по-своему, и он, Каширин, по-своему.

Екатерина только прислушивалась ко всему этому. Она не могла решить сама, что правильно и что ложно. Все ей поочередно представлялось верным: и убеждения матери, и доводы дьячка, и мысли Каширина; она верила то одному, то другому, то третьему, каждый раз больше тому, с кем была ближе, теснее связана.

Она еще видела, что тысячи людей вокруг живут совсем иначе, чем она, чем Каширин и тот дьячок, бывший муж, который гонялся за ней с топором и от которого она убежала почти в одной рубашке, — тысячи людей вокруг живут совсем иначе, и это только вносило смущение в ее душу. Но жизнь Каширина, чем-то напоминавшая жизнь ее матери, была привычной, а ее ненависть и резкость, его высказывания и образ мыслей понятней и ближе, и потому Екатерина тянулась к нему, монаху, святому отцу, вполне сознавая и греховность своих помыслов — жить с монахом, — и не в силах отказаться и что-либо изменить.

Сейчас, шагая за Кашириным по темным улицам Пятигорска, она лишь мельком вспомнила о дьячке, как тот приехал первый раз в Стасовку и вместе с матушкой Василисой пил чай у раскрытоого окна, — тогда была весна, цветла сирень, и ее цветы, душные, свежие, омытые росой, почты лежали на подоконнике. Дьячок пил вприкуску с сахаром, высоко поднимая над столом блюдце, отдувался, поглядывая на сирень, и то и дело произносил: «Славно ты живешь, матушка Василиса, славно!» Но Екатерина хорошо запомнила, что смотрел он больше не на цветы сирени, а на нее, сидевшую у подоконника. Теперь, спустя столько лет, она вспомнила именно эту маленькую подробность и подумала, что хотя она и не знала тогда ничего о намере-

ниих дьячка, рыжебородого и казавшегося старым — он был почти на пятнадцать лет старше ее — слушителя божьего, но сразу догадалась по его взгляду, что он хочет, и не ошиблась; потом было свидетство, уговоры, слезы, венчание и печальное возвращение домой... Она еще подумала сейчас, что дьячок смотрел на ее грудь и особенно на ноги, когда она выходила из кухни, чтобы принести что-нибудь к столу... Каширин появился в Стасовке так же неожиданно, как и дьячок, но матушка Василиса, очевидно, была предупреждена о его приезде — позднее Екатерина точно узнала об этом — и потому встретила радушно. Так же пили чай, за тем же столом, только скрепы не цвели, и серая, поднятая грузовиками пыль сединой лежала на листьях. И все же встреча с Кашириным была приятной и запомнилась сильнее, потому что он был молод, опрятен, чист, и хотя матушка уже тогда называла его «святым отцом», он не был похож ни на одного из тех церковных служителей, которых Екатерине приходилось видеть до этого. Вспоминала теперь об этой первой с ним встрече, она вспоминала не о том, как сидели за столом и пили чай. Другие картины вставали в воображении: ночь, узкая полоска лунного света на стене, бьющего сквозь щель в ставне, тихий храп матушки и огромная фигура Каширина, склоненная над ее, Екатериной, кроватью.

«Господи!»

«Тише!»

«Уходите, буду кричать!»

«Тише! Господь сказал: дева днес пресущественного рожает, а земля вертеп неприступному принесит...»

«Уходите!»

«Я видел ваши глаза, Катя.»

«Господи! Господи!»

«Я не обманулся, я видел ваши глаза...»

Эти слова и то, как он шептал их, опустившись на колени, и то, чем был одет — в белой нательной рубашке, — и серебряный крестик на волосатой груди — все это Екатерина представляла себе сейчас так же отчетливо, как в ту ночь в Стасовке. Ей казалось, что она тогда даже слышала, как прибирались Каширины по комнате к ее кровати, ступая на голые некрашеные половицы босыми ногами... Через месяц он приехал снова и привез чемодан с церковными книгами и иконами, тот самый чемодан, больший, тяжелый, который нес теперь, сгибаясь, останавливаясь и перекидывая с плеча на плечо; он хотел обосноваться в Стасовке и обещал приехать в третий раз, уже насовсем, но его арестовали, осудили и отправили в лагерь. Екатерина узнала об этом только спустя почти год.

Она остановилась, и, пока поправляла скатившийся на плечи платок, черная расплывчатая фигура шагавшего впереди Каширина совсем слилась с густой темнотой ночной улицы.

Чемоданы положили возле двери, к стене; потом несколько секунд стояли у порога, разглядывая комнату. Екатерина смотрела с удивлением, потому что видела впервые этот купленный для нее Кашириным дом, разумеется, за ее же деньги. Но ее больше удивляла не сама комната, широкая, просторная, в которой ей теперь предстояло прожить, может быть, до конца жизни, и не уютная близость стен, сразу же бросавшаяся в глаза, — удивило другое: то, что все

здесь было аккуратно убрано — на окнах висели тюлевые занавески, на кровати высился вбитые подушки, и на крыте она была новым светло-голубым покрывалом. Но главное, что заметила Екатерина, обводя взглядом комнату, и что особенно поразило ее — это полочки, большие и маленькие, приделанные к стене в переднем углу. Она сразу же догадалась, для чего эти полочки, любовно выкрашенные белой краской, — для икон, свечей и лампадки, — сразу же догадалась и потому, повернувшись к Каширину, понимающему и благодарно улыбнулась.

Вполне удовлетворившись тем, какое впечатление произвели сооруженные им полочки и вся обстановка комнаты на Екатерину, Каширин вышел во двор: надо было проверить, заперта ли капитка, и закрыть ставни. Он прошел через сени на ощупь, не зажигая света; так же на ощупь открыл дверь, потом на ощупь проверил засов — капитка была заперта. То радостное возбуждение, охватившее его еще дрожью, когда они шли с вокзала сюда, к дому, те мысли, успокаивающие и обнадеживающие — наконец-то он заживет размеренно, не торопясь и не жадничая на жизнь, — теперь новой волной нахлынули на него. Он улыбался своим мыслям, медленно шагая в темноте по двору и машинально вытягивая вперед руку, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Хотя он в комнате, пока Екатерина разглядывала полочки, успел хорошо рассмотреть ее — и лицо, и белую шею, потому что она сняла с головы платок и держала его в руках, волосы, густые, русые, заплетенные в косу и по-крестильски уложенные на затылке, что особенно нравилось Каширину, что он заметил еще в вагоне и еще тогда решил, что это Екатерина сделала так для него, желая угодить и покраснеть — хотя он успел хорошо рассмотреть ее, но теперь, продолжая думать о ней, видел перед собой лишь силуэт женской фигуры, и даже не ее фигуры, не теперешней Екатерине, немножко пополневшей, медлительной и неторопливой в движениях, а той, более стройной и женственной, какой он видел ее пять с лишним лет назад, запомнил и хранил в памяти все эти годы, какая грезилась она ему в мучительные лагерные ночи... Он захлопывал ставни; у последнего окна на скамье остановился и заглянул в комнату: Екатерина все так же стояла у окна, держа платок в руках, и так же понимающе и благодарно улыбалась. Сквозь стекло и густую вязь листьев занавесок, в сумеречной синеве комнаты — над лампой висел темно-голубой абажур — она показалась Каширину особенно привлекательной; она стояла так, что полностью ее не было заметно, высокая грудь только подчеркивала бывшую стройность ее фигуры — прежняя, в точности та, грезившаяся все эти годы, Каширина, потому что никто не мог видеть его лица, смотрел жадно, прильнув к стеклу; он мысленно раздевал ее, сквозь платье угадывая контуры ее тела. Многое у него было задумано на сегодняшний вечер: он намеревался показать Екатерине подполье, вернее, свою будущую «монашескую» келью, где стояла железная кровать с матрасом и грубым суконным одеялом, где так же были приделаны в углу, к стене, большие и маленькие полочки для икон — это на случай, если кто-нибудь из верующих однажды вздумает взглянуть, как живет святой отец Григорий; намеревался показать вход в келью: один из сеней, другой, потайной, прямо из комнаты — между окном и столом он пропилил половицы и сделал люк, который теперь был накрыт домотканой дорожкой; хотел рассказать, как он подготовил «чудо» на родниках и как это «чудо» должно скоро открыться пяти трубинским верующим; и еще рассказать, что

кое-кто из верующих в Пятигорске уже знает о нем, святым отце Григории, потому что он поведал о себе Альфировой, добром однокой верующей старухе, у которой читал тропари «во святыю и великую неделю пасхи». Каширин гордился этими своими первыми успехами, радовался им и потому с таким нетерпением хотел сразу же, в день приезда, выложить все ее Екатерине, но сейчас, глядя сквозь окно и тяжеловуя взор на нее, все еще в нерешительности ожидавшую у порога, изменил свое решение. «Господи, прости согрешения мои милосердием твоим и человеческим!» — прошептал Каширин и закрыл ставень; он сказал это не потому, что испрашивал разрешение у бога, а просто по привычке, потому что знал наизусть десятки разных молитв.

По двору он уже шел торопливо; с той секунды, как закрыл ставень, он все делал торопливо: поставил чайник на электрическую плиту, собрал на стол и потом ходил взад-вперед по комнате, потирая руки. Он уговаривал Екатерину поскорее ложиться в постель, потому что она, наверное, очень устала с дороги, и когда наконец, потушив свет, она стала раздеваться, когда в тишине комнаты послышалась шелест сбрасываемой женской одежды, Каширин задохнулся и отвернулся лицом к двери.

О людском равнодушии и последствиях этого равнодушия, особенно трудно давалась ему; и вчера, весь субботний вечер, и сегодня, все воскресное утро, он просидел над этой главой, исписав около десяти страниц и сначала был доволен работой, но теперь, прогуливаясь по горной тропинке и вновь размышляя о написанных страницах, с горечью думал, что опять у него получилось куще, совсем не так, как он хотел бы, как это было нужно, и потому придется все переделывать. Он еще думал о том, как будет переделывать — прямо начнет с вопроса: «Почему так случается, что люди, родившиеся и выросшие при Советской власти, становятся религиозными фанатиками?» Он называл сектантами фанатиками потому, что все их называли так — в горкоме, и в областном комитете, и даже приезжавшие из центра лекторы — им ли не знать, что верно и что неверно! — но в глубине души Иван Евдокимович не был согласен с ними; многие пресвитеры и проповедники, возглавляющие общины, — это не просто фанатично верующие в бога люди, сущность их не в вере, а в ненависти к советским законам, которую можно выражать, прикрываясь верой. Иван Евдокимович знал, что большая часть человека сгниет не горя, а людское равнодушие к его горю, и считал, что следует прямо-таки объявить всем, что поход против этого человеческого порока — равнодушия; но теперь ему казалось, что есть еще что-то, чего он не знает, чего не знают многие, по крайней мере все те, с кем он знаком, но что является главным в формировании человеческого характера; только теперь он вдруг понял, почему с таким трудом давалась ему начатая недавно предпоследняя и обобщающая глава «Записок».

«Что же это такое?..» Размышляя так, разговаривая сам с собой, он медленно спускался по каменистой тропинке в лощину. Как раз по дну лощины, где были проложены проселочная колея — дорога к горным сенокосам, — двигались цепочкой люди.

Иван Евдокимович заметил шествие, когда почти спустился на проселок; сперва он подумал, что это, может быть, несколько горничных семей, возвращающихся с воскресной прогулки — пятигорцы любят отдыхать в горах, — и зашагал было по заросшей колее вниз, к городу, но потом, обернувшись и взглянув еще раз, теперь внимательнее и пристально, увидел, что шли только одни женщины, большей частью пожилые, и еще пять-шесть ребяташа с ними, и каждый нес чем-то наполненный либо ведро, либо бидон, — это показалось странным. Он остановился и, все еще продолжая думать о главе и «Записках», но уже тишина размышил, потому что необычное шествие нарядных женщин в темных платьях и косынках вызвало новые мысли, теперь уже настороженно посмотрел на них. Десятки раз он видел разных верующих и в молитвенных домах, и в церквях, и просто на улице и мог сразу отличить их среди людской толпы, особенно верующих женщин, по выражению их лиц, скборному, смиренному, по одежду, скромной и тусклой, и, главное, по тому, как они повязывали платки, наглоухо закрывая волосы и затягивая узелки под подбородками. Тех, что шагали сейчас по проселку, потому и насторожили Ивана Евдокимовича, что сразу напомнили ему верующих. Вверху, откуда они шли, были родники. Когда Иван Евдокимович заметил, что в ведрах и би-

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пустя полтора месяца после той встречи на вокзале, когда Иван Евдокимович Шевелев узнал «имена» Каширина (между прочим, Иван Евдокимович тогда подумал, что он, может быть, действительно-таки ошибся, потому что мало ли в жизни бывает очень похожих друг на друга людей), — спустя полтора месяца после той встречи, когда о ней уже было совершенно забыто, однажды в тихое воскресное летнее утро Иван Евдокимович, чувствуя себя особенно усталым и утомленным, решил сходить в горы прогуляться и отдохнуть.

Кроме основной работы в городском комитете партии, он еще во вечерам, а иногда и ночами на-пролет трудился над своими «Записками воинствующего атеиста». Он трудился над этими «Записками» уже седьмой или восьмой год, кропотливо собирая и обрабатывая материалы, вставляя и выбрасывая главы, и сейчас, когда дело явно подвигалось к концу, особенно спешил, надеясь еще в этом году отправить рукопись в издательство наконец увидеть свое детище, свое творение изданием книжки.

Он был щеславским: не авторство привлекало его, хотя все же не без гордости он думал о том дне, когда увидит свое имя и фамилию на обложке толстой да еще к тому же хорошо оформленной книги, а он иначе и не представлял ее себе, как только хорошо оформленной, потому что если уж библию, к примеру, издают в коже и с золотым и серебряным тиснением, то атеистическое произведение тем более надо выпускать отменно, — нет, не авторство привлекало его, он просто искренно верил, что людям нужно то, что он делал, и потому старался быть правдивым и честным.

Он добирался до истины сложным и трудным путем, жизненные факты были для него лишь почвой, на которой он выражал свое философское творчество. Одна глава, которой Иван Евдокимович придавал важное значение, потому что в ней говорилось

донах, которые носили женщины, была вода, он уже не сомневался в своей догадке: не иначе, родники обывали святые! Он посторонился, пропуская вперед поравнявшуюся с ним невысокую и не очень пополненную женщину, выглядевшую, хотя ей было около тридцати, еще совсем молодой. Ее коса брошенный взгляд еще больше насторожил Ивана Евдокимовича, и он интуитивно почувствовал, что именно эта женщина — предводительница всему, религиозная наставница и пророчица, и вспыхнули глазами в ее прямую спину, стараясь приступить и запомнить ее. Он не знал да и не мог знать, что это была спутница и первая помощница того самого «монаха» Каширина, которого он видел несколько недель назад на вокзале, что объявление родников святыми тоже было делом рук того же «монаха», в эти секунды, пока он смотрел в спину уходящей пророчице, Иван Евдокимович лишь мельком вспомнил о Каширине, и то больше не о нем, а о том случае, когда однажды встретил — это было на Алате, в селе — такое же шествие женщин с ведрами и бидончиками, только те лишь направлялись за «святой водой».

Когда совсем недалеко от Ивана Евдокимовича, поставив ведро с водой на траву, остановилась старуха в черном платке и такой же черной с мелкими белыми горошинками кофте, он решил подойти и поговорить с ней; лицо старухи, морщинистое, худое и даже немножко уродливое, в то же время казалось добрым.

— Водичка-то святая, небось, а?

— Святая, милый, святая, целебная.

— Чудо на родниках было? Или еще что?

— Было, милый. Икона объявилась...

— Да не икона вовсе, а только риза с иконой, — немного разочарованно, как показалось Ивану Евдокимовичу, поправила другая старуха, помоложе и выше, тоже остановившись и поставив ведро с водой на землю. «Господи, спаси люди твоя и благослови достояние твое...» — пропела она и торопливо перекрестилась.

— Зачем столько-то, целое ведро? Хоть и святая, а, поди, тяжелая, — все так же шутливо продолжал Иван Евдокимович, обращаясь теперь уже к этой, только что подошедшей старухе.

— Заразом уж, каждый раз не находишься. А молодых не пошлеши: умничают. Господи, прости их души грешные. — Она снова перекрестилась. — Пойдем, сестра, а то отстанем.

Старухи подняли ведра и, тяжело дыша и пытаясь в длинных черных юбках, зашагали вниз по проселочной колее, догоняя шествие.

Иван Евдокимович — он стоял и смотрел вслед удалявшейся процесии — недоуменно покрякнул плачами. Он вспомнил, как в рудничном партийном комитете, когда он предложил прочесть несколько лекций на атеистическую тему, ему ответили, что вряд ли в этом есть необходимость, а секретарь парткома прямо заявил, что это по меньшей мере смешно — искать среди горняков верующих.

«Горняки в бога не верят!»

«Может быть, отдельные семьи?..»

«Никаких отдельных!»

«Ну хотя бы одну лекцию. Для профилактики». «Давайте лучше на международную. Во Франции шахтеры бастуют, вот это нам интересно».

Разговор этот состоялся не так давно, на той неделе, и потому Иван Евдокимович хорошо помнил о нем. Он часто встречался с секретарем рудничного парткома и потому сейчас сразу представил себе

его, высокого, подтянутого, всегда в сером костюме и больших круглых очках, придававших особенную серьезность его лицу; Иван Евдокимович подумал, как завтра удивится этот самый рудничный секретарь, когда услышит о «святых ключах» и шествии со «святой водой», а Иван Евдокимович обязательно прямо из утра пойдет на рудник и обо всем расскажет; и еще подумал, ухмыльнувшись при этом, что рудничный секретарь непременно бросит, replique: «Какой вред от десятка верующих старух!». Многие говорят так, потому что ничего толком не знают ни о религии, ни о делах божьих служителей; это — тоже опасное равнодушие.

Иван Евдокимович живо представил себе, как он возразит секретарю: «Позвольте!» — и потом, расскажет, какой вред могут принести на вид безобидные верующие старухи, пропустив целую лекцию. И, увлекшись мыслью полемической с рудничным партийным вожаком, и совсем не замечая, что все еще продолжает стоять и смотреть на уже опустевшую колено проселка — шествие скрылось за поворотом лощинки, — Иван Евдокимович выдвигал все новые и новые доводы, подтверждающие необходимость острой и неотложной борьбы с религией. В эту минуту он, чувствуя себя именно воинствующим атеистом, он пересказывал страницы своей еще не законченной книги; с гневом говорил, как однажды сектанты окрестили в ледяной иртышской воде больного туберкулезом юношу и как тот юноша вскоре умер, отказавшись от врачебной помощи лишь только потому, что «братья во Христе» так внушили ему: «Бог дал, Бог и приберегет». Десятки молитвенных домов, легальных и нелегальных, сотни алчных пресвитерских рук, часы, дни, месяцы, годы, проведенные в молениях, коленопреклонениях и страхах, — эти дни и годы, беззаветно потерянные, могли бы стать иными и принести людям радость. Сети, расставленные сектантами, — значит, есть приманка, раз люди идут в общины, значит, есть что-то такое, что влечет их, обращаясь хоть на время истиной (Христос страдал за людей, люди страдали за веру — так по священному писанию), страдания — вот что находит отзвук в человеческих сердцах, вот эта приманка, лежащая в расставленных сетях. Но человек не должен страдать, не будет страдать, если ему вовремя помочь в беде. Иван Евдокимович встрепенулся: произнося эту мысленную тираду, он неожиданно для себя нашел еще один ключ к той загадке, о которой либо много говорят, либо совсем умалчивают, — чем иногда привлекает человека религия. «Сознание настроений, страданий и страдания...» Постепенно он снова вернулся к тем своим размышлению об участии и разнодушии людей к судьбам ближних, о чем он думал утром, отправляясь на прогулку в горы.

В доме было тихо, все спали, и только Иван Евдокимович сидел за письменным столом в своем домашнем кабинете. Он то и дело маякал ручкой в чернильницу и подносил к белой бумаге, но в самый тот момент, когда нужно было выводить первую букву, вдруг останавливался и опять в нерешительности смотрел то на высыхающее перо, то на чернильницу, то на стопку бумаги, прижатую ладонью к стеклу, и продолжал упорно искать ту нужную и все время ускользавшую — он никак не мог сосредоточиться — мысль, с которой он, сидя за стол, намеревался начать заново предпоследнюю главу «Записок». Минутами ему казалось, что он уже нашел ту истину, о которой думал в горах, но это ему только так казалось, потому что не поиски истины



больше занимали его сейчас, а иное: он все время возвращался мыслью к процессии со «святой водой», двум старухам и пророчице (так называл ее Шевелев, потому что она показалась ему именно пророчицей), выступавшей впереди, полногрудой, румяной, надменно и косо, на поворачивавшие головы, взглянувшей на него, Ивана Евдокимовича, молча уступившего ей дорогу. Именно потому, что он думал о ней, видя в ней теперь не только пророчицу, вернее, не столько пророчицу, а просто женщину с теми завидными чертами уставшейся крестьянской красоты, дородности, здоровья — он даже заметил, как бугрилась ее темная косынка над валиком уложенных на затылке волос, — с теми завидными чертами уставшейся крестьянской красоты, которые представлялись ему совершенством — всегда волновали его воображение. Он снова макнул ручку в чернильницу и ничего не написал; вытикал перо и опять погрузил его в чернила; потом встал и, нысялено чертихаясь, прошелся по комнате. Нет, работа ему никак не давалась, а между тем он чувствовал, что именно сегодня должен написать что-то очень важное и определяющее весь смысл его книги.

Матовый свет настольной лампы, синие обои, коричневые гардины — все это казалось тусклым, тонало в холодной, сумрачной голубизне; сизоватый, сумеречный свет, заполнивший все уголки кабинета, падал и на лицо стоявшего у стола с заложенными за спину руками Ивана Евдокимовича, придавая румяным и бритым щекам его тог оттенок бледности и утомленности, какой бывает у канцеляристов или писателей, по крайней мере около года не встававших из-за своего письменного стола. Иван Евдокимович любил казаться утомленным и всегда хмурился и сдвигал к переносице брови, когда хотел подчерк-

нуть напряженную работу мысли; он и сейчас хмурился и время от времени потирал ладонью лоб. «Надо писать, писать!.. Но вместо того чтобы сесть за стол, он пошел на кухню и сначала выпил стакан холодной воды; потом, хотя есть ему совсем не хотелось, съел бутерброд и опять запил водой из крана.

Возвращаясь в кабинет, он остановился и заглянул в спальню, где давно уже спала жена; маленький начинчик, когда-то привезенный им из Москвы и напо-

минавший розу, горел на тумбочке возле кровати, и неяркий красный свет от него разливался по комнате; пододеяльник, простыня, подушка и лицо на подушке, повернутое к свету лицо Валентины — жена во сне чему-то улыбалась — все здесь было розовым и совершенно противоположно тому, что было в кабинете. Он нагнулся и поцеловал Валентину в щеку, и в тот момент, когда прикоснулся губами к ее теплой и нежной, пахнущей кремами коже, опять на ум пришла та встретившаяся в горах пророчица. Иван Евдокимович втянул головой и, проговорив: «Какая чепуха! — жестко и уверенно направился опять в кабинет.

Он сел за стол и почти машинально выдвинул ящик. Среди папок с печатными и рукописными текстами лекций он отыскал ту, в которой хранились не вошедшие в его «Записки астматика» и написанные в разное время глаза и наброски глаз. Однажды, пять с лишним лет назад, он был на судебном процессе, кажется, в Афимовке, общественным обвинителем, и тогда же записал несколько интересных мыслей; эти записи — потому что они лежали сверху — и увидел Иван Евдокимович, когда развязал и открыл папку. Он прочел несколько строк о «монахах» Каширине, которого как раз судили тогда в Афимовке как главаря негигантской монархической общины последователей истинной православной церкви, потом взглянул на высказывания свидетелей и, прочтя фамилию Гойго, задумался. Он вспомнил этого старика, совершенно седого, но еще крепкого, работавшего сторожем на колхозной ферме: Гойго говорил на суде смело, резко и приводил наизусть выдержки из библии и евангелия, разоблачая «монахов» и Иван Евдокимович даже теперь, спустя столько лет, хорошо помнил выступление колхозного сторожа. Но сейчас он подумал не о выступлении, а о биографии старика Гойго, потому что она чем-то схожа с биографией Каширина: один воспитывался в скиту, другой был поводырем у «божих слепых» старцев; и тот и другой, с детства впитавшие в себя религиозные истины, выросли совершенно разными людьми; в сравнении двух биографий может открыться правда: почему один стал «монахом», другой — тружеником.

Все больше увлекаясь сравнением двух биографий и думая, почему эта удивительно точная мысль пришла в голову так поздно, спустя почти пять с лишним лет, Иван Евдокимович, наконец забыв и о пророчице, и о жене, и о той истине, которую непременно хотел найти и записать, — забыл обо всем этом и успокоившись, наконец-то почувствовал себя в том рабочем состоянии, когда не замечаются ни шершавость бумаги, ни скрип пера, ни шлепанье босых ног проснувшейся и прошедшей через комнату жены.

Он писал, склонившись над столом, не замечая времени, вспоминая все новые и новые подробности судебного процесса в Афимовке.

Они сидели в первом ряду, те четверо, худые, бледные, по-разному обожженные жизнью, которых монах и святой отец Григорий благословил на голодную смерть: «Даруй нам, бодренным сердцем и трезвенной мыслью, познать всю настоящего жития иощы, избави от бренной плоти и прими души наши в божественном честоте славы». С клубной сцены Иван Евдокимович хорошо видел их: Глафиру Беляеву, бывшую скотницу, которая дважды выходила замуж и которую дважды бросали мужья, потому что она не могла рожать детей; она после этого пила, распутничала, а потом примкнула к общине, ушла из колхоза и, ныня увещеванием «святого отца», согласилась совсем «свободить свою душу от греховного тела»; Клавдию Стриженову, или, как ее все называли в Афимовке, бабку Стрижиху, у которой еще в двадцатом анненковцы расстреляли мужа-партизана, а потом погибли два ее сына — один на озере Хасан, другой на финской, — эта старуха, проработавшая всю жизнь в колхозе, вышла на пенсию, но пенсию ей платили нерегулярно, потому что то и дело менялись председатели, эта старуха, о которой в миру забыли, но которую подбирали и приютили в своей общине Каширина, согласилась умереть, отдать Богу душу потому, что монах предрек ей радостную жизнь на том свете и скорую встречу с мужем и сыновьями (между прочим, сам Каширин не предварительном следствии сказал, что хотел просто отомстить старухе за прошлое, за мужа-партизана, потому что так завещал ему, умирая, «блаженный человек»); Клавдию Приходько, совсем почти девочку, только-только окончившую десятый класс, — она сидела сейчас с ребенком на руках и была, несмотря на всю свою худобу, счастлива и тем, что ее спасли, и, главное, своим материнством (она работала на току, и с ней случилось несчастье: соблазнил какой-то парень, то ли афимский комбайнер Василий, блажнист и плясун, за которым водилась такая слава, соблазнился, то ли какой-то студент — на току всю осень работали присланые из города студенты), — Клавдия упорно не называла имени отца мальчика. Тогда, осенью, она забеременела и всю зиму мучилась, не решаясь никому открыться; жила у родителей на хуторе, вернее, не бригадном стане, а весной попросилась в село к тетке; она сама хотела умереть, чтобы никто не узнал о ее несчастье, и увещевания «святого отца» — ее тоже возвели в общину — только помогли решиться на это; она ушла от тетки, сказав, что хочет вернуться домой, на бригадный стан. В то время, как тетка считала, что Клавдия дома, а родители — что их дочь у тетки, Клавдия, беременная, лежала в каширинской деревянной бане, что на краю городов, лежала прямо на полу, на тонкой соломенной подстилке, рядом с Глафирай Беляевой, и умирала голодной смертью... — она сидела сейчас, счастливая, с ребенком на руках, и за ее спиной виднелись лица все еще не оправившихся от испуга, робких и растерянных перед неожиданно навалившимся горем родителям; Романа Селиверстова, еще недавно красивого и стройного, теперь длинного и тщущего, как жердь, мужчину с бородой, редкой и седой; ему еще нет и сорока пяти, но выглядит он совершенным старцем (четырнадцатилетним мальчиком, разрушая воробиные гнезда в застежках колхозных хлебных амбаров, он сорвался и упал на

старый, поржавевший, заброшенный и заросший бурьяном тракторный плуг, изогнутое крыло отвали угодило как раз промеж ног, в пахах. За Романом тогда привел санитарный самолет, и это было событием на всю Афимовку. Но со временем все забылось, и только сам Роман все эти дни и годы ни на час не забывал о своем несчастье. Он не служил в армии, не женился и даже не ходил на вечеринки; чем становился старше, тем делался угромнее, злее, молчаливее. Когда в селе сколотилась община — это было вскоре после войны — сразу же вступил в нее и не пропускал ни одного служения, молился до смены колен и не скучал на пожертвования. Он трудился на ферме, выполнял каждый день одну и ту же работу: менял подстилку у коров, выбирал наезд и отвозил его на вагонетке по подвесной дороге. Он ловил на себе насмешливые взгляды дядек, замужних и вдовских, переодевавшихся при нем в белые халаты, и поспешно уходил, сутулясь и страдая. Он первым из четырех, прослушав проповедь Каширина, попросил у «святого отца» благословение в иной мир, вечный, к «отверзшимся для праведников вратам божественного чертога славы»... С клубной сцены, где находился Иван Евдокимович — как общественный обвинитель, он сидел рядом с прокурором, за одним столом, — он отлично видел и этих четырех: Глафиру Беляеву, бабку Стрижиху, Клавдию Приходько с ребенком на руках и тощего, как жердь, Романа Селиверстова, который — один из всех — сетовал на то, что ему не дали умереть; видел весь зал, до отказа заполненный людьми — здесь были и свои колхозники, афимовские, и приезжие из других деревень, и даже городские, привлеченные необычностью процесса. Они заняли все ряды, заполнили проходы и облепили подоконники. Они ходили, как на пalomничество, к той небольшой деревянной каширинской бане, самой обыкновенной, топившейся по-черному, похожей на тысячи других таких разбросанных по русским деревням, разглядывали двери, стены, окно, полог и солому, расстеленную и уже затоптанную на полу; некоторые у порога снимали фуражки, будто входили в дом, где обмывали покойника. Иван Евдокимович тоже осматривал баню. Может быть, потому, что он ходил туда до процесса, по свежим, как говорится, следам, когда еще солома на полу и по углам, уложенная виде постелей, хранила и формы и даже, неизвестно, тепло лежавших на ней скрючившихся от голода человеческих тел; может быть, еще и потому, что как раз перед тем, как пойти осматривать, он прочел показания Каширина и все знал в подробностях: сколько дней голодали обреченные, как они мучились, заглушили голод молитвами, как их один раз в сутки, глубокой ночью, Каширин выводил на прогулку, а днем держал взаперти и даже оконце заколотил досками, чтобы не проникал свет, — может быть, именно потому, что Иван Евдокимович знал обо всем из показаний «святого отца» и, главное, потому, что, войдя в баню, мог вообразить себе, как все было, и вообразил, как лежала беременная Клавдия Приходько, съежившись, поджав к животу колени, как ворочалася на полу Роман Селиверстов, кряхтя и бесконечно шевеля губами, как плакала и грызла солому Глафира Беляева (там, где она лежала, у забитого досками окна, виднелась на полу горка нагрызанной соломы) — может быть, именно потому осмотр произвел на Ивана Евдокимовича особенно гнетущее впечатление. И на суде и после процесса он долго не мог забыть ни лиц обреченных, ни той деревянной бани, где они готовились умереть. Ему казалось, что он не только видел их там во время мучений, но и чувствовал все то,

что чувствовали они, выходя ночью на прогулки. Ему так казалось, хотя он испытывал совсем иное чувство — страх перед бессмыслицейностью того, что здесь совершилось.

Иван Евдокимович ходил по той тропинке, по которой Каширин водил на прогулки полуживых, истощенных и качавшихся от голода Беляеву, Стриженову, Приходько, Селиверстова, и, глядя на жалкие головки подсолинков, нависавшие над плетнем, на коцаны капусты, матово-зеленые, сочные и хрусткие, осыпанные росой, глядя на затянутые сизым киячным дымком белые избы Афимовых, с подогретым думал, как можно добровольно согласиться уйти из этого мира в небытие. Для него, как и для всех Афимовых, тогда это было необыкновенной загадкой; тогда — он только еще начинал трудиться над своими «Записками воинствующего атеиста». Потом, сталкиваясь с сектантами, он видел более страшные картины: мурашковцы, например, вырезают семь крестов на спине, семь печатей, как они называют этот обряд крещения, потом собирают стекающую со спины человеческую кровь, смешивают ее с зином и причащаются — видел более страшные картины, но Афимовская история всегда оставалась для него самой жуткой и беспощадной.

В тот день, когда он осматривал баню, и особенно вечером, после ужина, когда остался один на одни с настольной лампой, тишиной и своими думами, долго не мог приступить к составлению обвинительной речи, потому что ему вдруг пришла в голову мысль, что во всем случившемся больше виновата общественность, чем Каширин, об общественности, которая равнодушно смотрела на несчастья ближних и даже, пожалуй, что гораздо вернее — ничего не знала об этих несчастях и в то же время с тем же равнодушием, спокойствием и даже смиреннием («Какой вред от десятка верующих старух!») терпела рядом с собой далеко не безобидного «монстра» Каширина.

Иван Евдокимович чувствовал, что, в сущности, дело обстоит не совсем так, что он преувеличивает, обвиняя общественность, но в этот вечер он уже не мог думать иначе. Он ходил из угла в угол комнаты и говорил себе — он повторял только тот неправильный довод, десятки раз слышанный от других, — что «каждую душу не влезешь, за каждый забор не заглянешь», и представлял себе, удивляясь и поражаясь своему преувеличению, сколько еще по городам и селам страны таких домов, таких заборов, за которые нельзя заглянуть и за которыми творятся самые невероятные дела: моления, обмыны, сделки, разрывы, — за которыми калечатся судьбы детей, совершаются насилия, измены. Иван Евдокимович знал, что, думая так, он преувеличивает, но в этот вечер он был уверен, что нужно преувеличивать, чтобы заставить людей оглянуться на свое равнодушие; самый страшный приговор для человека — это людское равнодушие; в какие-то минуты он пытается оправдывать общественность, у которой большие дела и которой некогда заниматься досадными мелочами. Шла война, люди думали, как накормить фронт, трудились, трудились, и никому не было и не могло быть дела до того, чем занимаются бывшая попадья, притворявшаяся больной, и ее нелюдимка дочь, как живет худой и, наверное, туберкулезный сирота Григорий, как жили другие такие же, в других деревнях и городах, выросшие теперь в озлобленных пресвитеров и проповедников. После войны снова: подъем разрушенного хозяйства, новая волна энтузиазма, новые боль-

шие дела, — и один отставший от ста идущих, на него уже никто не обращал внимания: «такое время, нам некогда оглядываться».

Но сам Иван Евдокимович, противореча только что приведенному доводу, оглядывался и пытался пристальное рассмотреть события; продолжая ходить по комнате из угла в угол, он говорил себе: «А вот каширины проникают в души, заглядывают за глухие заборы!» И эта фраза вызывала десятки новых предположений. В обвинительной речи, которую он спустя несколько дней написал и представил в районный комитет для согласования, был большой упрек Афимовской общественности. Но в рапорте, потому что деревня Афимовка была районным центром, посоветовали сократить «страницы с упреком», в тот день, когда Иван Евдокимович, вспомнившись, готовился прочесть свое обвинение, к нему подошел инструктор и как бы между прочим заметил, что лучше бы совсем не упоминать ни о каком равнодушии...

С клубной сцены Иван Евдокимович хорошо видел и весь зал, до отказа заполненный людьми, и свидетелей в первом ряду, среди которых находился сторож Гойго, белый, как снег, старик (этот он заметил, как Каширины по ночам выводили из своей бани на прогулку обреченных, он рассказал о своих подозрениях колхозному председателю и секретарю сельского Совета). — Иван Евдокимович хорошо видел его устало склоненную белую голову, но еще лучше видел Каширина, потому что ближе всех к сцене находилась скамья подсудимых, «Монахи» и «святой отец», за спиной которого стояли сейчас конвоиры — штыки их винтовок тускло и ходяще поблескивали от света электрических ламп, — монахи отрицали все обвинения, какие ему предъявлялись. Хотя он, прежде чем отправить Беляеву, Стриженову, Приходько, Селиверстова на голодную смерть, зевел им принести все деньги и ценные вещи, потому что, дескать, «бог щедр в славен щедротами людскими», и еще потому, что «еврейский оставленный на земле знак есть только порочный соблазн, и он не должен смущать их чистые, приготовленные к иной, высшей жизни души», — хотя, по просту говоря, «монахи» Каширины обирали их, прикрываясь «святыми словами», но сейчас он говорил, что выполняли лишь волю божью. Суд над ним он называл божиим испытанием и добавлял при этом, что готов вынести любые мучения за веру. Он говорил это для верующих, которые находились в зале, чтобы потом, после тюремы, с еще большей уверенностью именовать себя «святыми отцами». Так же, как и старик Гойго, Каширина то и дело опускал голову, но только Гойго от усталости, а этот для того, чтобы казаться кротким и смиренным, чтобы никто, главное, судьи, от которых теперь зависела его судьба, не могли заметить вспыхнувший в его глазах ненависти и злости. Иван Евдокимович хорошо запомнил эти две склоненные головы: белую, как снег, — старика сторожа, и черную, длинноволосую — «монаха» Каширина. Сейчас, перебирая старые записи в ночной тишине кабинета и вспоминая об Афимовском процессе, он видел перед собой все те же склоненные головы — белую и черную, — видел их, казалось, еще отчетливее, чем в тот день на суде, и разница цветов представлялась ему теперь символичной; две головы — белая и черная, две биографии — белая и черная. Тогда Иван Евдокимович не думал, что можно сравнить эти две жизни, напротив, он отмечал только то, что разнели Гойго и Каширина: их убеждения и, главное, возраст (одному за шестьдесят, другому под тридцать), и ему даже вначале казалось, что про-

изошло досадное смещение, что, если бы на скамье подсудимых сидел старик, а не молодой, было бы куда логичнее. В перерывах между заседаниями суда он поделился своими соображениями с Гойго:

«Мы просмотрели, а скитские старцы подобрали и воспитали.

«Я тоже был пятнадцать лет поводырем и паломником, а потом штурмовал Зимний,

«И все же — воспитание, среда...

«По-нашему, по-крестьянски, так: что у кого в крови».

«Ну-ну?»

«Глядели на дом под пекарней? А чей он? То-то. Вот куда надо смотреть — в корень, в собственность...»

Вспоминая об афимовском процессе, Иван Евдокимович вспомнил сейчас об этом мимолетной и, как тогда показалось, совершенно случайной и ничего не значащей беседе. В тот раз он лишь удивился странному и впервые услышанному им выражению «что у кого в крови» и еще заметил напротивное сочетание слов: «смотреть в собственности». Смотреть «в собственности» нельзя, может быть, «на собственность», — он заметил это потому, что хотя в свое время и закончил исторический факультет, однако писал статьи и заметки в местные газеты, считал себя журналистом, и, как все журналисты, конечно, знатоком языка и стилистом. Иван Евдокимович заметил и это и еще несколько неправильных, по его мнению, словосочетаний в речи Гойго, но из уважения к старости не стал поправлять колхозного сторожа. Теперь же, когда-то короткий разговор всплывал в памяти, Иван Евдокимович не замечал неправильностей, а больше обращал внимание на смысл, какой те неправильности выражали.

«Смотреть в собственности» — вот разгадка, которую он искал много лет, трудясь над «Записками атеиста», и которая открылась ему лишь сегодня, неожиданно, только потому, что он достал папку со старыми записями, вспомнил судебный процесс, сцену, где сидел рядом с прокурором, четырех обреченных, подсудимого монаха, свидетеля Гойго и еще фойе колхозного клуба, где все курили и было очень дымно и где все же он, Иван Евдокимович, в шуме и путанице сумел так деловито и умно потолковать со стариком.

Иван Евдокимович не знал, до которого часа работал; встав из-за стола и разминая затекшие пальцы, он прошелся по кабинету, потом сел в мягкое кресло, совсем не намереваясь отдохнуть, потому что, как ему казалось, не чувствовал усталости и, несмотря на поздний час, не хотел спать, — сел просто так, по привычке, потому что в какую-то минуту это мягкое кресло оказалось перед ним.

Он был доволен тем, что хорошо потрудился и что вечер не пропал даром, что работалось ему сегодня сравнительно легко, он написал около шести или семи страниц и чувствовал, что может написать еще, что есть еще мысли, есть желание, он возбужден и только немножко затекли, онемели пальцы, державшие ручку. Был доволен тем, что сидит в мягким кресле и может позволить себе такое удовольствие, особенно сейчас, что может устроиться еще поудобнее, почти полулежать, и, не противясь желанию и еще не сознавая, что его одолевает дремота, а лишь ощущая, как где-то внизу, у ног, родилось тепло и теперь, приятно растекаясь вокруг, проникло сквозь мягкую пижамную куртку и рубашку и охватывало тело, он опустил голову на высокую спинку кресла и закрыл глаза. Уже засыпал, он продолжал думать о том, что вот, чуть-чуть понежась, снова сядет за стол

и закончит наконец предпоследнюю и самую трудную главу «Записок воинствующего атеиста».

Спал он долго, а когда проснулся, с удивлением увидел, что в комнате уже светло, что он полулежит в кресле, а рядом стоит жена, Валентина, еще не причесанная, сонная, в длинной белой ночной рубашке и ночных туфлях. Она подошла только что; направляясь сюда, кабинет, шаркая стопами туфлями по комнате, она собиралась как сладко отчитать мужа за бессонную ночь — в конце концов здоровье прежде всего — и за то, что ей надоело просыпаться одинок и приглашать руку к холодной подушке; но теперь, стоя перед ним и видя его розовое и совсем не утомленное, а, напротив, дышащее здоровьем лицо, смущилась и не могла решиться, что делать — отчитывать или не отчитывать. Она стояла, расслабленно опустив руки, расстягивая, и ее чутко припухшие, полусонные глаза — по крайней мере так показалось Ивану Евдокимовичу — смотрели приветливо и ласково. Она стояла так близко, что можно было легко обнять ее, но Иван Евдокимович только взял ее теплую и мягкую руку в свою ладонь. Эти несколько секунд пребуждания, пока он держал ее руку, были настолько приятны ему, что, несмотря на явно ощущенную боль одеревеневшим плече — он лежал неловко, наклонившись набок, — не хотелось шевелиться. Его волновало все: и то, что пришла в кабинет Валентина, и пришла сразу, как только проснулась и встала с постели; и беспорядочно лежавшие на столе и освещенные теплым утренним солнцем страницы «Записок»; и вспомнившийся вчерашний вечер, как он, возбужденный и сосредоточенный, сидел за столом и едва успевал записывать рождавшиеся в голове слова и предложения, как рылся в старых папках; и то, что было вчера днем — прогулка в горы, процессы со «сияющей водой» и пророчица, шагавшая впереди, — он теперь, вспомнив о пророчице, улыбнулся — все, о чем он думал, что видел и к чему прислушивался сейчас, наполняло его счастливым ощущением жизни.

Но главное, почему он особенно радовался, размышляя о событиях прошедших суток, — это сознание, что теперь он завершил, наконец, предпоследнюю главу «Записок».

Поднимаясь, поправляя на себе пижамную куртку и чувствуя, что обязательно должен сказать жено что-то ласковое и нежное, подыскивая нужные слова и не находя их, думая и не решаясь поделиться с ней своей радостью, потому что это, во-первых, в двух словах будет непонятно и придется рассказывать долго и много, во-вторых, все равно не доставит ей радости, потому что она уже десятки раз говорила, что ей надобны «Записки» и все, что связано с ними, — Иван Евдокимович, не находя нужных слов, нагнув голову и делая вид, что рассматривает какие-то совсем незаметные пятна на брюках, но на самом деле лишь для того, чтобы не встретиться взглядом с женой, нетромко сказал:

— Мы прошли сегодня, Валя.

— Да.

— А я хотел прямо с утра на рудник.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Будильник звенел в шесть, ставни открывались в восемь.

Хотя Каширин всегда просыпался немножко раньше и, ожидая звонка, лежал с открытыми глазами, хотя ничего не предвиденного для него уже не могло быть, потому что почти с одинаковой точ-

ностью повторялось каждое утро, все же он вздрагивал, как от укола, когда резкий и дребезжащий звук разрывал комнатную тишину.

Чтобы не потерянить спящую Екатерину, «святой отец» сначала осторожно спускал с кровати ноги, затем вставал во весь рост, относил будильник на стол и лишь после этого, недовольный ранней побудкой и в то же время отличной сознанием, что лежать больше нельзя и надо уходить к себе в келью, в свое подполье, лениво и неохотно потягиваясь, касаясь на оставленную теплую постель. Он не включал света, хотя было еще темно; сквозь щели закрытых ставен пробивались лишь узкие и слабые полоски заря, они падали на стену, стущившись и бледнея, скользили по никелированной спинке кровати к подушкам. Каширин не уходил, медлил; присмотревшись и хорошо различав предметы, он еще несколько секунд стоял у стола и отсюда, издали, наблюдал за спящей Екатериной. Она дышала ровно, лицо ее было спокойно, как у праведницы; белая рука поверх одеяла, белое плечо и голубая темека сорочки у шеи, щека, порозовевшая от сна и покоя,— все это вызывало у Каширина чувство нежности. Он был горд в такие секунды, что ему, но никому другому, разрешалось гладить, ласкать эти белые круглые плеши, ощущать близость теплого, гладкого тела, ее тела, Екатерины.

Он стоял у стола и молил, сжимая в ладони свисающий край клеенки. Одиночество тюремных камер, мучительная бессонница, лагерные ночные и думы, разъедавшие душу, воображение, болезненно рисовавшее счастье семейных лож,— то прошлое, пережитое, и это, к чему стремилась и чего наконец достигла его совсем немонахская душа,— это затмевало все в его сознании и как бы приподнимало над самим собой. Он лаялся от попытки наслаждений и каждый новый день жил ожиданием будущей ночи. Даже плохо прозреваемое подполье, где постоянно ощущался густой запах плесени от подгнивших половых досок и еще более густой и непрятный запах от редко сменяемого постельного белья, где всегда было полусумрачно, и днем и ночью, потому что единственным освещением служили свечи,— даже это подполье, сырое и душное, казалось ему в первое время вполне уютным, хотя никогда приходилось просиживать в нем, не поднимаясь наверх, почти по целям суткам. Тогда Каширин либо мастерил деревянные крестики, выстругивая их ножом из сосновых плашек, наслаждаясь работой и забываясь в ней, либо полудремал, развалившись на своей жесткой койке и заложив руки за голову.

Ничего, казалось, не изменилось и в это утро. Заглушив будильник, он стоял у стола, моля в ладони край клеенки и смотрел на Екатерину. Но сегодня, может быть, потому, чтошел четвертый месяц их совместной жизни и все уже стало для Каширина будничным, обычным, или еще потому, что нескользкодней назад во время ночной прогулки в горы он увидел ужасную картину пожара и все еще находился под впечатлением пережитых минут (Каширин оказался неподалеку от горевших складов и не только наблюдал, как их тушили, но и сам, увлеченный толпой, работал лопатой, обжигая подступы к начинавшемуся сразу за складами колхозному хлебному полю),— может быть, именно потому, что в последние дни мысли об этой ночной прогулке и пожаре все чаще и чаще занимали его воображение,— сегодня белое плечо спящей спиной к стене Екатерине уже не волновало его так, как прежде. «Перебесишься еще — эти слова, как-то однажды сказанные Екатериной, всплыли сейчас в памяти, и он,

удивляясь простоте и глубине вложенного в них смысла, будто это было мудрое библейское изречение, повторил их сперва полуслепотом, как повторяя слова молитвы, потом пронзес с ехидством, насыщая над собой и брезгливо кривя губы. Потом отодвинул будильник к середине стола, чтобы Екатерина, проснувшись, случайно не столкнула его, и пошел половику, закрывавшему лаз в подполье. Онутившись в подполье, на ощупь, в темноте он добрался до кровати, присел на край не застланного простыней матраса, затем лег и закрыл глаза.

Обычно он засыпал сразу же, как только спускался в свою келью, и спал крепко, не слыша ни шорохов, ни стука шагов одевающейся и готовившей завтрак Екатерине; он так и не знал точно, в какое время она поднималась, что успевала сделать утром, пока он спал,— в открытую крышку лаза неожиданно врвался ее негромкий и ласковый оклик: «Вставай, завтрак готов и теплая вода умываться...» — и это пробуждение было приятно для Каширина. Оно было приятно, во-первых, потому, что он снова мог видеть Екатерину, быть с ней и не мучиться одиночеством, и, во-вторых, главное, потому, что в эти минуты он чувствовал себя не «монахом», не «святым отцом», а просто добрым семьянином, хозяином. Потом начинался день, приходили верующие, он читал им молитвы, проповеди, принимал исповеди и давал советы, развязывал, ворча и ругаясь, оставленные тощие узелки с пожертвованиями — потом было все то, что составляло его жизнь, привычные, серое, надоеvшее, и потому он особенно дорожил минутами пробуждения, когда сквозь открытую крышку лаза слышались слова: «Вставай, завтрак готов...»

Теперь, лежа с закрытыми глазами, он с удовольствием подумал, что и сегодня, как вчера, позавчера, как месяц назад, будут у него эти счастливые минуты пробуждения; но он долго ворочался с боку на бок и не мог заснуть. Но то горькое сознание пустоты и бесцельности жизни, которое позднее будет угнетать его и в конце концов приведет к безумию — еще нестарый, худой и заросший, как скимин, будет сидеть он в палате психиатрической больницы и называть себя Иисусом, вторично сошедшим на землю для спасения рода человеческого,— не это ужасное будущее, о котором он ничего не знал и в которое, если бы даже кто-нибудь сказал ему об этом, все равно ни за что бы не поверил, а просто разные неприятные житейские думы сегодня больше обычного беспокоили его. Он как бы со стороны взглянул на свою затворническую жизнь, и то, что всегда казалось естественным и не замечалось обиденной суете, сейчас, в воображении, представлялось унизительным и гибущим. Сумеречная синева комнаты, спящая Екатерина и он, «монахи» Григорий, в нательной рубашке и подштанниках, подкрадывающийся к кровати; именно подкрадывающийся — так представлялся ему сейчас, хотя на самом деле он не подкрадывался, а просто от нежности и желания угодить Екатерине проходил по комнате осторожно, на носках: и когда по ночам поднималась к ней из подполья и когда после надрывного звонка будильника неохотно покидал теплую постель. Он видел в воображении всю картину и особенно себя настолько ясно, что даже, как ему казалось, различал мельчайшие морщинки на своей пожертвованной нательной рубашке, не по росту большой, принесенной какой-то верующей старухой в узелке вместе с тремя вареными яйцами и кирпичиком серого хлеба; эта рубашка, желтоватая от стирки и времени, всегда, как мешок, свисала с его худых и слегка сутулых плеч, но зато подштанники,

тоже пожертвованные кем-то из верующих, были малы и каждый раз трещали по швам, когда он, присаживаясь на карточки, откidyвал половину и приподнимал крышку лаза. Каширин усмехнулся, представив себя сидящим на карточках и откidyвавшим половинки, и чем отчетливее вырисовывалась перед глазами эта картина, тем больше вызывала в нем неприязнь к себе и жалость. «Это только с виду жизни «боязливого человека сладка и заманчива!»

Чтобы избавиться от гнетущих мыслей, Каширин порывисто встал, не снял, а почти сорвал с себя ставшую теперь ненавистной пожертвованную рубашку, затем так же порывисто лег, но и после этого не мог заснуть. Он вспомнил разговор с Екатериной, который произошел совсем недавно, как раз в тот вечер, когда он ходил на прогулку в горы и участвовал в тушении пожара; сейчас Каширин подумал, что только потому и пошел в горы, что состоялся этот разговор.

«Деньги у нас кончатся, Григорий».

«Твой!»

«Да, Тя, что я привезла с собой. А на одни пожертвования не проживешь».

«Скупчины, скрягии, жандармы, а еще евангелие им подавай!»

«Не ругай их, старухи сами только на пенсии живут».

«На пенсии...»

«Господи!..»

«Драть с них надо еще за святую воду. По гравеннику, по полтиннику, по рублю за стакан!»

«Зачем ты так?»

«Молчи, глупая».

Каширин тогда всхлипнул. Он всхлипал потому, что ждал такого напоминания и знал, что деньги, привезенные Екатериной,— это были сбережения матушки Василисы; умирая, она передала их дочери и велела хранить на «черный день»,— знал, что деньги кончались, что на пожертвования, на скучные приношения верующих старух прожить невозможно и надо что-то предпринимать. Он раздумывал над тем, что бы такое предпринять, но ничего пока не приходило на ум, и тут как раз это напоминание. Екатерина замолчала, и Каширин, заметив ее смущенный и упрекающий взгляд, почувствовал еще большее раздражение. Не сказал даже: «Не серчай, Катя»,— как обычно говорил, когда хоть чм-нибудь обижал ее,— ничего не скажет больше, понимая, что неправ, что вовсе не на Екатерину нужно злиться, а на что-то другое, на верующих, вернее, на самого себя, понимая все это и не в силах подавить в себе возникшее на мгновение чувство неприязни и раздражения, Каширин отвернулся и долго стоял у окна, угрюмо несущая брови.

Сейчас, ворочаясь с боку на бок, он вспомнил и об этом разговоре и о том, как стоял у окна, насыпив брови; вспомнил потому, что видел вчера брошенный Екатериной пустой кошелек; кошелек залялся на столе, и Каширин, когда остался один в комнате, открыл и заглянул в него. «Да, на одни пожертвования не проживешь».

Но больше всего в это утро мучили Каширина воспоминания о ночном пожаре.

Для чего он подошел к горевшим складам — просто из любопытства, или было желание помочь людям, или еще какое-либо иное чувство овладело им в эту минуту,— он не мог теперь припомнить. Когда оншел по лощине, небо было чистым и звездным и вокруг царила безмятежная ночной тишина. Когда он, уже возвращаясь домой, стал подниматься по

косогору к вершине,—заметил небольшое красное зарево. Все еще возбужденный после разговора с Екатериной — прогулка не успокоила его, а, напротив, только больше возбудила, потому что он не мог не думать о деньгах, которые кончались и которые надо было теперь где-то добывать,— заняты своими думами, сначала он даже не обратил внимания на зарево, а так, как бы между прочим, на глазок, определил, что зарево как раз над рудничным комбинатом, что там либо идет электросварка, либо разрезают какие-нибудь толки. Только когда вышел на косогор и, обдуваемый со всех сторон ветром, остановился у камня, возле которого всегда останавливалась, чтобы полюбоваться ночным, залитым огнями электрических фонарей городом,— он увидел и горевшие склады, и языки пламени, взвиравшиеся из неба, и клубы дыма, и людей в багряных отсветах, суетливо бегавших и метавшихся вокруг охваченных пламенем зданий.

Нет, Каширин не мог припомнить, для чего он подошел к горевшим складам. Но зато он отлично помнил, как свернул с тропинки, чтобы идти направляясь, как шагал затем по меже, вдоль хлебного поля, почтя бежал, торопясь к огню и дыму, будто хотел заслонить собой тяжелые колосья пшеницы. Даже теперь, когда все виденное вставало лишь в воображении, он ощущал и пылающие запахи созревшего, уже готового к уборке хлеба, и горечь ставшегося над полем дыма, и то чувство тревоги, которое испытывал тогда, будто беда угрожала не колхозному полю, а чему-то большему, более близкому ему, Каширину, чему-то священному — хлебу, то чувство вновь переживал он сейчас с еще большей остротой и волнением. Может быть, юношеская мечта о размеренной крестьянской жизни, не той, хищной, какую прожил отец, а о другой, той, что всегда у мужика в деревне на виду,— может быть, как раз эта несбыточная мечта, когда-то страстно занимавшая воображение скитского мальчика Григория, но с годами забытая, снова пробудилась в его душе.

Когда он подошел к складам, огонь бушевал уже над самыми крышами и вдоль горевших зданий, во всю их длину, как рассыпанная в цепь рота солдат, с ходу окапывавшийся батальон, работали люди лопатами и кирками. Они вскапывали землю, чтобы огонь по траве не перекинулся на хлебное поле. Сутульые спины их, потные лица, фуражки, развалявшиеся полы пиджаков и телогреек — все было окрашено кровавым заревом огня. Кто-то сунул в руки Каширину лопату, кто-то крикнул: «Шевелись, шевелись, браток!» И, уже охваченный общим порывом, совсем забыв о себе, Екатерине, подполье и деньги, о которых только что так напряженно думал, которые кончались и которые нужно было теперь непременно где-то добывать,— охваченный общим порывом, слыша только треск горевших досок за спиной и удары рушившихся стен, слыша окрики запоздавших пожарных, задыхавшихся от дыма и размазывавших сажу на потном лице, он с силой взонзил лопату в сухую и твердую землю, нажимая ногой, наваливаясь на черенок всей грудью, и выше не испытанное никогда чувство труда и человеческого долга приятно возбуждало его и поднимало настроение.

Он копал, копал, не останавливаясь, только изредка поглядывая на старика соседа, тоже орудовавшего лопатой; старик был без фуражки, вероятно, когда выбегал из дома, вlopкахах оставил ее где-нибудь на лавке, и теперь все время старался полой пиджака прикрыть от огня свою огромную лысую голову. Эта лысая голова и еще босые ноги старика

с широкой и плоской ступней от просторной обуви и постоянной ходьбы, тощие, мертвенно-синие, с темной и розовыми, почти красные со стороны пожара, особенно ясно запомнились Каширину. Ему казалось, что тогда, на пожаре, он даже видел, как взвились и пузырились от натуги синие жилки на тех босых старческих ногах.

Пшеничное поле спасали и горожане, прибывающие из ближних домов, и колхозники, верхами прискакавшие из поселка. Неоседланные кони, согнанные в чей-то двор и забытые там, рвали поводья и сквозь пролом в изгороди уходили в горы. Вот-вот должен был прибыть трактор с плугом, его ждали, а когда трактор прибыл, огни уже почти затухали.

Люди вскакивали на плечи лопаты и отходили в сторону, уступая дорогу трактору. Но Каширин, увлеченный работой, не чувствовавший усталости, а, напротив, приятно ощущавший силу в руках, продолжал колоть, и только когда сошел старик, все так же прикрывавший полой пиджака от огня свою огромную лысинку, крикнул: «Да ты что, глухой али не видишь!» — и схватил Каширина за локоть, когда тот же старик, взглянувшись в чумазое лицо «святого отца», ярко освещенное в этот мир приближающейся тракторной фарой, удивленно произнес: «Поп, что ли?» Каширин разогнул спину и послышалось отступила шаг в темноту. Хотя старик тут же забыл о своих словах и, нагнувшись, принялся завязывать белые тесемки от кальсон на босые ноги, Каширин сделал еще шаг в сторону и уже, не выпуская из рук лопату, продолжал пытаться, стараясь как можно дальше отойти от дотошного старца. Догоравшие остатки деревянных стен, покарявшие в касках и серых робах, словно выныривающие из дыма, багровые спины людей у межи вдоль пшеничного поля, и самое поле, тоже окрашенное в красные и багровые тона, — все это, еще минуту назад вселявшее тревогу и вызывавшее в нем необычное, радостное ощущение труда, теперь потускнело в глазах Каширина. Теперь он с иной тревогой посмотрел на окружающих его людей и боязливо, торопясь и понимая, что торопиться нельзя, иначе обратишь на себя внимание, сначала отошел к пожарным машинам, потом прижался спиной к темному забору, потом, крадучись, пробрался к росшим вдоль забора кустам и совсем скрылся в ночной темноте.

Он не пошел домой, а снова направился в горы. Перевалил косогор и очутился в лощине, где уже никто не мог видеть его и где он сам тоже никого и ничего не видел, кроме чутко зазвеневшего зарева над черной кромкой косогора, «святой отец» опустился на траву и только тут дал волю своим мыслям. Только тут, вдруг спохватившись, заметил, что тоже был без фуражки, как тот старец. Длинные волосы — Каширин не стриг их, чтобы больше быть похожим на монаха и святого отца, потому что для верующих, он отлично знал это, важнее всего внешний вид, зрячее впечатление,— длинные волосы, жесткие от сажи и пепла и взлохмаченные ветром, непослушно нависали на глаза; он то и дело откладывал их рукой и, наконец, свернув носовой платок в тесемку, перевязал голову. Он еще заметил, что и пиджак был в нескольких местах прожжен, а на ладонях вспухли мозоли. Повернув ладони к свету, щурясь и рассматривая мозоли, Каширин подумал, что теперь придется целую неделю притворяться больным и не выходить к верующим на служения, подумал с досадой, будто это было главным и самым неприятным во всей сегодняшней ночной истории.

Но главным было другое: сильнее, чем когда-либо, он почувствовал сейчас, что есть иная жизнь,

что она лучше, чем та, какую он жил, и это чувство вызвало в нем досаду и злость. Он злился и на то, что поддался минутной слабости и пошел к загоревшимся складам, и на то, что так быстро ушел с пожара. Досадовал на Екатерину, которая напомнила ему о деньгах, а теперь, наверное, спала и ничего не знала, и на то, что деньги все равно нужно доставать и никто, кроме себя самого, не поможет в этом. Но больше всего злило Каширина то, что давно уже назревало в нем и в чем он пока боялся признаться себе, — он стремился жить, как «блаженный человек», мечтая об этом и в Афимовке и особенно потом, в лагерные годы, но сейчас, когда достиг, чего хотел, вдруг увидел, что обманулся, и обманулся страшно, непоправимо. Он особенно остро ощущал сейчас неудовлетворенность собой не только потому, что полчаса назад испытал частичку той, другой жизни, а еще и потому, что та, другая жизнь была теперь совершенно недоступна ему: справку об освобождении, по которой Каширин мог получить паспорт и военный билет, он сжег. Он вспомнил, как на шестке, скручиваясь в пепел, горела тюремная справка, а он стоял, скрестив на груди руки, как победитель, и наслаждаясь зрелищем. Он вспомнил еще разные подробности из своей жизни: скит, молельный дом, баню на конце огорода и умирающих в ней голодной смертью Глафиру Беляеву, Клавдию Стриженову, Клавдию Приходько, Романа Селиверстова, — и все эти воспоминания только вызывали на лице его ироническую усмешку.

Сколько пробыл Каширин в лощине, он не знал, время промелькнуло быстро. Когда он, разминав затекшие и застывшие от сырой земли ноги, вышел на тропинку и направился домой, было уже далеко за полночь. Он шагал неторопливо, то и дело поглядывая на косогор, над которым давно угасло зарево пожара, и невнимать людям, всегда живущим в Каширине, жгла его душу.

— Гады!

— Гады!

— Гады!

Он бросал эти слова всем людям; бросал потому, что ему было тяжело в эту минуту. Но он не чувствовал себя сломленным и подавленным, а, напротив, мрачные размышления и то гнетущее состояние, то чувство почти отчаяния, с каким он мысленно выкрикивал слова, обращаясь к невидимым, к тем, кто, по его предположениям, все еще стоял за косогором, у догоравших складов, то чувство почти отчаяния сменилось злой решимостью: что не удалось совершить в Афимовке, он повторит здесь, в Пятигорске, но теперь будет действовать более осмотрительно, более скрытно, и помещение для попрошайничества в район подыщет более подходящее, чем та деревенская баня. Каширин обрадовалась этой мысли как находке, потому что она, эта мысль, и отражала его настроение, — суд и заключение сейчас не пугали его, потому что он был уверен, что все сможет сделать так, что никто не узнает, — и, главное, давала ответ на мучивший его вопрос о деньгах, которые кончились и которые нужно было непременно где-то добывать.

«Будут деньги!»

Он так и не заснул в это утро.

Но, хотя он и не заснул, он был настолько поглощен своими думами, что все равно не услышал, как там, наверху, прошла Екатерина по комнате, как откинула половики и открыла крышку лаза; ее не-

громкий нежный голос: «Вставай, завтрак готов...» — прозвучал так же неожиданно, как всегда, и Каширин, повернувшись и открыл глаза, увидел в просвете ее улыбающееся лицо и пальцы, сплющившиеся в края половиц. Он тоже хотел улыбнуться ответом, но улыбки не получилось; обычно он весело говорил ей: «Сейчас, Катя», — и тут же принимался одеваться. От и сейчас сказал ей те же слова и, сбросив с себя одеяло, потянулся за брюками, но в тот момент, когда брюки уже были у него в руках, он вдруг почувствовал, что ответил Екатерине резко. Он это почувствовал и нахмурился, потому что все сегодня раздражало его; и что он не спал, и собственный голос, и улыбающееся лицо все еще не отходившее от лаза Екатерине, и даже пуговицы на ширинке, которую Каширин никак не мог ухватить пальцами. Он старался подавить в себе раздражение, но не мог и только еще больше негодовал и нервничал. Что-то было не так в это утро, Каширин понимал: что-то надворовалось в нем самом. Он снова мысленно проklärял ту ночную прогулку и пожар. Но причина его раздражения кралась в другом: сегодня у него не было приятного пробуждения, и он не почувствовал себя, пусть на минуту, добрым семьянином, хозяином, а сразу окунулся в тот затворнический мир, в котором жил, со всеми его беспокойствами, тяготами и глязной заботой о деньгах, со всей теперь осознанный неудовлетворенностью и мрачной думой о том, что все же придется кого-то «благословлять» на голодную смерть, иначе сам от голода прянешь ноги. Хотя Каширин ночью после пожара и решился на такое «дело», но сейчас колебался, вновь мысленно перебирая все «за» и «против», и то, что сегодня у него не хватало смелости и твердости, это тоже раздражало его.

Все время, пока сидели за столом и завтракали, Каширин не проронил ни слова. Он и потом, когда Екатерина, помолившись и убрал со стола, подседя к нему и спросила, что с ними, почему мрачен, не захворал ли, однозначно ответил: «Нет», — и тоном, и движением головы, и взглядом нахмуренных глаз давая понять, что не хочет не только отвечать на ее вопросы, а что вообще не желает ни о чем разговаривать, что ее нежная заботливость сейчас в тягость ему и что в конце концов есть вещи посередине, че то, о которых она только и может говорить: о мыле, муке, о белых нитках, из которых хочет связать широкие кружевы особенного узора для праздничных наволочек, — уже сто раз говорено об этом и сто первый разговор ни к чему, кроме расстройства, не приведет. Он так сказал свое «нет», что Екатерина больше уже не осмеливалась тревожить святого отца; она ушла на кухню, и Каширин сквозь открытую дверь видел, как она сбрасывала с плиты конфорки и устанавливала бак с водой — в этом баке обычно замачивали и кипятили белые перед стиркой и еще грели воду для крещения младенцев. Каширин не знал, для чего Екатерине нужна была сегодня горячая вода, но вид бака и громыхавших конфорок был так же неприятен ему, как все в это утро, и потому он глядел исподлобья, зло. Он подумал, что Екатерина все же решила стирать, и ко всей неукютности, которую сегодня особенно ощущала «святой отец», прибавилась сейчас еще воображенная картина стирки: сорванные с окон занавески, мокрое белье на табуретках, хлопья пены и ведра с грязной мыльной водой и, главное, запах хозяйственного мыла — кислый трупный запах, заполнивший все уголки комнаты, ко всему неуклонному прибавилась еще и эта воображенная картина, и Каширин совсем помрачнел. Чтобы не нагово-

рить резкостей и не нагрубить, он решил спуститься в подполье; это нужно было сделать еще и потому, что он против обыкновения хотел теперь тишины и одиночества — один на один с собой и со своими думами, чтобы разобраться в нахлынувших сомнениях. Не через лаз, не как всегда, а через кухню и сенцы, через второй ход направился «святой отец» в свою келью. Когда проходил мимо Екатерине, услышав негромкий взглагол.

— Тельнягину крестить примесут!..

— Сегодня? — остановившись и не оборачиваясь, удивленно спросил Каширин, для которого это — хотя он обо всем хорошо знал и даже сам позавчераша назначили крестинами именно на сегодняшний день — было сейчас совершенной неожиданностью.

— Вот должны подойти.

— Воду готовишь?

— Да.

— Ладно, как придут, позовешь.

«Тельнягину, Тельнягину...» Пока спускался по лестнице, пока откладывая щелчку и открывая дверь в подполье, думал о Тельнягиной — низенькой, полной, говорливой и суетливой старухе; она не пропускала ни одной службы и всегда смотрела на Каширина с таким умилением, как на бога. «Святой отец» вспомнил сейчас об этом, и воспоминание доставило ему несколько приятных минут. Он ухмыльнулся, представив круглое и совсем почти неморщишнее лицо старухи и то, как она всегда старалась во время служений быть в первом ряду, с какой искренностью и усердием крестилась и отбивала поклоны тусклым иконам. Каширин ухмыльнулся, вспомнив обо всем этом; но когда сел на незастланную и не заправленную одеялом — одевло лежало комом, потому что Екатерина еще не спускалась в келью и не убрала ее, — желанную кровать, когда заняг свету и в расстукившемся полумраке увидел девицу и тощих длинноликих святых с вылученными в скорби глазами — они всегда казались ему мертвцами, выглядывающими из гробов; когда увидел стены, в свое время грубо оштукатуренные глиной с соломой, потом подновленные Екатериной, побеленные ею и теперь вновь потускневшие от сырости и местами полосатые от подтеков, когда заметил груду деревянных крестиков под Божицей, больших и малых, выструганных им же самим из сосновых плашек, — он нагнулся, поднял крестик и с хрустом раздавил его пальцами; когда вся обстановка подполья, еще недавно даже редовавшая его, теперь мрачная и гнетущая, как тажкэ, вдруг навалилась на плечи и на секунду заставила оцепенеть, — те мысли, тяготившие Каширина все утро, пока он, ворочаясь с боку на бок, пытался заснуть, вновь захватили его воображение.

Хотя он и теперь не был уверен, совершил или не совершил задуманное тогда, после пожара, но теперь сомнения не мешали ему мысленно подыскивать помещение, в котором можно было бы, не боясь разоблачения, поместить «благословленных на голодную смерть» (о тех, кого будет «благословлять», он еще не думал, потому что этот вопрос казался ему менее сложным: всегда в округе можно найти двух-трех очень обиженных и неудовлетворенных жизнью). Он перебирал в памяти все сколько-нибудь возможные варианты: во дворе? в сарае? — прадзе, там дощатые стены, и разговор или стоны могут услышать соседи; в давно-давно заброшенной зимовке, что выше «святых ключей по щели» — но там только одни глинобитные стены, и надо мастерить крышу, и к тому же еще одно

неудобство — слишком далеко, а за «благословленными» необходим строгий присмотр, «дабы земные искушения в какие-то часы не показались им выше благостей раб и не надломили их смиренные и решительные христианские души»; но, может быть, лучше всего здесь, в подполье? Он снова оглядел полу сумрачные углы кельи, лики святых на полках, груду крестиков и свою железную кровать и подумал, что, пожалуй, лучше всего, конечно, поместить «благословленных» здесь; четверо, пятеро вполне поместятся.

Каширин живо представил, как они будут лежать на полу, съеженные, укрытые пиджаками и шальками, ничего, кроме одежды на себе, он не разрешит им взять с собой. А на божнице, перед Христом, будет гореть свеча, небольшая, слабая, чтобы только чуть рассеивала мрак; свеча должна гореть и днем и ночью,—так будет большие таинственности и «святость» в том, что совершился здесь; «пред очами бога никакие искушения не сильны». Он еще подумал, что теперь не будет выводить их на прогулки, а чаще станет читать евангелие, читать по ночам. Он уже увидел себя, как входит в подполье с евангелием в руках, и «благословленные» протягивают к нему молящие ладони. Воображенная картина не только не пугала, но, напротив, радовала и ободряла Каширина, потому что он больше думал не о мучениях и ужасах, которые придется испытать «благословленным»,—потом их всех можно похоронить во дворе, прямо в сарае; выкопать поглубже яму и похоронить,—а о том, сколько добра снесут к нему те самые «благословленные». Он уже мысленно перебирал руками это добро, ально прикидывая, сколько лет сможет жить беззаботно, не думая ни о кощающихся деньгах, ни о завтрашнем хлебе. Это будущее так взволновало его, что он встал и начал прохаживаться от стены к стене — четыре шага туда, четыре обратно,—то потирая лоб и вскинув ладонь, то закладывая руки за спину. Как тогда, после пожара, ненависти и злобствуя на людей, он кричал им: «Гады! Гады!»,—так и теперь бросал он вызов тем же людям, злорадствуя и заранее наслаждаясь содеянным.

Он не вспоминал сейчас об оторванном отцом доме — это жило в его крови, было такой же неотъемлемой частью, как рука, нога, пальцы; оно, это с детства внушенное чувство, было незримым компасом, всегда и всюду руководившим его поступками. Сейчас он сквозь отдаление годов только на какой-то миг услышал торжественные и назидательные слова старца Филиппа: «Смотри, сын мой! Григорий, смотри и внимай ухом и сердцем: в этом доме жил твой отец...» — только на миг услышал этот шепот старца, и в памяти воскресли все прожитые годы, которые он мог бы прожить совсем не так, как прожил. Он ходил от стены к стене и мысленно повторял: «Здесь, в подполье. Здесь, именно здесь!»

На приглашение Екатерины пройти в комнату или по крайней мере присесть на табуретку прямо тут, на кухне, старуха Тельнягина только благодарно кивнула головой и продолжала стоять у порога. Она зашла лишь на минуту, чтобы узнать, как чувствует себя святой отец и будет ли сегодня крестить Неклоня голову и взглядом указывая на подполье, старуха полуслепотом спросила:

— Почивает?

— Да, — ответила Екатерина и тоже взглянула на подполье. — Почивает, — повторила она тише, будто и самом деле боялась разбудить того, о ком спра-

шивала старуха Тельнягина с обычной своей работой и благоговением, потому что знала о монахе и святом отце только то, что должна была знать, что выставлялось напоказ, как само смижение и непогрешимость. Но Екатерина, знаяшая и то, что знала старуха Тельнягина, и другое, чего никто не знал, кроме нее самой, сожительницы монаха, и что мучило ее, особенно теперь, когда отношения Каширина к ней вдруг резко изменились,— она совсем иначе, чем Тельнягина, взглянула на подполье и, тяжело и скорбно вздохнув, произнесла: «О господи! — перекрестилась.

Старуха Тельнягина между тем тоже вздохнула и перекрестилась и тоже произнесла: «О господи! — и еще, шевеля только одиними губами и не отрывая глаз от половицы, поблагодарила всевышшего, который «не забыл о них, пятым трублеских старухах, и для успокоения и на вящую радость их послал им святого отца. Ее старческое лицо выражало и умиление и в то же время тревогу, потому что она искренно верила в затворническую жизнь монаха Григория, будто он действительно питался лишь одним черным хлебом и водой, как об этом постоянно твердила Екатерина, и выходил из кельи только на служение, а все другое время неустанным молился, и эти молитвы, это «общение с Богом», поддерживали в нем «плоть и веру». Старуха Тельнягина так думала и потому по-своему восприняла беспокойный взгляд Екатерины и то, как та тяжело и скорбно вздохнула, и была благодарна ей за это.

— Садитесь, — снова проговорила Екатерина, спохватившись и пододвигая табуретку гостью.

— Спасибо, матушка, спасибо, милая, — торопливо ответила Тельнягина, опять своим отказом давая понять, что пришла совсем ненадолго.

Однако Екатерина, вначале совсем не желавшая разговаривать, но теперь почувствовавшая облегчение оттого, что в доме был чужой человек, что этот человек даже просто своим приходом нарушил не приятное и угнетавшее ее все утро течение мыслей, все больше ободряясь и приходя в то обычные состояния оживленности, когда чужие заботы становятся так же близки, как и свои, она уже не хотела отпускать старуху Тельнягину, основательно не говоря с ней. С той доброжелательностью в голосе, с какую могут обращаться друг к другу только близкие люди, — между прочим, верующие любили Екатерину именно за эту доброжелательность и, кто знает, к святому отцу или больше к ней приходили многие из них,— Екатерина спросила:

— Зять-то что, согласен?

— Мила-ая, да разве ж уговоришь этого безбожника? По его, хоть век некрещенным ходи. А я изведусь ведь, изведусь, матушка: как же винчика некрещенца, да она и года не проживет и благости божьи ей не увидит. Господи, что я говорю!

— Правильно говоришь: все под господом ходим. Бог дает, бог и прибирает. Зять-то, значит, против?

— Куда как не против, и слышать ничего не хочет. Да его нынче, матушка, нет дома, уехал.

— Куда?

— На другой рудник опять набираться.

— Надолго?

— Месяца на два.

— Так ве ему и не пишите об этом.

— Само собой, ни слова. Ну как, — Тельнягина снова, кивнув головой, указала взглядом на подполье, — сегодня можно?

— О чём разговор! С его добротой-то...

— Уж что добр, то добр.

— Присела бы, что ли? — И Екатерина опять, почувствовав, что разговор вот-вот может оборваться и тогда старуха Тельнягина уйдет, пододвинула ей табуретку. И тут же, чтобы ни секунды не молчать, принялась расспрашивать о том, кто будет крестной матерью, и, узнав, что в крестные Тельнягина хочет попросить ее, сейчас же согласилась, не преминув добавить, что делает это не только изуважения, но

идти за дочерью и внучкой, которые уже собрались и только ждали ее прихода.

Вода уже была теплой, но Екатерина не стала снимать бак с печи; она прошла в комнату, намереваясь заняться уборкой, смела тряпкой пыль с подоконников, с комода и впервые за все время жизни в Пятитрубинске сейчас почувствовала, что ей неприятно заниматься этим, что она устала и лучше сесть и отдохнуть. Она села как раз напротив окна, напротив половника, закрывавшего лаз в подполье, и мысли ее, хотя она или не хотела этого, невольно обратились к нему.

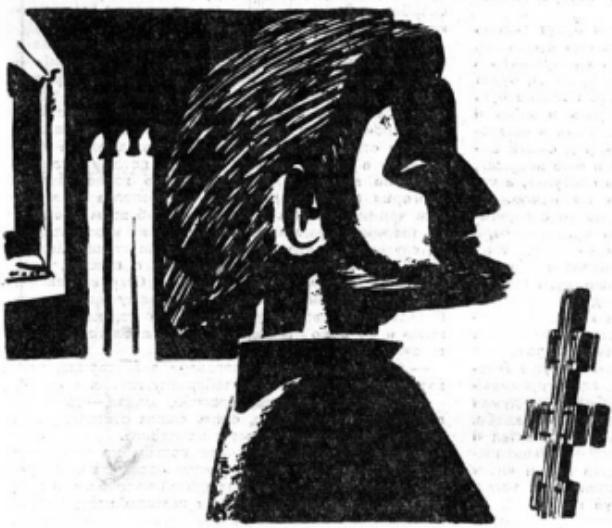
Несколько секунд она сидела тихо, не шевелясь, прислушиваясь, стараясь догадаться, что делает святой отец, но не услышала ни звука и подумала, что, может быть, он действительно почивает, как заметила старуха Тельнягина; он почивает, ей, Екатерине, в эти минуты так тяжело, что она даже не может плакать. У нее было свое горе, о котором пока знала лишь она одна: она забеременела. Но страшна была не сама беременность, не то, что ей теперь придется искать бабушку, хотя и это пугало ее и вызывало тревогу, страшно было другое; то, что об этом могут узнать верующие. Екатерина думала так, как подумала бы об этом Каширина. Она жила его мыслями, его расчетами и сейчас, представляя в воображении то, что может произойти, когда все обнаружится, ужасалась и стыдилась не столько за свой, сколько за его позор, монаха и святого отца; именно

потому, что она так думала, особенно остро переживала изменившееся к ней отношение Каширина. Будто он уже знал обо всем, чувствовал беду, считал виноватой во всем ее, Екатерину, и потому теперь злился и ненавидел ее. Он, сегодня, когда Екатерина утром подсели к нему и хотела рассказать о своем горе, раздраженно ответил: «Нет!»

Так же, как старуха Тельнягина, не зная ни дум, ни переживаний Екатерине, по-своему восприняла ее грустное настроение, — точно так же теперь Екатерина, не зная и даже не догадываясь о том, что тревожило и угнетало святого отца, по-своему истолковала перемены, происшедшие в нем, и оттого еще больше мучилась; но она, если бы даже и хотела, не могла мыслить иначе, чем мыслила, не могла сейчас проникнуться иным чувством, чем то, которое испытывала.

Она не заметила, как мимо окон прошла старуха Тельнягина с завернутой в одеяльце внучкой, как следом за ней прошли еще двое: такая же низенькая, как мать, светловолосая дочь Тельнягиной и длинный и тощий, как фитиль, дед Прокоп. Екатерина спокойнела и пошла встречать их, только когда заскрипела наружная дверь и в сенцах послышались голоса и шаги.

В переднем углу, перед иконами, возле которых торчали теперь зажженные свечные огарки, зализая своим особенным, колеблющимся светом лики свя-



от всей души. Потом полюбопытствовала, кого взяли в крестные отцы, и когда выяснилось, что с крестным отцом вообще еще ничего не уложено, что те, кого Тельнягина просила, отказались, а других она не знает, и что делать, как теперь быть, тоже не знает, — Екатерина услужливо предложила позвать деда Прокопа, их недалекого соседа, но, разумеется, надо сперва «ублажить» его. Что дед — это ничего; и что он уже около двух десятков раз был крестным и не помнил даже имен тех, кому теперь доводился названным отцом, — это тоже ничего; главное, чтобы был мужчина, чтобы в точности соблюсти обряд.

Довольная Екатериной и святым отцом, которого сегодня еще не видела, но о котором думала только с благоговением, и больше довольная собой, что так легко, по ее мнению, и удачно уловилась о крещении, и что все, что нужно для полного соблюдения обряда, теперь будет, — довольная всем этим и с благодарностью думавшая о боге, потому что все добро на земле исходит только от него, — старуха Тельнягина поклонилась Екатерине и назвала ее теперь, на радостях, не просто матушкой, а матушкой-заступницей. И хотя Екатерина все еще не хотела отпускать гостью, старуха Тельнягина, не прощаясь, а только сказав: «Я скоро, я сейчас», — вышла из кухни. Ей надо было еще «ублажить» деда Прокопа, как советовала матушка-заступница, а потом



тых и тусклые, потемневшие, почерневшие и оттого непонятно из чего сделанные узорчатые оклады икон,— перед этим домашним иконостасом, как называл божницу Каширина, перед которым он каждый вечер, облачаясь в черный монашеский наряд, проводил богослужения, установили сейчас на двух табуретках еще не старое оцинкованное корыто и налили в него теплой воды. Все это делала Екатерина, в то время как старуха Тельнягина с винчкой на руках, дочь Тельнягиной и дед Прокоп, хорошо, как видно, кублаженный и по слухам уже пропустивший столику горькой, стояли посреди комнаты и молча наблюдали за приготовлениями.

Потом к корыту подошел Каширин, освятил его шестиконечным церковным крестом и, зайдя со стороны иконостаса и засунув широкие и длинные рукава своего монашеского одеяния, негромко, но властно и так, чтобы могли слышать все, сказал: «Ну!» — и поднял над корытом оголенные волосатые руки.

Те несколько минут, пока старуха Тельнягина, торопясь и роняя пеленки, раздевала винчку, а мать девочки, Тельнягине-младшую, бледная, еще не окрепшая после родов, развернув полотенце, которое должна была передать Екатерине, но не передав его, а прижав ладонями к груди, глядя только на своего ребенка и думая только о нем, продолжала растерянно стоять посреди комнаты; пока дед Прокоп, сразу же переставший улыбаться, и Екатерина, снявшая фартук и вытеревшая о него руки,

готовились к торжественному событию,— Каширин, мрачный и злой и не скрывавший своей злости, смотрел на маленькое розовое тельце девочки.

Девочка не плакала; она была полненькая, круглая и так доверчиво и, казалось, осмысленно глядела на святого отца, так трогательно, умилительно и окончательно осчастливив этим своим поступком бабушку, тянущую ручонками к иконам и зажженным свечам,— Каширину казалось, что девочка протягивает ручки к нему,— и все в этом нежном, живом, бесконечно глупом и бесконечно доверчивом существе светилось такой чистотой и непосредственностью, что даже у Каширина на мгновение расправились нахмуренные брови, посветлело лицо, и он, на секунду отключившись от всех иных мыслей и размышлений, не просто держал руки над корытом, а протягивал их к ребенку, приглашая его к себе и даже слегка поигрывая пальцами. Но он снова нахмурился и помрачнел, едва лишь перевел взгляд на подходивших к купели деда Прокопа, старуху Тельнягину и особенно Тельнягину-младшую, которая, он сразу почувствовал это, боялась его, именно боялась, а не благоговела перед ним, и худые руки ее, чуть-чуть приподнятые руки матери, казались ему страшными и когтистыми, как у львицы. Каширин полуприкрыл глаза, чтобы никого не видеть. Но теперь, когда он смотрел вниз, на воду, он вдруг отчетливо услышал голос старухи Тельнягиной — она передавала винчку Екатерине и настойчиво твердила: «Ладонь под головку. Ладонь под головку!»

голос, торопливый и нежный, и то, что она делала, было простым, обыденным, житейским, и в другое время Каширин вовсе не обратил бы на старуху внимания, но сегодня как раз то, что было обыденным, житейским, вызывало в нем особенную неприязнь. Он чувствовал, как снова поднималась в нем и закипала беспричинная к этим, пришедшем крестить, но причинявшая ко всем людям зависть и злость. Не в силах подавить в себе этого чувства, он продолжал нахмуренно смотреть на воду, на край корыта и клетчатое платье Екатерины, прижатое к корыту. Ему было сейчас все равно, что он будет делать, зачем делать; он старался только не забыть имя, каким должен окрестить девочку, и то и дело повторял его, шевеля губами: «Настасья, Анастасия».

Он принял девочку из рук Екатерины и сразу же почувствовал, что тельце у девочки горячее. Он ощущал это даже прежде, чем увидел в своих ладонях маленько голенокное существо, по-прежнему тянувшееся руничками к освещенному иконам. Первое, о чём он подумал, что у него холодные руки; но руки у него не были холодными, и оттого вторая мысль, возникшая следом за первой, что, может быть, девочка простужена и у неё начинается жар,— эта мысль сильнее всколыхнула его и заставила вздрогнуть. Дерка девочку над корытом с водой и не решаясь пока, крестить или не крестить сейчас, он посмотрел на Екатерину; на лице ее тоже была тревога, она тоже заметила то, что заметил он, и Каширин подумал, что, наверно, все же надо отложить крещение, и уже, чуть вскинув голову, хотел сказать об этом, но старуха Тельнягиня, стоявшая рядом с Екатериной и все так же улыбаясь, неожиданно громким, как только что говорила Екатерине, сказала святому отцу: «Ладонь под головку, батюшка, под головку!»— и ее опять обыденно и по-житейски прознучавший голос вновь непримиримо обжег Каширина. Он еще несколько мгновений колебался, начинать или не начинать, но тут девочка, до сих пор спокойно лежавшая у него на руках, вдруг заплакала, и лицо ее, только что белое, нежное, сразу же налилось красной; и лицо старухи испуганно преобразилось, а Тельнягиня-младшая, робко прятавшаяся за спину матери, смотрела теперь из-за ее плеча — Каширин уловил этот взгляд — не просто боязливо, а боязливо-ненавистно, будто он, «монахи» и «святой отец», был для нее вовсе не монахом и святым отцом, а палачом ее ребенка. — Каширин точно угадал ее мысли. Неродуя и уже не думая о последствиях, а стараясь лишь поскорее закончить начатое, чтобы разом избавиться и от пронзительного детского плача и от этих неприятных испуганных лиц, он окунул девочку в почти остывшую воду, потом снова поднял над корытом и еще с минуту держал, читая совсем не нужное в таких случаях благодарение Богу.

Передав девочку названому отцу и вытерев по-данным полотенцем руки, Каширин продолжал стоять на том месте, перед корытом, и так как ему не хотелось ни на кого смотреть и он глядел вниз, на воду, — по звукам, шороху и негромким переговоривающимся голосам вполне представляя себе то, что происходило в комнате. Он не видел, у кого было сейчас завернутая теплые пеленки и затихшая девочка, но знал, что у старухи, и еще знал, что старуха теперь снова счастливо улыбается и что даже Тельнягиня-младшая — эта счастливая не тем, что дочь окрещена, а тем, что все окончилось благополучно, — тоже улыбается, хотя, может быть, в душе еще не прошел испуг.

Каширин с усмешкой представил себе эти преобразившиеся теперь лица, и, хотя вполне был удовлетворен собой и тем, что совершил, все же он и он чувствовал тревогу. Но чужак беда никогда не волновала его так, как своя; он забудет и о крещении и о девочке, едва Тельнягини и дед Прокоп покинут комнату, и вспомнит об этом лишь много недель спустя, когда опять окажется на скамье подсудимых, и среди двух десятков свидетелей и пострадавших увидят старуху Тельнягину, неизнаваемо исхудавшую, и услышит ее дрогнувший, совсем непохожий на тот обыденный и по-житейски спокойный голос: «Умерла... после крещения...» Но это будет потом; еще ни Каширин, никто в комнате не знает, что будет даже завтра; святой отец стоит все на том же месте, перед корытом, и видит ноги и юбки подошедших к нему, кланяющихся и благодарящих его Тельнягиних.

— Господь с нами, и он не покинет нас. Ступайте с Богом.

Тельнягини ушли.

Едва захлопнулась за ними дверь, Каширин подошел к столу, взял зеленую трехребристую бумагу, оставленную старухой за «труды», повертел ее в пальцах и тут же безразглаголственно бросил на стол. Потом, скрестив на груди руки, остановился у окна и сквозь цветовую занавеску стал наблюдать за пустынной улицей.

Но в то время как он смотрел на улицу, все его внимание было сосредоточено на том, что сейчас делала Екатерина — она потушила свечи перед иконами и, принеся ворох белья и сваний этот ворох возле корыта, принялась замачивать белые, намыливая и взбивая пену. Она каждый раз делала это, чтобы, как она говорила, не пропадала зря теплая вода, и каждый раз Каширин возмущалась не только тем, что она замачивала белые в комнатах и запах мыла, это противный, трупный запах, проникал даже сквозь половицы в подполье, вызывал тошноту, но, главное, тем, что она даже не переставала корыто, а все делала прямо перед иконостасом. Еще не обрачиваясь, а слыша только всплески воды и шуршание затапливаемых в корыто простыней «святой отец» с досадой подумал: «Опять!» — и хотел было уже поругать Екатерину, но, повернувшись и увидев ее, склонившую над ворохом белья, ее спокойное лицо, волосы, заплетенные в косу и уложенные на затылке, — сказал совсем не то, что хотел сказать: он просто пригласил ее сесть рядом и поговорить. Он почувствовал, что может отдохнуть рядом с ней от всего того, что мучило его сегодня все утро, и ему теперь захотелось сказать Екатерине несколько ласковых слов, как бывало говорил ей раньше, в первые месяцы совместной жизни. Но когда Екатерина, стянув с рук мыльную пену, присела на стул, Каширин опять пронзнес совсем не то, что думал; он спросил у нее как раз то, о чём намеревалась спросить еще до прихода Тельнягиних, еще когда был в келье, ходил от стены к стене и, негодя на всех людей, замышлял свое страшное дело с «благословением».

— У кого из верующих ты была дома?

— У многих.

— У этой, как ее, у горбунки?

— Была.

— У Журавиной?

— Была.

— У Ксенты?

— Ходила. Кропила углы святой водой.

— Углы святой водой, — повторил Каширин, медленно выговаривая слова, будто смысл, какой они содержали, был настолько непонятным и трудным,

что требовалось определенное время, чтобы все осмыслить и уяснить.—Та-ак,—протянул он, усаживаясь на стуле поудобнее, как перед большим и долгим разговором.—Ну-ка давай обо всех, и побороднее.

Екатерина,значащее обрадованная тем, что Каширин пригласил ее присесть рядом, обрадованная, главное, его ласковым тоном и тем, что сможет наконец сейчас рассказать о своей беременности и потом вместе решить, что ей делать, теперь, услышав эти неожиданные и странные вопросы и ничего пока не понимая, зачем нужен святому отцу знать разные домашние подробности о жизни верующих,—приходит, молятся, приносят пожертвования, что еще надо!—была озадачена. Вглядываясь в нахмуренное и сопротивленческое лицо святого отца, она при就成了 рассказывать, что знала. Каширин не перебивал ее, а только время от времени произносил: «Та-ак!», и в этом ятаки Екатерина, трезвожась и недоумевая, чувствовала недобро. Но она, потому что ее мучила своя боль, свою несчастье, так и не смогла понять, что же такое недобро задумал святой отец; только спросила:

— Для чего тебе это, Гриша?

Он ответил:

— Надо.

Ответил деловито и просто, будто речь шла о заготовке дров на зиму или картофеля.

больницы и лежал теперь дома, обложенный подушками, хотя этого совсем не требовалось, и то просмотривал газеты, то полудремал, прикрыв веки, а когда входила жена, молча выслушивал ее упреки.

«Только подумать: не успел приехать, не успел с поезда спеть, и уже на пожар!»

«Все люди как люди, ты у меня вечно сущешься, куда не просит. Что, разве без тебя эти чертозы склады не потушили бы?»

«А костюм?.. Пропал костюм. Куда его теперь? В ателье на фуршакки?»

«А если бы без руки остался?»

Иван Евдокимович ездил по вызову общества на областной семинар пропагандистов по научному атеизму. Пожар в городе случился как раз в тот вечер, когда он, утомленный поездкой, но радостный, что наконец вернулся домой, одетый в свой лучший костюм, вышел из вагона на пятитрубинский перрон.

Хотя он сразу же, как только приобрел билет, послал телеграмму, что выезжает, и Валентина точно знала номера поезда и вагона, но все же не пришла встречать его: она только что переболела гриппом и, боясь новой простуды и осложнений, не решилась на этот прохладный осенний вечер выйти из дома. За Иваном Евдокимовичем была послана горкомовская «Победа».

Как раз в тот момент, когда он, бросив чехоман на заднее сиденье, готовился уже влезти в машину, неожиданно заметил за товарными тупиками багровое зарево. Он спросил у шофера, что бы это могло быть, и пока тот взглядался и соображал, потому что и для него это зарево было совершенной неожиданностью (когда ехал на вокзал, никакого зарева нигде не было), Иван Евдокимович уже сам догадался, что за тупиками горели какие-то здания, что огни охватили, наверное, целый квартал. Крикнув шоферу, чтобы ехал домой и отвез чехоман, потому что все равно вдоль тупиков на машине не пробраться к пожару, захлопнул дверцы и побежал к горевшим складам...

Он лежал теперь дома, обложенный подушками, и, слушая упреки жены, думал совсем не о пожаре; он не жалел, что был испорчен костюм,—можно собраться и купить новый; и плечо заживет — не такие раны заживали; он даже был доволен, что поступил именно так, а не иначе, и потому упреки жены не тревожили его. Он думал о семинаре пропагандистов по научному атеизму, на котором выступил и сказал, что живущество сектантства в нашей стране — это прежде всего «резульятат нашего равнодушия, равнодушия людей к судьбам ближних», но ему возразили, что он понимает суть вопроса односторонне, а председательствующий даже замотил, что можно говорить о пережитках, но никак не о результате нашего равнодушия.

Зал, залитый матовым светом газовых ламп, красное полотнище во всю стену со словами приветствия участникам семинара, президиум за длинным зеленым столом и председательствующий — Ивану Евдокимовичу говорили, что будто бы это был кандидат или доктор сельскохозяйственных наук, и называли фамилию, но он не записал тогда, а теперь не мог припомнить,— председательствующий, то и дело постукивавший карандашом по микрофону,—все это Иван Евдокимович видел сейчас в своем воображении, и видел гораздо отчетливее, чем тогда, на совещании. Председательствующий не выходил к кафедре; поднимаясь, горбя и без того сутулую спину, склоняясь над столом и над микрофоном, он бросал в зал фразу за фразой, бросал легко, увер-

ГЛАВА ПЯТАЯ

Иван Евдокимович Шевелев тоже был на пожаре. Только он бежал к горевшим складам не по меже, не со стороны пшеничного поля, как Каширин, а совсем с противоположной, от товарных тупиков, и потому очутился на складском дворе. Вместе с двумя десятками смельчаков он выносил из охваченных пламенем зданий аккумуляторы, выкатывал автомобильные покрышки, выбрасывал камеры и еще поднимал и выносил разные запасные части в коробках и без коробок. Кашиля, задыхаясь от удущливой гаря, изнемогая от жары и в то же время чувствуя, что есть силы, он опять и опять бросался в распахнутые двери склада и, когда выбегал с очередной ношей, видел только ревущую толпу во дворе, именно ревущую, так казалось ему, пожарные машины, темные, в отсветах огня, длинные шланги, лестницы, каски, струи воды.

Он всегда лишь страждал с пиджаком сажу и горевшие угольки, когда обломок обугленного стропила обрушился на его плечо. Только через полчаса, когда пожар был потушен, а люди, возбужденные событием, все еще не расходились, обсуждая подробности и глядя на долгивающие головешки,—только через полчаса, стоя рядом с совершенно незнакомыми ему людьми и оживленно разговаривая с ними, Иван Евдокимович вдруг ощутил резкую боль в плече. Сначала он не обратил на это внимания, решив, что просто небольшой ушиб, но боль все усиливалась, и в какой-то момент он почувствовал, что болит не только плечо, но и рука, что он не может даже пошевелить рукой. Он с трудом добрался домой, а под утро машина «Скорой помощи» увезла его в больницу. Но у него не было ни перелома, ни вывиха, просто от сильного удара отекло плечо. На третий день он уже выписался из



ренно, заранее исключая любые возражения, и его голос, усиленный висевшими по углам репродукторами, казалось, прокатывался над притихшим залом. Иван Евдокимович хорошо запомнил этот голос, медлительный и твердый, и особенно запомнил заключительное выступление этого кандидата или доктора наук; тот говорил, что надо прежде всего разъяснить верующим бессмыслицу суть религии, ее ханжеское начало, разъяснять кропотливо, работая с каждым верующим индивидуально. Это было верным, но, как считал Иван Евдокимович, не главным; он так считал и был уверен в своих убеждениях, во всяком случае, до поездки на семинар.

«Нелепость библейских легенд очевидна, это нетрудно доказать; надо раскрыть перед верующими, кто их пастыри, почему те люди стали паstryми, ради религии или иных целей, верят ли они сами в бога или еще во что, и тогда секта рассыплется, и тогда можно уже начинать разговор о нелепости библейских легенд. Надо бороться с равнодушными, и тогда не будет обиженных и не нужно будет им искать сострадания у «братьев» и сестер во Христе» — так Иван Евдокимович написал в своих «Записках воинствующего атеиста», потому что для него, вот уже почти двадцать лет подряд ведущего борьбу с сектантами, знающего о сектах и сектантах не по газетам, не из вторых рук, — для него вопрос, с чего именно начинать работу с верующими, не просто маленькое уточнение или тонкость, а самое важное и главное в достижении цели. «Записки воинствующего атеиста» он закончил еще до поездки на семинар и не отоспал рукопись в издательство лишь потому, что хотел еще раз просмотреть ее и кое-что выправить.

Но сейчас, лежа на кровати среди груды белых подушек и думая о семинаре по атеизму, о выступ-

лении того председательствующего и о своих «Записках», он уже сомневался, стоит ли вообще посыпать книгу в издательство. Как раз предпоследняя глава о людском равнодушии — глава, которую он считал самой удачной и которой гордился, сейчас представлялась ему неточной, путаной. Иван Евдокимович не мог не счищаться с мнением, высказанным на семинаре, знал, что так или иначе, а придется перерабатывать «Записки», переделывать именно последнюю главу, — это-то и тревожило и волновало его теперь.

Но еще больше волновало воспоминание о том, как он ходил на Ново-Школьную, в сектантский молитвенный дом. Это было в воскресенье, в тот день, когда многие участники семинара уже разъезжались по домам. Иван Евдокимович спустился к администрации гостиницы и сказал, что намерен задержаться в городе еще на двое-три суток, что хочет побывать в музее, на выставке, съездить в знаменитый в этих местах бор и посмотреть пляжи, о котором много слышал, но на котором никогда не был, — купальный сезон, правда, закончился, но лодочная станция еще работала, — и он действительно собрался ехать в бор на пляж, но в самую последнюю минуту изменил решение. Не только потому, что ему, как атеисту, было интересно побывать в молитвенном доме, расположенному почти в самом центре города, — он бывал в разных молитвенных домах, баптистских и небаптистских, легальных и нелегальных, — и не только потому, что мог услышать там что-нибудь особенное, что потом непременно пригодилось бы в антирелигиозной работе, — просто кто-то из участников семинара сказал ему: «Сходите, сходите, не пожалеете», — будто речь шла о каком-то представлении, и Иван Евдокимович, выйдя в то воскресное утро из гостиницы, направился к остановке троллейбуса, на сторону бора, а совсем в противоположную, на Ново-Школьную.

Он вспомнил сейчас, как в то утро сел в трамвай, как доехал до остановки «Больца», как затем — когда очутился на площади — увидел на той стороне, в глубине улицы, четырехэтажный дом, выкрашенный в зеленое и белое. Еще не пересекая площади, еще стоя у кромки тротуара и глядываясь в тот дом, Иван Евдокимович неожиданно для самого себя почувствовал робость; это чувство еще сильнее охватило его, когда молодой человек в черном костюме открыл перед ним массивную дверь и, слегка наклонив голову и давая понять этим вежливым жестом, что не прочь видеть гостя в такой ранний час и что даже готов проводить его в зал, где с минуты на минуту начнется служба, — чувство робости еще сильнее охватило Ивана Евдокимовича, когда он, встреченный этим молодым швейцаром (он и теперь считал, что открыл ему дверь швейцар), переступил порог молитвенного дома.

Молодой швейцар провел его через довольно просторный и хорошо освещенный вестибюль в зал. И хотя Иван Евдокимович, скованной робостью, больше смотрел на черную спину швейцара и в ту сторону, куда тут вел, — все же он успел заметить, что и в вестибюле, и особенно в зале, уже заполненном людьми, не было той убогости и скромности, какую обычно проповедуют сектанты, а напротив, все здесь сверкало позолотой: и рамки с библейскими цитатами, развешанные по стенам, и дверные ручки, и лusterы, театрально-роскошные, и, главное, фисгармония темного полированного дерева. У клавиштуры на маленьком стульчике сидел пожилой человек. Повернувшись к Ивану Евдокимовичу, он смотрел в зал, но Ивану Евдокимовичу казалось, что он смотрит прямо на него, шающейся между скамеек к первому ряду, где виднелось несколько свободных мест; ему казалось, что все в зале смотрят на него, хотя это было вовсе не так. Все смотрели в это время на небольшую боковую дверь, откуда должен был вот-вот появиться девяностолетний старец Катков, глава местных сектантов: по воскресеньям он обычно служил сам, и потому верующие с нетерпением ждали его появления, — но Ивану Евдокимовичу казалось, что все смотрят на него, и потому он, хотя и старался держаться прямо, гордо, все же невольно сутулился плечи, а когда сел на указанное место, в первые секунды смотрел только вниз, на свои ноги и ковер под ногами, самый обыкновенный узорчатый ковер, какие расстилают в гостиных или вешают на стены. Все эти секунды он боролся со своей робостью, но, как ни старалась внутрь себя, что не он должен робеть, а они, эти по-праздничному одетые и заполнившие зал люди, — однако не мог избавиться от неприятного, пробегавшего по спине озноба: было такое ощущение, будто он вошел не в освещенный зал, а в темную пещеру, полную неожиданностей.

Вот и теперь, вспоминая все это, он чувствовал ту же неловкость, робость и даже боязнь. Но ни тогда, ни сейчас, когда у него было столько времени для размышлений, он не мог уяснить себе, отчего эта робость: оттого ли, что все вокруг выглядело тогда необычно торжественно, — не как в других молитвенных домах, в которых приходилось бывать Ивану Евдокимовичу, — или просто оттого, что это был совсем иной мир, иная жизнь, далекая от той, какую он видел вокруг?. . Он не заметил, как в боковой двери появился Катков; лишь по тому, как задохнулся и притих зал, как легкий шорох прокатился по рядам, понял, что что-то произошло. В следующее мгновение Иван Евдокимович услышал мягкий шум шагов, потом увидел ноги шагавших к пресвитерской кафедре — три пары ног, обутых в черные и наощущенные до блеска туфли; потом увидел самого Каткова — его поддергивали под локти двое молодых людей. Девяностолетний старец, совершенно белый, с трясущейся бородой и трясущимися худыми, совсем почти высохшими руками, шагал медленно; он прошел мимо хора, мимо проповедников и ведущих двадцатки и опустился на скамью рядом с пресвитером городской общины. Как только дрожащие руки его раскрыли библию, маленький лысый человек, сидевший у фисгармонии, нажал на клавиши, и в зал полились торжественные звуки будто знакомой и будто совсем незнакомой Ивану Евдокимовичу мелодии.

Сначала слышалась только музыка; потом запел хор; он славил Бога, и все собравшиеся в зале, и сидевшие лицом к залу проповедники, пресвитер городской общины и даже этот девяностолет-

ний полубог с трясущейся белой бородой — все, склонив головы, шептали молитвы, и лишь Иван Евдокимович, теперь немножко осмелевший, смотрел прямо поверх голов. Он смотрел на старца Каткова, на его желтые, обхватывающие раскрытую библию и еще еще дрожавшие руки, на лысину, блестевшую и бледную от света высоких люстр, смотрел не просто потому, что было интересно, как этот немощный и высохший старик мог



еще двигаться, говорить, читать молитвы, а иное любопытство привлекло внимание Ивана Евдокимовича. Он кое-что слышал о Каткове, зная частицу биографии этого старца; Катков лежал у пулемета, когда атаман Анненков, отступая, приказал расстрелять свою полуразбитые полки, специально втянув их в узкое горное ущелье и преградив выход; атаман стоял у камня и поигрывал пистолетом, а Катков лежал рядом на жесткой, сухой траве, разбросав ноги, и нажимал на гашетку пулемета; там, за грани-

цей, куда уходил атаман Анненков, он не хотел лишился «обузы», и Катков выполнял волю атамана. Это ссыпал Иван Евдокимович: девяностолетний старец, обнявший сейчас библио, — тот Катков. Чем больше вглядывалась в него Иван Евдокимович, чем больше думал о том ужасном, что произошло тогда в узком горном ущелье (он слышал этот рассказ от матери: она ездила на подводе за телом своего отца, насищенно взятого Анненковым в солдаты и убитого в том ущелье), — чем больше думал о той страшной картине расстрела, тем тверже был уверен, что этот старец — тот Катков, Шевелев уже не робел; он даже забыл, что минуту назад его спина согнулась от неприятного озноба; и женские голоса хора и звуки музыки, так поразившие воображение вначале, теперь слышались только как отдаленное эхо. Иван Евдокимович представил себе узкое горное ущелье, мечущихся в панике людей, крики, стоны, проклятия; белогвардейцы расстреливали белогвардейцев; но Иван Евдокимович думал не об этом: там были люди, были солдаты, крестьяне, на сильно оторванные от плуга и поставленные под черные атаманские знамена, крестьяне, как дед Шевелева, и это было бесчеловечным и страшным; трупы, трупы, разбухшие людеские трупы, и Катков на атаманской тачанке, подъезжающей по пыльной дороге к Кульдже... Спустя несколько лет Катков вместе с Анненковым вернулся в Россию. Анненкова судили, а Катков ускользнул; на него не было улик, о его делах ходили лишь слухи; о нем и сейчас — только слухи, только разговоры, будто он еще в те, двадцатые годы, еще тогда, перед возвращением в Россию, был рукоположен в пресвитеры, и рукоположен не кем-нибудь, а самим бруклинским «святым старцем».

«Господь оставил нам семью заповедей, но вы твердо должны знать одну...»

«Не убий!»

«Внушите это вашим мужикам, и у Советов не будет армии.»

«Не убий!»

«Не убий!»

Иван Евдокимович казалось, что именно такой разговор происходил после рукоположения между Катковым и атаманом Анненковым; казалось даже, будто он сам когда-то слышал этот разговор, и голос черного атамана только вновь программилил его ухом. «Не убий!» Человек, по приказу Анненкова накинувший на гашетку пулевомета, проповедовал: «Не убий!»

Шевелеву это представлялось так: сектантские молитвенные дома по закончустым деревням и городишкам России, коленоизрекленные толпы верующих и пресвитерские голоса над этими толпами, провозглашающие божью заповедь «Не убий!». Обманутые, запуганные карой господней, мужчины калечили себя, чтобы не идти в армию, не брать оружия, и потом мучались всю жизнь и умирали, так и не узнавшие своего обмана; — их не много, но они были, эти самоискалеченные люди, и Шевелев, глядя на старейшего пресвитера, так спокойно слушавшего сейчас музыку и пение хора, думал и тех, кто с молитвой божьей на устах уродовал себя на всю жизнь и погибал от этих увечий. Он преувеличивал, думая так, но он не мог иначе; он преувеличивал для того, чтобы разом отшутить всю тяжесть преступлений, совершенных тогда, в те далекие годы. Ему казалось, что женские голоса хора и звуки музыки раздаются сейчас в зале лишь для того, чтобы заглушить грохот тех пулеметных очередей, глухие удары железа о кости. Он слышал и треск выстрелов и даже, как

представлялось ему, слышал, как падают на землю безжизненные тела и как стонут калечющие себя люди. По спине Ивана Евдокимовича вновь пробежал озноб, теперь уже не от робости, а от ужасов, которые он себе представил.

...Иван Евдокимович лежал сейчас и думал: что — может быть, именно этот старец Катков? — внушил тем несчастным мужикам страх перед божьей заповедью «Не убий!», страх перед которым даже смерть — ничто! Откуда тянулись тогда и продолжают тянуться нити предательства? Может быть, даже отсюда, с Ново-Школьной Наверняка и отсюда, с Ново-Школьной, из этого дома, где сейчас хор и музыка так торжественно воздают хвалу богу.

Все может быть. История еще не установила всех фактов, и Иван Евдокимович только думает, что это было так. История еще многое не установила — тысячи документов, покрытые пылью, пожелтевшие, утратившие в бетонных хранилищах, тягот от людей правды эпохи. Да, история еще многое предстоит установить — и героического и позорного, но Иван Евдокимович не хочет ждать, он думает и представляет себе все, о чем думает, преувеличенно, жестоко, чтобы понять самому и рассказать людям, берущим в руки библио: смотрите, с нее капает кровь поколений...

Иван Евдокимович лежал на кровати, обложеный подушками, и старался не шевелиться, чтобы не потревожить больное плечо; но он не хотел шевелиться еще и потому, что боялся нарушить цепь воспоминаний. Он думал, кто прав: он сам или тот, скавший за семинарие свое неоспоримое мнение?

И чем больше он думал, тем, казалось, больше запутывался и отдался от истины; запутывался потому, что просто робел перед тем мнением и только боялся признаться себе в том, что робел. Раньше он вычеркивал и переделывал главы своих «Записок», потому что то, что было написано им, было непринятым прежде всего для него самого; теперь же он должен был переделывать то, что было приемлемым для него, но непринятым, как он считал, для других; и потому новая работа над рукописью представлялась ему неприятной и отталкивающей.

Но еще более неприятным, о чем он думал теперь, был предстоящий разговор с женой, когда он вынужден будет объяснять ей, почему готовая рукопись вдруг опять стала неготовой, почему он снова все вечера и все воскресные дни должен просиживать в домашнем кабинете за письменным столом и жить не как все люди, а затворником. Такой разговор непременно состоится — Иван Евдокимович знал, что избежать его нельзя. И еще он знал, что Валентина в конце концов смирится со всем и все будет хорошо, но она обязательно скажет: «Зачем же ты делал то, чего делать не нужно было?» Скажет просто, со всей своей женской уверенности и правотой, и он уже сейчас чувствовал растерянность перед этим ее вопросом. В самом деле, зачем он делал то, чего делать не нужно было? И он с力量ом мысленно начал объяснять себе все сначала, почему он раньше делал в рукописи то, не это, и почему сейчас вынужден будет делать это, а не то. «Можно говорить лишь о результате, но не о продукте нашего равнодушия».

Он объяснял себе все это, а Валентина стояла рядом и разворачивала на столике только что принесенное лекарство для атаки. Иван Евдокимович не видел ее лица, а видел только край коричневого

платья и белый локоть, то исчезавший, то появлявшийся в этом квадрате платья, но еще по тому, как она вошла в комнату, поспешно, молча, и по тому, что до сих пор не произнесла ни слова, и, главное, как торопливо шуршила сейчас в ее пальцах бумага, которую она разворачивала, Иван Евдокимович понял, что она опять чем-то недовольна. Но он не спросил, чем она была недовольна, а покорно снял рубашку и представил ей для растирания оголенное большое плено.

— А опухоль у тебя спала, — неожиданно мягко, и даже, как посыпалось Ивану Евдокимовичу, нежно сказала Валентина, наклоняясь, разглядывая плечо и щупая его тонкими холодными пальцами. — Но синяк еще большой, — добавила она и покачала головой, как врач, дозорный ходом болезни.

Но Иван Евдокимович по-прежнему не видел ее лица, а только ощущал теперь над ухом теплое, щекочущее движение и, ежась от этого дыхания, с удивлением думал о неожиданной и такой быстрой перемене в настроении жены. То, что она только что была чем-то недовольна, — в этом Иван Евдокимович несколько не сомневался; за десять с лишним лет совместной жизни он хорошо изучил все ее привычки и мог даже по стилю шагов определить, сердится она или не сердится. Но что так быстро изменило ее настроение сейчас? Все еще удинаясь над тем и продолжая ежиться от ее щекочущего над ухом дыхания, — Валентина теперь накладывала мазь на плечо и делала это особенно осторожно, потому что Иван Евдокимович ежился, как ей казалось, от боли. — Иван Евдокимович незаметно для самого себя полностью отключился от тяготившего его дум о поездке в область и предстоящей неприятной работе над «Записками» и стал размышлять о своей семейной жизни, о Валентине, которую он когда-то, десять с лишним лет назад, впервые встретил в деревенской клубной библиотеке и которая была ему теперь самым близким человеком.

Он так и не узнал, чем она была только что недовольна (она сидела в дальнюю аптеку, на третий кордон, долго ждала автобуса, а потом в автобусе было очень тесно и душно, и кто-то все время подталкивал ее локтем в спину; и в довершение всего автобус на половине пути остановился, потому что заглох мотор, и пришлося почти четыре километра идти пешком по пыльной мостовой, а туфли она наступала на высоком каблуке — в общем, девушку нужно очень немногого, чтобы испортить ей настроение). Так и не узнал, почему она переменилась и, заговорила ласково (она увидела, что опухоль на большом плече опала, и это было лучшей наградой за все ее хлопоты — не очень много, нужно человеку и для того, чтобы обрадовать его). Он так ничего и не узнал, потому что не стал ни о чем расспрашивать; он любил Валентину именно такой, ласковой и нежной, и, теперь, чувствуя ее близость, ее пальцы, мягко и нежно скользившие по телу, не хотел нарушать этой приятной минуты.

— Тебе не больно?

— Нет.

Через секунду она снова спрашивала:

— Тебе больно?

Иван Евдокимович даже подумал, что, может быть, как раз сейчас и рассказать жене о том, какая работа еще предстоит ему над рукописью «Записок», и, взглянув ей в глаза, начал было: «Знаешь что, Валя, — но в это время в коридоре раздался звонок, кто-то пришел к ним в гости, и Валентина,

отложив мазь и вытерев марлей руки, пошла открывать дверь.

Вскоре из передней послышался ее оживленный голос:

— К тебе, Ваня.

— Кто?

— Василий Федорович Левашов.

Иван Евдокимович удивился, вспомнив, что давно уже не видел секретаря рудничного парткома, что последний раз заходил к нему перед самым отъездом на областной семинар. Когда Левашов узнал, на какой семинар, то скептически кинул головой и заявил, что религия давно уже умерла, что она умерла еще в семидесятом на рабочих и солдатских штыках, штурмовавших Зимний, и что теперь, спустя столько лет после революции, когда у нас сплошная грамотность, утверждать, что кто-то всерьез может поверить в существование бога, просто смешно, нелепо, удивительно и удивительно нелепо, что некоторые люди еще могут съезжаться в области и говорить об этом давно умершем деле... Иван Евдокимович удивился, вспомнив тот разговор, и главное, то, как они сухо тогда рас прощались с Левашовом даже не подал руки. Этот самый Левашов стоял сейчас в передней, разговаривал с Валентиной, и Иван Евдокимович хорошо слышал и то, о чем они говорили — о его здоровье, — и то, как говорили, как чутко и дружески звучал голос секретаря рудничного парткома. Неловко повернув плечо, сморшаясь от боли и тут же забыв про эту боль, Иван Евдокимович торопливо надел рубашку и, не дожидаясь, пока Левашов войдет в спальню, крикнул:

— Василий Федорович...

Но Василий Федорович уже стоял на пороге, высокий, подтянутый, в своем обычном сером костюме, в каком всегда Иван Евдокимович видел его на работе, в галстуке, повязанном модным теперь тонким узлом, и в очках, круглых и больших, придававших особенную серьезность его лицу. Он сначала кинул головой, приветствуя издали, потом подошел к постели и пожал протянутую теплую руку.

Вошедшая с ним Валентина пододвинула ему стул, и Левашов, поблагодарив ее и усевшись на этот стул, достал из кармана пачку папирос и, только спросив, можно ли закурить, и не дождавшись ответа, размял папирос, прикурив ее и бросил пачку на столик, где все еще стояла раскрытая баночка с мазью и лежали вата и марля. Он проделал это так непринужденно и просто и так легко, с той же легкостью и непринужденностью положил спичку и страждущий лепел в протянутую пепельницу, что даже Валентина, не любившая, когда в доме курят, улыбнулась и не только не заметила ничего неприличного в поведении гостя, но была, как казалось, польщена его чутчивостью и вежливостью.

Зато Иван Евдокимович, который знал Левашова иным, действительно учтивым и действительно вежливым, сразу же заметил, что секретарь парткома чем-то встревожен и потому закурил и так небрежно бросил пачку на стол. Иван Евдокимович особенно ясно заметил это, когда Левашов, спросив: «Ну, как себя чувствует, ключница не перебита?» — и, не дослушав, что ключница цела, задал новый вопрос: «Долго ли пролежишь в постели?» — потому еще вопрос, приходит ли арачка и кто лечящий врач, будто знал всех врачей в городе и мог дать дальний совет, но когда была названа фамилия, никакого совета не дал, а сразу же заговорил о другом — о причине пожара, возникшего будто бы оттого, что загорелась проводка на чердаке.

Левашов говорил обо всем этом лишь для того, чтобы казаться умным, чтобы то, что действительно интересовало и занимало его и что, собственно, привело в этот дом, то, о чем он только еще измеврался рассказать, не показалось хозяевам дома главным, а чтобы главным в беседе было это — разговор о здоровье больного. Но когда он, достав из кармана пиджака маленький нагрудный крестик и передав его Ивану Евдокимовичу, сказал, что такие штучки штампуются на комбинате, но что обнаружилось это только вчера, что как раз перед пересменой начальник цеха принес в кабинет и высыпал на стол целую груду таких медных крестиков,— и для Ивана Евдокимовича и для Валентины главным в разговоре сразу же стало именно это, и Левашов, совсем забыв об умности, забыв, к кому пришел и зачем пришел, заговорил просто, естественно, как будто находился у себя в кабинете, и та непосредственность, казавшаясязначально неприличной, теперь была столь же необходимой, как и все, что он делал — повышал голос, хмурил брови, жестикулировал, усиливая слова. Он возмущался, а Иван Евдокимович, который не видел в случившемся ничего неожиданного (сектанты и церковники действовали и будут действовать) и понимал, что это лишь звено в длинной цепи преступлений, совершенных разного рода «святыми отцами», удивлялся не тому, что на комбинате нашелся слесарь-инструментальщик, который смастерил ручной прессовальный станок и тайно штамповала на нем из медных пластинок крестики, а удивлялся другому, тому, что в городе есть большая группа верующих (он даже подумал, какая община; только община последователей истинной православной церкви может заказать крестики), а он ничего об этой группе не знает. Он вспомнил процессию со «святой водой», которую видел в горах, пророчицу, которая так пронравилась ему тогда,— еще тогда он подумал, что есть в городе община, и хотел заняться ею, но все откладывал, потому что заканчивалась «Записки атеиста», был занят по вечерам, и вот община вновь проявила себя, но уже не процессией со «святой водой», а крестиками.

— Что же он сказал? — спросил Иван Евдокимович. Возбужденный разговором, он уже не лежал, а сидел на кровати, высунув из-под одеяла и свесив босые ноги.— Он сказал, для кого делал крестинки?

— Дело в том, что он ничего не хотел говорить. Я считаю, самое страшное именно в том, что он ничего не хотел говорить.

— Но все же для кого-то он делал крестинки?

— Так он сказал: для того, для кого делал, того в городе сейчас нет, а придет только к концу мес-сяца. Но как этому верить?

— Значит, заказ был со стороны.

Следственные органы точно установят, со стороны или не со стороны. Дело тут вот еще в чем.— Левашов снова полез в карман и, достав бумажку и развернув ее, прочел: — «Политотдельская, три». Дело тут вот еще в чем. Этот адрес дал мне один наш рабочий. Он живет там же, на Политотдельской. Так он говорит, что дома, что напротив его окон, каждый день собираются верующие, молятся, поют псалмы; говорит, будто бы даже и детей там кре-стят, уверяет, что сам, своими глазами видел.

— На Политотдельской... какой номер?

— Три.

— Вала, Валюша, запиши-ка, пожалуйста, этот ад-рес, — сказал Иван Евдокимович жене, которая была на кухне и теперь только-только вновь появилась в спальне. Проследив за тем, как она взяла из рук Левашова развернутую бумажку и направилась к

письменному столу, Иван Евдокимович, повернувшись к секретарю парткома и теперь опять обращаясь к нему, заговорил: — Этот адрес я ищу с самой весны. Помните, я рассказывал вам о процес-сии со «святой водой»? Я тогда еще чувствовал, что они собираются, где-то молятся, но где, в каком доме? Вы очень хорошо сделали, что записали этот адрес. Так молитвенный дом, там мы найдем раз-взяку крестикам. Нет, вы просто сделали большое дело. Вы даже не представляете, какое вы сделали большое дело.

Но Левашов не разделял и не желал разделять этого восторга, а еще более задумчиво и угрюмо, чем прежде, сказал, что то, что случилось на ком-бинате, и то, что в Пятигорске есть молитвенный дом, событие относит нынешнее отрадное, а скорее позорное.

Услышав эти слова, Иван Евдокимович улыбнулся той скрытой, внутренней улыбкой, как человек, явно чувствующий свое превосходство, улыбкой, которую нельзя заметить на лице, а можно увидеть только в глазах, и, выйдя минуту, словно собираясь с мыслями, но на самом деле лишь повторяя и отшлифовывая давно уже приготовленную для этого случая фразу и заранее наслаждаясь тем, какое впечатление произведет эта фраза на секретаря парткома, произнес:

— Жизнь чаще, чем мы предполагаем, опрокидывает наши утверждения, потому что сами эти утверждения построены больше на логике, чем на противоречиях жизни, — произнес неторопливо, особенно выделяя на логике и на противоречиях, чтобы секретарь парткома мог уловить не только философский смысл этих слов, но и пределенный намек, какой Иван Евдокимович вкладывал в них и тон голоса.

Но Левашов не заметил ни намека, ни философского смысла, продолжал все так же угрюмо говорить о позоре, и тогда Иван Евдокимович, потому же что хотелось подчеркнуть свою правоту и те неправильные прежние взгляды секретаря парткома на религию, сказал теперь прямо, без намеков, что уважаемый Василий Федорович еще совсем недавно, буквально полторы недели назад имел иное мнение,— лекцию на атеистическую тему так же же и не включил в план мероприятий.

— Я и сейчас не вижу в этом серьезной ошибки, — спокойно ответил Левашов.

— А крестинки?

— Это не по религиозным убеждениям, а за деньги. Выгодная сделка, рабочество, уголовное дело.

— Пожалуй, вы правы. Но позвольте, позвольте... — Иван Евдокимович нахмурился, сдвинув к переносице брови; он всегда делал так, когда хотел подчеркнуть напряженную работу мысли. — Может быть, вы и правы. Я говорю «может быть», потому что все в природе имеет свой круговорот.

И он теперь сделал ударение на слове «кругово-рот», как на чем-то особенном, что могло разом рассеять все сомнения, и уже, оттолкнувшись от этого удивленного, как он считал, слова, стал расска-зывать, какой круговорот могут совершить эти медные крестики, как они через пастырские руки могут попасть в горячие семьи сначала к старухам, а те старухи, бабушки, разумеется, могут поспать на винчук, винчук и даже на своих взрослых детей, на тех самых рабочих комбинатах, где Левашов возглавляет партийную организацию. Кто знает, может быть, такой круговорот в какой-то мере уже совершился, а люди бывают разные, сильные духом и слабые, и как раз слабые могут поддаться под влия-ние религии, если вовремя не принять нужные ме-

ры... Этими рассуждениями Иван Евдокимович хотел только еще раз доказать свою правоту, но, все больше и больше увлекаясь и горячясь, он уже забыл о том, для чего начал этот разговор, а говорил вообще о сектантских делах, возмущаясь и преувеличивая. То, о чём он вспоминал до прихода Левашова,— о молитвенном доме на Ново-Школьной, о старце Каткове,— он рассказывал теперь обо всем этом секретарю парткома, не давая ему возможности ни возразить, ни даже вставить слово.

Когда Левашов, поднимаясь со стула и протягивая руку, сказал, что и так уже засиделся, что пора уходить, Иван Евдокимович оторвался от разговора, чтобы рассказать о Бруклине, что ко всему причему существуют всесмирные центры почти всех сектантских направлений и что большинство этих центров находится в Соединенных Штатах Америки.

Иван Евдокимович был настолько возбужден, что и после ухода Левашова продолжал еще некоторое время развивать свою мысль о мировой сети сектантских общин. Но он держал в руках оставленный секретарем парткома медный крестик, и этот крестик, поблескивавший на свету гранями, заставил Ивана Евдокимовича вновь вернуться к размышлениям о пятнадцатиэтажном молитвенном доме. Он подумал, что надо бы сходить туда и узнать, что там за секта или община, и, вспомнив, что сегодня четверг, день молчания (обычно верующие собираются на служении по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам — это Иван Евдокимович хорошо знал), что именно сегодня можно застать верующих в соборе, решил пойти сейчас и, позвав Валентину, попросил ее принести костюм, чистую рубашку и галстук.

- Ты с ума сошел!
- Надо, Валюша, надо.
- Ты с ума сошел!

Он не сказал жене, куда и зачем пошел. Выйдя на улицу и почувствовав себя свободным от той домашней опеки, которая теперь казалась ему тягостной, он сразу же направился к остановке автобусов.

Большой бело-голубой автобус с буквой «Л» под лобовым стеклом вскоре привез его на третий коридор — самую отдаленную, примыкающую к вокзалу часть города, и Иван Евдокимович не зная точно, где улица Политехническая, а лишь предполагая, что должна быть в этом районе, пошел по тротуару наугад в сторону вокзала, читая таблички на угловых домах.

Он не очень торопился, потому что было только половина шестого, а служение начиналось в шесть, и он хотел застать всех верующих в соборе. Но хотя он и не торопился и пришел даже не к шести, а к половине седьмого, потому что долго плутал, разыскивая улицу, — все же не застал верующих.

Когда он, постучавшись, вошел в дом, в комнате не было коленопреклоненных старух, а была только одна пророчница, открывшая ему дверь, та самая пророчница, которая возглавляла шестидесятую со «святой зодией» и надменным и косо, не повернувшись головой, взглянула тогда на него, молча уступившего ей дорогу, — она и сейчас посмотрела на него так же надменно и косо, как Шевелев не заметил ее недружелюбного взгляда. Он увидел большую божницу в переднем углу, и тусклые иконы, освещенные слабым светом двух горевших свечей, сразу же привлекли его внимание. Иконы были старые, выцветшие, и медные оклады на них тоже почернели, и лишь в центре икона Христа, одна из всех, сверка-

ла начищенной ризой. Но не ветхость и запущенность этого «божьего уголка» поразили Ивана Евдокимовича. Вначале, когда он вошел в пустую комнату, он смущился и решил, что ошибся адресом. Но теперь, когда увидел эту божницу, оборудованную, конечно, не для одной семьи и не для одного человека, а для массовых молений, для службы, как иконостас, он понял, что пришел именно в молитвенный дом. Тем неожиданнее было то, что он не застал сегодня здесь верующих. Он подумал: неужели их успели предупредить? Но как и кто — это и было поразительным и непонятным. Уходить так, не выяснив ничего, не хотелось, но и открывать истинную причину своего появления в этом доме тоже не хотелось.

Назавив себя новым агитатором по этому участку, Иван Евдокимович уже на правах агитатора, не ожидая повторного приглашения, прошел в глубь комнаты и остановился у иконостаса. Он остановился как раз на том месте, где вчера стоял Каширин, когда крестил маленькую Тельнягину, и так же, как тогда лицо «святого отца», теперь полное лицо Ивана Евдокимовича было освещено желтым вздрагивающим светом горевших свечей и оттого тоже казалось таинственным, как у проповедника. Иван Евдокимович не знал этого; это заметила Екатерина, стоявшая у порога. Она даже на минуту очнулась, увидев такое сходство, и, прошептав: «Господи!» — мысленно перекрестилась. Она заметила еще, что лицо Ивана Евдокимовича было добре, чем тогда лицо Каширина, и оттого в нем было больше «святости»; но она тут же сплюзнулась, взглянув на половицы и вспомнив о Каширине, с которым жила и о котором потому было грехенно думать плохо. Она снова прошептала: «Господи!» — и перекрестилась, теперь уже не мысленно, а на виду у гостя, не стесняясь и не боясь, что он скажет.

Но Иван Евдокимович, все еще пораженный тем, что не застал верующих, и думая пока только об этом, даже не смотрел на пророчицу — он разглядывал комнату. Увидев на столике евангелие, молча подошел и полистал его. Он был настолько поглощен выяснением причины — почему? — что даже не следил за собой, за тем, что делал и что невзначай молчал. « Почемум?.. Но, в сущности, причина была совсем другая, чем та, какую представляла в своем воображении Иван Евдокимович. никто не предупреждал верующих о его приходе. Произошло вот что: вчера вечером Екатерина наконец рассказала Каширину о своей беременности и о том, что уже нашла бабку, которая обещала все сделать скрыто, так, что никто из верующих ничего не узнает, и главное, соглашись сделать за небольшую плату — сколько принесешь, дескать, на том и ладно. Каширин, мрачный и злой в эти дни, выслушав Екатерину, сначала молчал, раздумывая, в потом блоглавил, и вот Екатерина, обрадованная, что все для нее разрешилось, еще утром повествовала всех верующих через старуху Алферову, что уезжает на несколько дней в Стасовку и служений в эти дни не будет. Не будет не только потому, что уезжает она, но, собственно, и она-то уезжает только из-за того, что святой отец Григорий, этот «божий человек и заступник наш», решил уединиться, чтобы «им звука людского над головой, ни шума шагов, а помолиться в тиши за нас, грехиных».

Все нужные вещи уже были собраны и связанны в узелок, продукты уложены в корзину, и Екатерина ждала только вечера, чтобы незаметно, не заходя на вокзал, а прямо по тротуару через гору спуститься в соседнее село, где и жила та бабка. До се-

ла было около четырех километров, идти одной страшно, и потому Каширин должен был проводить ее хотя бы до перевала. В тот самый момент, когда «святой отец» готовился выйти из подполья, чтобы собраться в дорогу, в дом постучался и звонил Иван Евдокимович Шевелев.

Иван Евдокимович все еще листал евангелие, даже и не подозревая, что под половином, на котором он стоял, был лаз в подполье, и в эту минуту там, в подполье, волнуясь и напрягая слух, чтобы не пропустить ни одного слова, стоял во весь рост возле этого лаза Каширин.

— «Миссионерское общество, Берлин, 1923 год», — прочитал Иван Евдокимович надпись на титульном листе евангелия и, повернувшись к Екатерине, впервые за все эти несколько минут, пока был в комнате, заговорил с ней, не смущаясь ни своего долгого молчания, ни того, что она тоже молчала и была явно недовольна и приходом гостя и его бесцеремонным хозяином-хозяйничанием в квартире. — Берлинское издание?

— Нам все равно — книга Божья, а Бог для всех один.

— Сами читаете?

— А кто же!

Еще когда переступил порог, Иван Евдокимович узнал пророчицу; но эта не показалась ему миловидной и привлекательной, как тогда, в горах, потому что он вошел со света в полусумрачную комнату и не мог сразу хорошо разглядеть ни ее лицо и прически, ни ее платья. Теперь же, повернувшись к ней и разговаривая с ней, он видел ее всю, освещенную с одной стороны мерцающими огоньками горевших свечей, с другой — светом, падавшим из окна, и то прежнее чувство, которое возникло в нем после встречи с пророчицей в горах, теперь вновь постепенно охватывало его. Но, глядя на ее волосы, склоненные шильдиками на затылке и чуть-чуть взлохмаченные сплюзиями на плечи платком, любящею этой очень шедшую ей милой женской прической и глядя на ее струйную — она стояла так, что не было заметно ее полноты — фигуру, на ее грудь и круглые плечи, обтянутые цветной ситцевой кофтой, на юбку, расклешенную, но облегавшую бедра так, что нельзя было не заметить стройности и точености ее ног, — глядя на Екатерину и называя ее теперь по имени, потому что как агитатор он записал в блокнот все данные о хозяйке этого дома, — называя ее по имени незаметно для самого себя приводя голосу при этом особенную теплоту и мягкость, он все же ни на секунду не забывал то, за чем пришел в этот дом, и то, кем была хозяйка этого дома. Он стоял перед Екатериной, положив ладонь на обложку теперь закрытого евангелия, и с удивлением спрашивал ее, как она живет, когда не работает.

— В стирку бору.

— Приносит?

— Приносит.

Ответ хотя и показался Ивану Евдокимовичу искренним, но только еще больше удивил его, потому что ни в комнате, которую он сейчас снова обвел взглядом, ни на кухне и ни в сенцах, через которые он проходил, когда вошел в дом, ничего не напоминало о том, будто здесь стирают чужое белье. Да и руки Екатерины не были похожи на руки прачки, — этого тоже не мог не заметить Иван Евдокимович. Однако он ничем не выдал своего удивления, а, на-против, сделал вид, словно поверил всему, что услышал. Он и на самом деле хотел поверить не в то худшее, о чём он думал, а в то лучшее, что гово-

рила ему Екатерина, потому что видел в ней больше женщины, чем пророчицу. Всегда, сколько ни учил ее жизнь, Иван Евдокимович считал, что человек от природы более правдив и что несет в себе прежде всего доброе начало. Между тем,думая так, он то и дело поглядывал на иконы — их было около десяти. Заводите разговор о религии и боге в первый день знакомства было опрометчиво, потому что можно сразу насторожить пророчицу и усложнить себе работу, да и бессмыслицо, потому что откровенности все равно не получится. И все же, зная это, Иван Евдокимович не удержался и, кинув в сторону икон, шутливо произнес:

— Наставший иконостас!

Екатерина не ответила.

— Только для себя?

— Дом ни для кого не закрыт.

— Ходят к вам молиться?

— Ходят.

— Кто?

— Соседи, кто еще.

Разговор не получился, но, несмотря на это, Иван Евдокимович был доволен разговором. Он узнал все, что хотел узнать сегодня. Однако в то время как он думал, что доволен и рад оттого, что все узнал, на самом деле он был доволен и рад другому — тому, что увидел пророчицу, увидел ее одну, и что эта женщина с завидными чертами устоявшейся крестьянской красоты, дородности и здоровья, надменно и косо взглянувшая на него в горах, все не была строгой гордою, а была рабкой и стеснительной и, как казалось Ивану Евдокимовичу, смотрела на него сейчас даже тепло и приветливо. Он не стал ни уговаривать ее поступать на работу, потому что, дескать, чувство коллектива — это великое чувство; ни уверять, что бога нет и что она была бы счастлива и увидела совсем иную жизнь, если бы поняла, что владелец земли — это человек; ни тем более пугать ее, что нелегальные собрания верующих запрещены законом. Пожелав ей доброй ночи и пообещав на дни снова заглянуть к ней как агитатор — при этих словах чуть заметная тень смущения и тревоги пробежала по лицу Екатерины, — пообещав зайти к ней на дни, он попрощался и вышел на улицу возбужденный, наполненный радостным ощущением жизни. Жизнь была вокруг и в нем самом, и все, что он сделал и что предстояло ему сделать: работа над «Записками», встречи и разговоры с пророчицами, лекции в рабочем клубе и, главное, то, что секретарь парткома Левашов хотя еще и не признал своей ошибки, но все же кое-что уже признал — все это казалось простым, ясным, сбыточным, и он улыбался, шагая к автобусной остановке и глядя в сырую темноту улицы.

Но в то время как Иван Евдокимович думал, что все для него теперь просто и ясно, что ничего не может быть более того, что он узнал, побывав у пророчицы; в то время как он, уже сидя в автобусе, строил планы, как займется теперь пятигорским верующими и прежде всего, конечно, пророчицей; в то время как он считал главной и самой большой неприятностью, связанной с молитвенным домом, заказ на крестики, — на самом деле события разворачивались совсем в ином направлении.

Крестики делались не для пятигорских верующих. Ни Каширин, ни Екатерина ничего не знали о крестиках; заказчиком был другой человек — царковный экспедитор. Он только что прибыл в город с вечерним поездом и сейчас сидел вместе с Иваном

Евдокимовичем в одном автобусе и — бывают же в жизни такие случайности, в которые даже трудно без удивления поверить! — сидел с ним рядом, держась одной рукой за поручни переднего сиденья, другой — обхватив руки чемодана, и Иван Евдокимович то и дело поглядывал на его старомодную бабкировую тужурку.

Пройдет несколько недель, прежде чем вся эта история с крестиками вскроется, и Иван Евдокимович, увидев церковного экспедитора, представшего перед судом, с удивлением подумает, что лицо подсудимого очень ему знакомо, и будет вспоминать, а человек сейчас сидит с ним рядом и, повернувшись, спрашивает, на каком остановке лучше сойти, чтобы попасть к универмагу.

— На остановке «Универмаг».

— Спасибо.

В то время как Иван Евдокимович был убежден, что главным событием является все же история с крестиками, главным было другое событие — болезнь окрещенной Кашириной девочки. Она еще не умерла; в этот вечер старуха Тельянкина и матя девочки, Тельянкина-младшая, все еще надеялась на милость божью, пока лишь вели разговоры о том, вызывать или не вызывать машину «Скорой помощи»; к утру все же девочку отвезут в больницу, и отец девочки, извещенный телеграммой, срочно выедет в Пятитубинск, — это событие станет главным и потрясет горожан. Но до этого произойдет еще одна и странная и страшная неожиданность, свидетелем которой будет сам Иван Евдокимович, когда решит вторично навестить пророчицу, подготовившую на этот раз и большой с ней беседу...

Да, главными будут совсем иные события, чем те, о которых думал сейчас, возвращаясь домой, Иван Евдокимович. Он вышел из автобуса все в том же приятном расположении духа, и, так как вчера ему казался теплым, а воздух удивительно чистым, он решил еще немножко пройтись по тротуару腺оль улицы. Но, проходя мимо своего дома, он заметил Валентину, закутанную в шаль и стоявшую у подъезда; обычно ей было приятно, когда Валентина беспокоялась и ждала его, и он в такие минуты был особенно нежен и ласков с ней, но сейчас, может быть, потому, что он все еще думал о пророчице, представляя ее в своем воображении такой, какой видел только что, во время разговора, и хотел еще думать о ней, встречая с женой только вызвавшее чувство досады. Но это чувство досады никак не помешало ему так же послешно, как всегда, подойти к Валентине, улыбнуться ей и обнять ее за плечи, а потом, взявшись за руку, направиться по коридору в комнату. Он был оживлен и весел, и Валентина, глядя на него и по-своему понимая, почему ее Иван Евдокимович сегодня так оживлен и весел, совсем неожиданно для него спросила не о том, где он так долго ходил, а о другом, о том, как ему помогалась молитвенный дом.

— Ты думалаши, я туда ходил?

— Ладно уж, рассказывай.

— Знаешь что, Валюша, здесь в Пятитубинске, обосновались не баптисты и не адвентисты, а общины истинных православных церковников. Это монархическая община.

— Монархическая? Снова, значит, царь и престол?

— По-видимому.

— И верят в это?

— Верят ли, нет ли, трудно сказать. Сами они по крайней мере так объясняют: в молитвах и канонах, дескать, упоминается царь, а молитвы изменять нельзя, вот и профузглажают славу и богу и царю.

А в общем-то направление это в религии возникло где-то в конце двадцатых годов в Ленинграде. Это — тихоновцы. После того, как патриарх Сергий призвал церковь отказаться от борьбы с Советской властью, тихоновцы отдалились от действовавшей православной церкви и создали свою организацию, свои общины, контрреволюционные и монархические. Да, кстати, в Мадриде до сих пор живет какой-то проходимец, именующий себя «императором всероссийским». Может быть, они думают о возвращении на престол этого «императора»? Смешно, разумеется: «За царя ба-а-тоши...» — Последние слова Иван Евдокимович почти пропел, неестественно изменив голос и подражая церковникам, и тут же слова заговорил, продолжая прерванную мысль: — Ты помнишь, Валя, в Афимовске монах судили? Там была точно такая же община, но здесь, кажется, еще до изверга не дошло дело, здесь еще только все в зачатии. — И он стал подробно рассказывать обо всем, что видел в доме на Политехнической и что думал по поводу этого увиденного. Он рассказал об иконах, о крестиках, которые, как он все еще полагал, заказывались непременно там, и о пророчице, упомянув даже, что она молода и красива, и что просто удивительно, как такая женщина стала верующей.

Когда были потушены огни и он, лежа на кровати (опять обложенный подушками) и чувствуя легкую боль в плече, снова вспомнил все подробности сего дня вечера, — он вдруг подумал, что пророчица, неверное, живет не одна, что она только сторожит дом, возглавляет общину и проводит служения кто-то другой, может быть, какой-нибудь старец, а может быть, молодой, вроде того, афимовского монаха. Уже засыпая, он решил завтра же снова сходить туда, но пошел на Политехническую только на третий день, в субботу, опять расчитывая застать там всех верующих на служении.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Э тот субботний вечер был для Екатерины самым тяжелым в ее жизни, и не только потому, что она, вернувшись от бабки после неудачного аборта, теперь лежала в постели и чуть не плакала от боли, временами, как приступ, охватывавший все тело; главное, что тяготило ее, — это раздумья о прожитой жизни. Особенно мучительным было воспоминание о матери, матушке Василисе, и тех двух кладбищах — одно, большое, с крестами и оградами, начинавшееся сразу же за овражком, в конце городов, и другое, маленькое, за сараем, где матушка закапывала иногда еще ни на что не похожие, иногда уже с ручонками и ножками трупики. Именно эти два кладбища, всегда угнетавшие Екатерину, теперь особенно отчетливо вставали в воображении и были главной причиной ее мучений. «Господи! — шептала она, шевеля вспотевшими губами и глядя прямо с кровати на большую икону Христа, под которой еще горела зажженная Кашириной несколько часов назад толстая восковая свеча. — Господи! Посмотри на мои мучения и пошли мне благодать твою, да прославится имя твое светлое, господи! Помоли мне благодать твою, твои пошли, пошли-и...» Матушка Василиса обычно все делала ночью: в темноте выкалывала яму, маленькую могилу, в темноте выносила некрытый

мешковиной таз и выливала из него все в эту приготовленную яму, потом торопливо закидывала ее землей, разравнивала и утрамбовывала каблуками. А утром, когда Екатерина выбегала на огород, она сразу же замечала под стенной круг притоптанной сырой земли и догадывалась обо всем, что здесь происходило ночью; она шла к сараю, становилась на углу, как раз под застrebой, в перекрестье серых бревен, и молча смотрела на это маленькое кладбище, мысленно воздвигая на нем еще один крестик и оградку над свежей могилкой.

Сейчас, вспоминая все это, Екатерина не только ясно видела те круги притоптанной сырой земли под бревенчатой стеною и себя самое, босую, стоящую в ситцевом плащеце у сарая, но и испытывала то же чувство тревоги и страха, как и тогда, в детстве, и даже, как ей казалось, утреннее солнце, вставшее над плетнями и огорождами, над мрачными крестами деревенского кладбища,— это солнце, казалось ей, и сейчас так же тепло пригревало щеку, плечо, босые, обрызганные росой ноги; она чувствовала это тепло, и оттого еще страшнее представлялся холод могил. Она обычно стояла у сарая до тех пор, пока во дворе не раздавался зовущий голос матушки Василисы. Екатерина не могла спокойно слышать голос матушки; больше всего на свете она ненавидела сейчас этот всегда желавший ей только добра, добра материинский голос: «Катерина-а!»

Но еще отчетливее, чем прожитые в Стасовке годы, представлялось Екатерине то, что произошло с ней вчера у бабки. Она все хорошо помнила: как переступила порог тоже стоявшей на краю поселка избы, как бабка, полная и обрюзгшая старуха, попросившая называть ее не иначе как только по имени и отчеству — Агафья Митрофановна, — как эта полная и обрюзгшая старуха сразу же спросила у Екатерины, все ли она принесла, что нужно.

«Все, Агафья Митрофановна.»
«Ну раз все, то ступай ложись и готовься.»
«Так сразу!»

«А ты что же, милая, думала, неделю с тобой возжаться стану? Ступай и готовься. Положь образок под голову, так оно легче, да смотри кровать своим застели, слышишь?»

Женщинам, которые приходили к матушке Василисе (они приходили тоже ночью или на заре, крадучись, чтобы никто не видел), матушка Василиса тоже говорила, чтобы кровать своим застелили, говорила так же резко и властно, а сама отправлялась на кухню готовить воду и свои примитивные инструменты — вязальные спицы. Тот всплеск наливаемой в таз воды и звон перебираемых спиц приводил в трепет Екатерину; она никогда не думала, что и ей вот так же, как тем женщинам, придется лежать на чужой, но застланной своей простыней кровати и готовиться, а на кухне старуха с обрюзгшими лицами будет подогревать на плите воду и откладывать с полки или из запечника доставать давно уже не бывавшие в действиях, потускневшие и запыленные вязальные спицы...

Снова и снова вспоминая подробности прошедшей ночи, Екатерина видела перед собой как живую Агафью Митрофановну, видела ее в тот момент, когда старуха с пучком спиц и полотенцем в руках появилась у кровати. Она сказала только: «Ну, милая, начнем», — и положила холодную руку на обнаженный живот Екатерины. Будто не вчера, не ночью, а все это происходило сейчас, — Екатерина так ясно ощутила то холодное прикосновение ста-

рухиной ладони, что чуть не вскрикнула, и неприятная, неуемная дрожь пробежала по спине.

Она уже не спускала глаз с большой иконы Христа и беспрерывно повторяла одну молитву за другой, но это не помогало: воспоминания были сильнее молитв, — и, как ни старалась Екатерина, она не могла не думать о том, о чем думала. Она пыталась вспомнить, есть ли сарай во дворе Агафии Митрофановны, и хотя тогда была ночь и Екатерина ничего не успела разглядеть, теперь ей казалось, что она видела темный силуэт сарая, углом выступавший из тымы, и уже воображение рисовало ей новую картину: выкопанная яма, таз, накрытый мешковиной, сгоревшая фигура старухи над ямой, скрежет лопаты, шорох падающей земли и тяжелое, усталое дыхание торопившейся и вспомнившей старухи Агафьи. За этим воображенiem сараем было законено то, что могло вырасти, бегать, смеяться, протягивать руки и кричать: «Мама!» — за сараем было маленькое кладбище, как в Стасовке, и Екатерина сейчас мысленно рассказывала кресты и оградки на этом ничем не отмеченном и никому не известном маленьком кладбище.

Екатерина не всхлипывала; просто крупные и прозрачные слезы стекали по ее разгоревшимся от жара щекам. Но вместе с этим, что мучило ее теперь и что, она твердо знала, будет мучить всю жизнь, — она понимала, что с ней самой случилось что-то непоправимое, что она уже навряд ли сможет встать с постели, но, что самое страшное, святой отец никого не позовет на помощь, если она даже будет умирать, — она чувствовала это, хотя, думая о Каширине, верила в лучшее, вернее, заставляла себя верить в лучшее.

Она вспомнила первый приезд Каширина в Стасовку, чаепитие у окна и ночь, когда огромная фигура святого отца в белой материнской рубахе вдруг нависла над ее кроватью, и даже слова, которые он сказал ей тогда: «Дева днес пресущественного рожает, а земля вертеп неприступному приносит», эти слова, будто Каширин, склонившись, вновь прошелся их сейчас над ее ухом, отчетливо услышала Екатерина. Но она вспомнила об этом не потому, что осуждала себя, — ей хотелось разобраться в том сложном отношении Каширина к ней, именно сложном, какое она ощущала в последние времена; то, что он был жесток к людям — это она знала, но то, что он был жесток к ней — в этом не могла и не хотела признаваться себе, потому мысленно обращалась к тем лучшим временам, к тем первым встречам, когда святой отец, которого она называла просто Гришей, был особенно ласков и нежен с ней. Но, всматриваясь теперь в воскresавшие в памяти картины, она с болезненной подозрительностью относилась ко всему, что тогда радовало и огорчало ее; ей казалось, что дьячок хотя как-то и гонялся за с топором, но был все же добре и проще, был понятней ей, чем Каширин; сейчас он сидел бы у ее кровати и вместе с нею скребел над постигшим ее горем или, что еще вероятнее, стоял бы на коленях под образами и молился. Каширин же с самого утра, как встретил ее и уложил в постель, еще ни разу не выходил из своей кельи; она даже не знала, там ли он, потому что ни звука не доносились из подполья.

Сознавать то, что она осталась одна со своими мучениями и думами, было особенно больно, и, чтобы хоть как-то заглушить боль, она снова и снова молилась, глядя на большую, освещенную драгоценной свечой икону Христа. Икона то мутнела и расплывалась перед ее влажными глазами, то опять

была видна ясно и отчетливо, когда она платком вытигала заплаканные щеки. Лицо Христа, неподвижное, обрамленное блекло-желтой святой короной, было безумственно к ее страданиям,—в какую-то минуту Екатерина заметила этот холодный иконный взгляд и ужаснулась. Она подумала, что, наверное, настал для нее час возмездия, что это бог карает ее за грехи, и оттого такая душевная и физическая боль. «Господи, прости меня, грешную!..» Она вспомнила, как не хотела переезжать из Стасовки сюда, в Пятигорск, вспомнила разговор, который прошел как раз накануне отъезда.

«Погубиши и меня и себя. Я боюсь.»

«Бога?»

«Мне и так никогда не отмолит свои грехи.»

«Я не монах, никто не постригал меня в монахи.»

«Господи!»

«Я сам повесил себе на шею четки — для людей, для себя, для бога, чтобы лучше слыхнуть ему, но обета монашеского не давал; благоговорящим благословили, братиям и сродникам нашим даруй же ко спасению прощения и вечную жизнь». Ну, Катя?»

«Боюсь.»

Он не был монахом; он был монахом для других, но не для нее, а главное, не для бога, как понимала Екатерина, и это тогда утешало ее. Но теперь, когда она считала, что настал для нее час возмездия, — теперь все представлялось совершенно по-иному, и в доводы Каширина, его утверждения, что то, что он делает, он делает ради веры, эти доводы уже не имели для нее смысла. И «повинительные» дела матушки Василисы, кладбища, кладбища большие и маленькие, и пьяная жизнь дядьки, и обманы Каширина, и ее собственная, жизнь, звернее, сожительство со святым отцом и тоже обманы — все это сейчас представлялось одним страшным грехом, тем грехом, который ничем уже не замолить. Она уехала тогда из Стасовки только потому, что узнала о смерти дядьки, — во всяком случае, так думала Екатерина. Она не ходила на могилу к тому, с кем была обвенчана, кому перед алтарем обещала быть верной и от кого потом убежала, — именно в этом видела она теперь свой главный грех; конь ждет меня, ждет и зовет; серая могила, заросший холмик с крестом у ног, дощатый гроб и дьячок с жиденькой рыжей бородкой в гробу, обложенными сосновыми стружками, худой, с медными пятачками вместо глаз — все это так живо представила себе Екатерина, и представила рядом свой гроб и себя, обложенную стружками в гробу. «Господи, господи, господи!..» Но вместе со всеми этими ужасами, которые наполняли ее теперь, перед мысленным взором Екатерины все время вставала одна небольшая картина: будто она ходит по комнате и подбрасывает на руках мышца распашонке. Она никогда никого не называла, а только видела, как это делали другие, приносявшие крестить детей, но, может быть, именно потому и представлялась ей эта картина: она была той несбывшейся женской мечтой, которую Екатерина всячески старалась даже сейчас подавить в себе. Она все еще смотрела на икону Христа и молилась; бледные губы ее беззвучно шевелились, и она чувствовала, как к уголкам рта стекали соленые капельки пота.

Из подполья не доносилось ни звука, потому что там никого не было; «святой отец» сразу же, как только уложил вернувшуюся Екатерину в постель, пошел через перевал к бабке в село. Он пошел для

того, чтобы, во-первых, поговорить с ней, насколько серьезно то, что случилось с Екатериной, потому что Екатерина была бледна, слаба и еле держалась на ногах, когда он утром встретил ее в дверях, и, во-вторых, тайком провести эту бабку к себе в дом и заставить вылечить Екатерину — Каширин знал, как и чем пригрозить старой повитухе, если она вадумает отказаться.

Он вышел из дома, когда над горами уже загоралась рассвет, и длинные тени от склонов тянулись по склону вниз, к лощине. Он шагал по лощине, не боясь кого-либо встретить здесь в такой ранний час, и мысли, какие одолевали его, не были ни сумрачными, ни угнетающими; ему казалось, что все поправимо, что нужно только набраться терпения и выждать. Так же, как встающее над склонами утро, как это светлое небо, так представлялось будущее Каширина, то самое будущее с посредневневыми бедами, чтением евангелия, лазом в подполье и задуманной им жестокостью с «благословением» — избави их, господи, от бренной плоти и прими души их в божественный чертог славы — жестокость, которая казалась ему сейчас обычным и вполне осуществимым делом.

Размышления эти так увлекли «святого отца», что он не заметил, как очутился на вершине перевала. К дому бабки он подошел не с улицы, а со стороны городов, пробирался сквозь заросли облепихи; за сарай прошел мимо круга свежеутрамбованной земли, не обратив внимания на этот круг, а только по-хозяйски подобрав брошенную бабкой второпях поплату и приставив ее к стене. Прежде чем пересечь двор, огляделся, а когда поднялся на крыльцо, неожиданно увидел на двери большой висячий замок. Он минуту оторопело смотрел на замок, не веря, что не застал бабку дома, но уже предчувствовал недоброе.

Было светло, хотя солнце еще не входило, и его, «святого отца», стоявшего на крыльце перед запертой дверью, могли увидеть, — сначала лишь это ветровонко Каширина, и он стал искать взглядом место, где можно укрыться. Но, прислонившись спиной к стене и спрятав голову за висевшее рядом копьё, отчуждившись в маленьком укрытии, он уже, подумал о том, что все, что только что казалось вполне ясным и осуществимым, теперь могло не осуществиться из-за старухи, которой вдруг вадумалось куда-то уйти. Это еще больше взвесило Каширина, и он решил во что бы то ни стало дождаться повитухи, не зная и не подозревая о том, что она не ушла, а уехала к сестре в соседний совхоз, и уехала не на день, а на неделю, чтобы переждать беду.

Когда же Каширин, чувствуя, что на крыльце должно оставаться незамеченным нелзя, и выбирая убежище понадежнее, забрался на чердак сарай и там, усевшись на какой-то узел со старыми тряпками, стал наблюдать в расщелину между тесинами за крыльцом и дверью, — он уже был настолько озабочен и подавлен всем, что случилось в это утро, что не мог ни о чем спокойно думать. Та ненависть к людям, всегда жившая в Каширине, теперь вновь поднялась и охватила его, и он отступа, с чердака сарай, мысленно кричал и тем, от кого прятался, и той, которую ждал, и даже той, что бессильно лежала сейчас дома в постели, — кричал яростно, как тогда, после пожара:

«Гады!»

«Гады!»

Он считал, что если кто и был виноват в постигших его теперь неудачах, так это они, они.

Каширин не дождался Агафьи Митрофановны, хотя просидел на чердаке сарая почти до вечера. Злой, голодный, охваченный мрачным предчувствием, спустился он с чердака и той же тропинкой через огород и заросли облески направился в горы к перевалу. В зарослях он еще на минуту остановился, подумав, что, может быть, напрасно уходит, что бабка, наверное, вот-вот придет, потому что уже скоро ночи и пора ей наконец вернуться... лиши на минуту остановился, раздвинув кусты облески, всматриваясь, прислушиваясь, но ничего не видя, кроме все той же запертой калитки и двора, залившего теперь красными лучами заходящего солнца, и ничего не слыша, кроме легкого шуршания полуголых осенних веток; потом, зло сплюнув, зашагал вверх и уже до самого перевала ни разу не оглянулся.

Может быть, как раз потому, что теперь он шагал, а не сидел в духоте, на чердаке, все случившееся снова казалось ему поправимым, только нужно набраться терпения и выждать. Но сейчас он уже не был так уверен, как утром, и тягостные мысли, возникшие на чердаке, продолжали угнетать его. Больше всего он боялся того, что оба всем узнают верующие, и тогда придется уезжать из Пятитубинска — это представлялось самым неприятным и страшным. Он думал не о мучениях Екатерины, а о том, что так хорошо подготовленное и начатое здесь, в Пятитубинске, «дело» теперь рушилось. Ему было ясно и «святые родники», которые с таким трудом и между тем так ловко удалось объявить святыми, — Каширин спустился в лощину и проходил сейчас как раз мимо родников; и купленный им дом в стороне от шумной улицы, неприметный, теплый, с иконостасом в комнате и оборудованным подпольем, монашеской кельей, которой позавидовал бы даже «боязливый человек», будь он жив; и ток желанной славы среди верующих, какой добивался и какой добился Каширин как святой отец, затворник ревнитель истинной веры, — он знал, что эта слава о нем уже просочилась за город, потому что недавно проходили на служение две старухи из какого-то недальновидного села. Жалко было расставаться со всем, что окружало его, что еще вчера казалось надеждшим, однодушным, угнетающим, но теперь вновь самым лучшим, самым желанным, чего он мог достичь и чего достиг в жизни. Так думал Каширин.

Но чем ближе подходил он к дому, тем сильнее охватывало его беспокойство за Екатерины; он вспомнил ее бледное лицо и всю ее, беспомощно прислонившуюся к деревянному косыку, и еще вспомнил другой, здоровой и радостной, какой видел на вокзале в день приезда, — темный платок, скользнувший на плечи, волосы, заплетенные в косу и уложенные на затылке, чуть взлохмаченные этим сползшим с головы платком, — Каширин даже пристоялся и прикрыл ладонью глаза. Через секунду он уже снова шагал по лощине, всматриваясь в серую, убегавшую из-под ног тропу. Но, хотя он думал теперь только о Екатерине и хотя мысли эти не были особенно мрачными и безысходными, тягостное предчувствие все же ни на мгновение не покидало его.

Именно потому, когда он вошел в комнату и увидел, что Екатерина так слаба, что может умереть, он не ужаснулся. В глубине души он уже был готов к этому; он даже почувствовал себя спокойнее и тверже, потому что все теперь было определенно и ясно, и он точно знал, что ему нужно делать: уезжать из Пятитубинска. Об этом он подумал

сразу же, как только подошел к постели и посмотрел на худое и бледное, бледнее, чем было утром, лицо Екатерины. Но, присев на табуретку, стоявшую рядом с кроватью, и взяв в свою ладонь чуть теплую, обессиленную руку Екатерины, он ничего не сказал ей о своем решении. Он произнес совсем иные слова:

— Терпение... Господа завещали нам терпение...
— Господа глух к моим мольбам, и он спрavedлив. Я умру.
— Ты поправишься.
— Нет.
— Поправишься.
— Дай мне в руки свечу и зажги ее.
— Свечи в подполье.
— Сходи.

Он стоит неподвижно, прижимаясь спиной к холодной и каменистой стенке скалы, и пока лишь равнодушно разглядывает собравшихся внизу, у освещенных зорот — с высоты Каширин хорошо видит и ворота, и весь залитый огнями двор рудничного комбината — рабочих оконной смены. Пока лишь чувство досады охватывает «святого отца», и он думает только об одном: как будет спускаться по узкой и опасной каменистой тропе, потому что спускаться по крутизне всегда тяжелее, чем подниматься, — пока лишь эта мысль беспокоит его. Он еще не знает, что пространство здесь, на крутом выступе, не две или три минуты, как замышляла, а не сколько часов подряд, не чувствует ни ночной прохлады, ни ночного холодного ветра, обдувающего его худые плечи, ни усталости. Никто не знает, какое событие в жизни станет для него главным, а какое неглавным. Каширин тоже не знал, что именно этот скальный выступ запомнится ему больше всего на свете, что даже те афикиевые ночи, когда он выводил, прогуливаться «благословленных» им же самим на голодную смерть Глафиру Беляеву, Клавдию Стрыженову, Клавдию Приходко и Романа Селиверстова, те ночи, которые он в любую минуту мог представить себе с различными подробностями: и широки подошли осторожно шагавших в темноте людей, и густой запах отцевавшего подсолнуха с огорода, и шепот молитв, и грустные, до сих пор щемящие душу вдохи Глафиры, потому что ей особенно не хотелось умирать, и Каширин чувствовал это, — что даже те ночи будут вспоминаться реже и не так отчетливо, как эти часы одиночества, проведенные на влажном от вечерней росы скальном выступе. Он не подозревал тогда, что уже через месяц, сидя возле умирающей Екатерины, снова мысленно вернется к этой ночной прогулке и потом почти каждый день будет вспоминать о ней, и даже в палате психиатрической больницы, когда назовет себя Иисусом, будет говорить, что сошел на землю как раз с той скалы, что нависает над пятитубинским рудничным комбинатом...

Рабочие все подходили и подходили к воротам; они словно выныривали из тьмы на освещенную площадь и двигались по ней то непрерывно, то прерывающейся серой лентой. Серые следовки, серые лица, серые рабочие фуражки и вспыхивающие огоньки сигарет под козырьками, как в немом кино: есть движение, но не слышен голос, только легкое, еле уловимое шуршание плечи в аппарате. Но член пристальное взглядался Каширин, тем отчленив все, что происходило на площади: в ожидании, пока откроются ворота, люди стояли небольшими группами, беседовали, в какой-то группе

громко смеялись. Сначала «святой отец» только уловил обрывки этого смеха и отыскал взглядом хватавшихся за животы от хохота людей, а через секунду будто вдруг сквозь непрятное потрескивание проявился на экран звук, и картина ожила. Все непонятные и бессмыслические неожиданно приобрело смысл, захватило внимание, и от теперь не только ясно слышал доносившиеся снизу голоса, хотя и не мог разобрать ни одного слова, но и, какказалось ему, хорошо видел лица улыбающиеся лица спокойных людей, и затаянная зависть к ним, с детства угнетавшая Каширина, вновь зашевелилась в груди. «Людской поток, серый людской поток!» Избушка лесная, лесной скит на краю обрыва, сгорбленные спины молящихся старцев, и он, малыши Гриша, стояние от них убегающий по воскресеньям к большой дороге, чтобы посмотреть на ярмарочный поток крестьянских телег, груженных зерном, семенем, картофелем, на людей, шагавших по обочинам с котомками за плечами, угрюмых от долгого пути и усталости и серых от пыли. Они идут, идут, скрипят колеса, щелкают кнутовища над kostистыми лошаденками, слышатся понукающие окрики, и у него, скитского мальчика Гриши, спрятавшегося в старом дупле, широко раскрываются глаза. И загадочно, и зовуще, и тревожно — тревожно потому, что старцы узнают и поставят его, послушника, на всю ночь на колени перед иконой Христа; ноют онемевшие колени, глаза застилаются влагой, и все же на худой, выпученный лицо Христа будто накидывается дорога, и скрипят по этому лицу крестильские телеги с деревянными ступицами на деревянных осах...

Жизнь всегда представляла перед Кашириным однообразный, серым потоком. Люди шли, шли по дорогам, тропам, вдоль палисадников; шли мимо дома тетки Марии, злой, ненавистной и грубой тетки, и он, подросток Григорий, бледный, как затворник, из окна смотрел на них, афимовских колхозниц, спешивших на поля. Они проходили утром, едва начинало светать, и возвращались вечером, когда сумеречные тени от плетней застилали улицу. Они, будущие солдатские аводы, с кукурузными лепешками в узелках, с граблями и тяпками за плечами, — они пробуждались в воображении подростка притупленное молитвами чувство свободы человеческого долга. Потом были еще людские потоки, такие же отделенные и непонятные: толчья на вокзалах, площадях, тротуарах; цепочка верующих к молитвенному дому, его дому, и цепочка заключенных на тюремном дворе; и сейчас, даже в подполье, часто слышимые по утрам шаги соседей, уходящих на работу; и, наконец, эта хорошо видимая со скальной высоты то непрерывная, то прерывающаяся серая лента рабочих ночных смен, идущих к освещенным воротам рудничного комбината.

Каширин все еще, как ему казалось, прислушивался к голосам тех, шагавших внизу, но он прислушивался больше к себе и старался разобраться в нахлынувших воспоминаниях и мыслях. В детстве у него была своя мечта. Он не хотел в монахи и святые отцы. Спокойная, размеренная крестьянская жизнь — не та жаждущая, какую прожил отец, с прикупом пшеницы, захватом выпасов и покосов, выбрущей леса по ночам, лишь бы поплыла машина куацкая, а та, что была у мужика в деревне, всегда на виду: свой дом, свои кони, своя самая большая, на лучшей земле и лучшая, самая густая среди прочих полоска зревшего хлеба, — эта крестьянская жизнь казалась подростку Каширину идеалом и наивысшим счастьем. Худой, съеженный в комочек и дро-

жащий от сырости и страха, он представляя себя большим хозяином: он идет вдоль полосы, срывает тугие, насклонившиеся к земле колосья пшеницы и растирает их в ладонях, хотя в жизни он видел всего один раз, как это сделал старец Филипп, когда они шли из скита в деревню и проходили мимо колхозного хлеба. Было сухое летнее утро, солнце еще не вставало из-за дальних крыш, но с минуты на минуту должно было появиться, потому что яркое оранжевое полукольцо, охватывавшее горизонт, уже сплюнуло глаза и от шагавшего впереди инока Филиппа, от самого Григория, от кочек и придорожных высохших и запыленных стебельков травы уже ложились на землю, расплывчатые темы. Хотя Григорий всего один раз видел, как тогда старец Филипп осторожно сдунул ость с обмолоченного в ладонях зерна, как затем бережно завернул зерно в тряпичку, спрятал узелок за пазуху и перекрестился угрюмо и молчаливо; Григорий сотни раз потом проходил то же и так же, как тот сутулый и белый как луну скитский старец: сотни раз проходил в воображении по той проселочной дороге, вдыхая запах зревшего хлеба, видел утром, дальнние крыши изб, еще сизые, не залитые солнечным светом, длинные темы по земле от придорожных сухих стебельков травы; но только проселок представлялся ему не дорогой, а лишился межкой, колхозное поле — своей полосы, а старец Филипп — его словно совсем не было, этого сгорбленного старца, потому что уже тогда, в детстве, Каширин не хотел ни с кем делить свою пустынь только в мыслях рождавшееся счастье. Он представляя себе отцовский дом, хотя ни разу не был в нем и знал только из рассказов старца Филиппа, сколько в том доме комнат, как стояла печь, где была божница и какие иконы на божнице; представляя двор, амбары, гумно; но все эти картины рисовалась в надломленном воображении подростка опять без старца Филиппа. Большой, ширококостный, как все алтайские мужики, в бекешах и сапогах, еще не прохожих от дегтя, — таким видел себя Каширин, расскаживающим по отчиму двору, где все свое, кровное: и эта соломинка у ног, и та труба, дымящая спозаранку над железной крышей, потому что женская половина затеяла печь хлебы; кисловатый запах кашви и запах только что вынутых из печи и еще дышащих жаром каначек, негромкое побрякивание сковородок и ухватов и щурору рук, вытираемых о ситеевые фартуки, — и буднично, и празднично, и как-то по особенному теплу на душе от этой размеренной жизни. Будто наяву, он накидывает полушибок и выходит в морозные сени, потом во двор и шагает в сараю, где стоит скотина: надо почистить стойла и здадут лошадям сено; и вот уже звякают кольца недоудзюка, и доверчивые конские морды тянутся к его голове, плечу, он слышит нетерпеливый хрюк над ухом, покрывающий по-хозяйски: «Ну-ну, шалиши!» — и отворачивает к языям ладонью теплые и влажные лошадиные губы... Каширин не только представляя себе такое будущее, но и, как ему казалось, испытывал и наслаждался тем воображенiem крестьянским чувством доброды, уверенности, уюта. Так было и тогда, в подполье у «боязливого человека», и потом, в лагерные ночи, когда он с тоской вспоминал об этой юношеской мечте, и особенно теперь, когда стоял на скальном выступе и смотрел на освещенный электрическими фонарями двор рудничного комбината.

Жизнь других людей никогда не интересовала Каширина так, как своя; а она была трудной, та жизнь других, «святой отац» отлично знал — была

трудной. Только он не знал в подробности; он обмывал ноги тетке Марии и заучивал паталы, когда те люди — серый поток! — одетые в солдатские шинели, уезжали в теплушках на фронт и тревожная песня о священной войне сопровождала их эшелоны. Он не видел ни тех эшелонов, ни колонн, уходивших по запороженным мостовым. Дрожащие руки почтальонов не вручали ему похоронных; на божница лежал поминальный список, в который тетка вносила имена погибших сельчан, и он, подросток Григорий, читал этот список во время служений. Он читал, а тетка складывала в корзинку принесенные верующими в «дар Христу» муку, картофель, яйца. Всплыл в памяти сейчас и этот пожелавший поминальный листок на божнице — то было горе многих; в каждом третьем доме Афимовых — похоронная, в каждом третьем доме любого села. Но все же у жизни свое начало. Каширин видел потом, как в той же Афимовке перекрывались железноломленные крыши изб и обновлялись палисадники и дворы, как веселели люди и вырастали новые дома, — видел это поисходу, когда случалось ему выезжать из деревни. Он смотрел со скального выступа на освещенную площадь и многоэтажные дома с балконами, подступавшие к площади, — они тоже построены недавно, Каширин знал это, — на рабочих ночной смены, все подходивших и поддающихся к воротам, и еще не испытанное ощущение большой жизни охватывало его...

В ту ночь Каширин вернулся домой поздно, почти под утро, мрачный, озлобленный, и уже больше ни разу не ходил в горы к скальному выступу. Он старался забыть обо всем, что чувствовал и что пережил тогда, глядя с высоты на освещенный двор рудничного комбината, и ему казалось, что он забыл об этом, как забыл и о недавнем ночных пожаре и тех мыслях, которые одолевали после пожара, потому что помнилось свое, главное — деньги, деньги, которые кончались и которые нужно было непременно где-то доставать, — помнилось именно это главное.

Но теперь, когда неожиданная Беда вынудила «святого отца» бежать из Пятигорска, перед новыми скитаниями, перед той тяжелой неизвестностью, которая ожидала Каширина, в нем опять теперь с еще большей силой пробудилась эмпатия к никогда не испытавшей большой жизни, и тогда он вспомнил в подробностях все, о чем думал и что пережил в ту ночь на скальном выступе. Все арама, пока сидел на табуретке у кровати и держал чуть теплую, обессиленную руку Екатерине, и пока спускался в подполье и шагал в темноте пальцами по неструганным доскам, отыскивая на полках свечи, мысленно видел перед собой освещенную площадь и рабочих ночной смены на этой площади, все поддавшихся и подходивших к воротам комбината...

— Принес?

Каширин не ответил.

Свечей на полках не было, но «святой отец» из ответил Екатерине и не подошел к ней не потому, что не принес свечу. Когда он перебирал пыльные вещи, наткнулся на брошенные и забытые монашеские четки, которые всегда брал с собой в дорогу, — четки эти теперь висели у него на груди под пиджаком, и сам он тоже был одет подорожному, в руке держал заплечный мешок, наполненный всем необходимым на первый случай (он прихватил и евангелие и еще несколько небольших икон, какие были в подполье). Он открыл дверь и вошел сейчас

в комнату лишь для того, чтобы забрать серебряную ризу с иконами Божьей матери, ту самую ризу, которую он закапывал когда-то на дно родника и которая — он отлично знал это — могла еще не раз послужить ему.

Стоя у порога и прощальным взглядом окидывая комнату, он не испытывал злости, это чувство уже притупилось в нем. Он даже не думал о себе так, как прежде, и ко всему, что ожидало его теперь, относился, казалось, спокойно и равнодушно, и только одно тяготило и угнетало его — неподвижно лежавшая на кровати Екатерина. Еще когда был в подполье и искал на полках свечи, Каширин подумал, что самое лучшее, что можно сделать для Екатерины, это послать к ней Алферову, добрую, как он считал, и заботливую старуху, у которой он остановился еще в первый свой приезд в Пятигорск, — старуха либо выходит, либо, если уж так суждено, тихо, без шума похоронит Екатерину. Он решил, что по пути на вокзал зайдет к Алферовой. Это было единственное, что он мог сделать, и потому сейчас, стоя у порога, обдумывал, что и как будет говорить старухе Алферовой. Но голос Екатерины, совсем слабый, снова прозвучавший из сумрачной глубины комнаты: «Это ты, Гриша! Ты почему молчишь?» — заставил встрепенуться Каширина. Он так и не подошел к иконостасу и не взял серебряную ризу. Не подошел и к Екатерине, потому что чувствовал, что если сейчас подойдет и заговорит с ней, то уже не сможет уйти. Он машинально перекрестился и тихо прошептал: «Господи», — впервые крестясь и произнося это слово без той внутренней усмешки, с какой относился к звуку Богу. Он и сейчас обратился не к Богу, а только вложил в это слово все те мысли и чувства, какие испытал за весь сегодняшний день.

Когда Каширин вышел на улицу и остановившись у калитки, оглянулся на дом, он почувствовал, что поступил жестоко, бросив умирающую Екатерину одну. Но это чувство было недолгим, всего лишь пока смотрел на выступавшие из тьмы знакомые контуры крыльца и острогорской крыши (не раз, возвращаясь с гор после прогулок, «святой отец» останавливался у калитки и, прежде чем открыть ее, с любовью смотрел на этот серый, выступавший из тьмы силузт своего дома). Когда же теперь, взвалив мешок на плечи, он вышел на тускло освещенный электрическими фонарями тротуар и направился к вокзалу, уже думал о том, как лучше и незаметнее выбраться на главную улицу. Даже то, что нужно было непременно зайти к старухе Алферовой, даже это, что только что он считал главным и ради чего, как уверял себя, решился так поспешно уйти, не поговорив и не простившись с Екатериной, — это теперь вызывало лишь досаду и неприязнь.

Он шагал не спеша, прижимаясь к домам и оградам, держась теневой стороны, глядываясь в лица прохожих; каждому встречному он начинал рассматриваться еще издали и следил за ним до тех пор, пока не убеждался, что шагавший наавстрену был человеком незнакомым и не нужно отворачиваться и натягивать фуражку на глаза. На Ивана Ефимовича Шевелева, вышедшего из автобуса, «святой отец» тоже смотрел издали и тоже гляделся в его лицо, но только когда приближался к нему, неожиданно заметил, что лицо знакомое. Оттуда немножко и оглянувшись — они оглянулись одновременно, и Шевелев и Каширин, — и снова увидев теперь хорошо освещенное (потому что Шевелев стоял как раз у столба под фонарем) полное лицо Ива-

на Евдокимовича, сразу же вспомнил и суд в Афимовке, общественного обвинителя, сидевшего на сцене рядом с прокурором и требовавшего самого строгого наказания,— это был он; и встречу с этим общественным обвинителем уже здесь, на пятым трупинском вокзале,— это было в тот день, когда Каширин окликнул Екатерину. И еще одна маленькая деталь всплыла в памяти: недавно в дом приходил агитатор, «святой отец», хотя и не видел его, но зато, приткнувшись в подполье, слышал весь разговор — голос агитатора тогда показался подозрительно знакомым. Это приходил тоже он, это был его голос. Но не только то, что Каширин узнал Ивана Евдокимовича, а главное, то, что Иван Евдокимович тоже узнал «святого отца» — Каширин понял это, заметив, какими долгими и пристальными взглядом посмотрел на него Шевелев, — глазное, это насторожило Каширина. Он отпрянул в тень, прижался плечом к стене чьего-то дома и уже из укрытия начал наблюдать, куда пойдет Шевелев. Он хорошо видел, как Иван Евдокимович открыл калитку и скрылся в глубине двора; «святому отцу» даже показалось, что он услышал, как проскрипела калитка. Он вспомнил, что не запер двери, когда уходил из дома; не запер потому, что замок остался в сенях и не хотелось возвращаться, и еще потому, что рассчитывал немедленно прислать сюда Алферову. Но сейчас, на секунду представив Шевелева, входящего в комнату к Екатерине, чуть не застонал от боли и ненависти; все, о чем думал и что пережил за этот день и вечер, все сгустилось в нем сейчас в один твердый комок злобы, и он, щуря в темноте глаза и шепча свое обычное: «Гады! Гады!» — медленно продирался вдоль стены, боясь выйти на освещенный тротуар.

Когда он подходил к вокзалу, возле его дома, взвизгнув тормозами, остановилась вызванная Шевелевым машина «Скорой помощи», и два санитара в белых халатах и с носилками в руках торопливо пробежали через двор и поднялись на крыльца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

До той минуты, пока не прошли кладбищенские ворота, мысли Иван Евдокимович спокойно, и то, о чем вспоминал, представлялось отчетливым и понятным, и то, что видел — большинскую повозку, гроб, уже заключенный гвоздями, плачущих старух в черных юбках и черных платках, — не вызывало в нем ни трезоги, ни мрачных дум. Но как только маленькая похоронная процессия втунулась в кладбищенские ворота и черные старушечьи спины теперь заколыхались на фоне серых крестов, выпавших оградок, надгробных каменных плит и засохших венков на этих плитах, — то обычное волнение, какое возникает при виде могил, охватило Ивана Евдокимовича, и он уже шел за гробом не просто как посторонний, желающий посмотреть, сколько и кто из верующих придет на похороны пророччи (именно это он хотел узнать, когда отправлялся на кладбище), — он провожал человека в последний путь. Это ощущение утраты было тем сильнее, чем ближе подходили к свежей могильной яме (во всяком случае, так казалось Ива-

ну Евдокимовичу), подходили к свежей, хотя она была выкопана давно, несколько дней назад, и земля вокруг уже успела подсохнуть и зацвести; на городских кладбищах всегда можно увидеть около десятка готовых могильных ям, выкопанных про запас, и эти ямы продаются так же, как продаются гробы, бумаги и железные оградки...

Иван Евдокимович шел позади всех, стараясь не смотреть по сторонам, держа фуражку в запястьях за спину рук. Он никак не мог понять того, что же взволновало его теперь: или вид кладбища, покосившиеся кресты и осевшие могилы, или смерть Екатерины, эта неожиданная смерть, которую он считал и продолжал считать глупой и совершенно беспомощной.

Он знал, как и отчего она умерла, и все, что произошло с ней, что он видел сам и чего не видел, но мог сейчас вполне вообразить себе, — все это невольно возникло в памяти, вытягивалось в пока еще не совсемстройную схему событий, и эти события как раз сейчас и волновали Ивана Евдокимовича.

Но в то время, как он старался представить все в последовательности, вспомнил и первую встречу с пророчицей в горах и неожиданное знакомство с ней в доме на Политехнической, куда ходил после разговора с секретарем рудничного парткома, мысленно то и дело возвращался к субботнему вечеру, к тем минутам, когда, поднявшись на крыльцо молитвенного дома, так называл он каширинский дом, увидел бесчувственно лежавшую на пороге Екатерину. Она была полураздетой, в одной рубашке, и вся еще дышала теплом постели, когда Шевелев взял ее на руки. Он положил ее на кровать и от растерянности пригласил сперва соседей, потом вызвал машину «Скорой помощи», а потом позвонил в отделение милиции, чтобы прислали кого-нибудь осмотреть и опечатать оставшийся теперь без присмотра дом.

Сирена «Скорой помощи», врач с белой аптечкой, санитары, носилки, ахавшие, взаглядывавшие соседей и голос лейтенанта милиции: «Что здесь произошло? Граждане, кто знает, что здесь случилось?» — этот голос, совсем некстати прогремевший в комнате, и чей-то звучный шепот: «А где батюшка? Как же батюшка теперь?» — все это словно вновь видел и слышал Иван Евдокимович. Но с еще большими подробностями он вспомнил о том, как вместе с лейтенантом милиции и двумя оставшимися соседями — молчаливым Петром Денисовичем, который ничему не удивлялся и на все смотрел равнодушно, и Таньей Антоновой, не старой, но располневшей до машней портнихой, которая в противоположность Петру Денисовичу всему удивлялась и беспрерывно произносила: «О, боже! О, боже!» — хотя и не была верующей, — как с этими людьми он прошел в тот вечер первый осмотр молитвенного дома, как обнаружил келью в подполье, груду деревянных крестиков, старое монашеское рубище в углу, несколько икон и церковных книг, брошенных кем-то второпях на пол, а под матрацем каширинской кровати — это удивило даже молчаливого Петра Денисовича — лейтенант милиции обнаружил цветнуюrepidruckию полуголой купальщицы, какие иногда печатаются в иностранных журналах.

«Вот так поп!»

«Вот это поп!»

«Похабник!»

«Похабник!»

Для лейтенанта милиции и для молчаливого Петра Денисовича, который по этому поводу все же

произнес «ну и ну», покачав головой, и особенно для Тансы Антоновны именно это — найденная под матрацем ре-продукция — было важным и обличительным, потому что они только об этом и говорили весь вечер. Но для Ивана Евдокимовича, хотя он тоже удивился и тоже рассматривал «купальщицу», репродукция была лишь ключиком, открывшим дверь к действительно важным и действительно мрачным событиям, творившимся в пятитрубниковом молитвенном доме; еще сильнее, чем тогда, в тот субботний вечер, чувствовал и понимал это Иван Евдокимович сейчас, шагая за гробом пророчицы и видя перед собой больничную позозку, расказывающиеся черные спины старух и кресты по обочинам кладбищенской дороги, кресты, плиты, засохшие венки. Но воспоминания были так сильны и так захватывали воображение Ивана Евдокимовича, что он почти машинально шагал за черными спинами старух. Он снова подумал о репродукции и, представив себе купальщицу, полунаскую, прикрытою вуалью и концом какой-то малиновой накидки, представил эту картину и вспомнил Екатерину, лежавшую в руашке у порога, вспомнил ее такой теплой, еще дышащей постелью, какой держал на руках, неожиданно уловил сходство между купальщицей и Екатериной; они были похожи друг на друга, но не лицом, не прической (Иван Евдокимович не любил распущеные волосы, как у купальщицы, а любил прическу, такую прическу, как у Екатерины — крестьянскую, русскую, с косой, уложенную на затылке) — они были чे�м-то похожи друг на друга, может быть, стройностью фигуры. Иван Евдокимович ухмыльнулся, вспомнил удивленный взгляд домашней портнихи: «Вот так поп!» — но он теперь вполне понимал монахиню Каширину, положившего под свой матрац ту цветную репродукцию купальщицы. «Хм, похабники!» И уже опять пока еще нестройная схема событий, в которых монах Каширин представил отнюдь не похабником, а преступником, захватила внимание Ивана Евдокимовича. Встреча с Каширинным на зонзеле, монашеская келья в подвале и вторая встреча с Каширинным в этот недавний субботний вечер у телеграфного столба под фонарем (Иван Евдокимович еще остановился и посмотрел, афимовский ли это монах или не он); прощесники в горах со «святой водой» и смерть девочки Тельнягиной, окрещенной «святым отцом» — Иван Евдокимович тогда же, в ту субботу, прочитал заявление, поданное отцом девочки в народный суд на тещу и некого неизвестного монаха; и, наконец, смерть Екатерины — это был один тугой узел, нити от которого тянулись к Афиновке, к подполью давно умершего «болящего человека», к той деревянной бане на концах города, в которой монахи и «святой отец» Григорий держали «благословленных» и обреченных на голодную смерть Глафиру Беляеву, Клавдия Стражнову, Клавдию Приходько и Романа Селиверстова; колхозный клуб, заполненный людьми, голос судьи, речь прокурора и его, Ивана Евдокимовича, обвинительная речь, из которой были вычеркнуты,



как неужинные, страницы о людском разнодушии, — все это связывалось сейчас в сознании Ивана Евдокимовича в один непрерывный клубок.

— Где заступ?

— Вот он.

— Надо подчистить дно, а то гроб не устано-
вится. — Взял заступ, поплевав на ладони и примирившись, тяжел ли, легок ли, кладбищенский рабочий спрыгнул в могильную яму и уже оттуда, выбросив несколько лопат подсохшей земли, крикнул стоявшему наверху и дымившему сигаретой напарнику: — Слыши, дубина, веревку захватил! — крикнул так громко, что даже Иван Евдокимович, находившийся позади старух и не видевший ничего, что делалось здесь, у могильной ямы, отчетливо услышал эти слова: «Веревку захватил!»

— Что?

— Веревку... Опять забыл? На чем гроб спускать будем?

— Сейчас сбегаю.

— Давай, да пожисе!

Иван Евдокимович потер ладонью виски; перед глазами были все те же горячеленные старушечьи спины, только они не раскачивались теперь, а стояли неподвижно, как неживые. Никто не молился, не было слышно даже шепота; лишь комья земли и глины, выбрасываемые из могильной ямы, с шумом ссыпались на траву и глухо ударялись о дещетые стекни гроба.

Было светло, солнечно, но Иван Евдокимович только теперь заметил, что рассеялись собирающиеся с утра дождевые тучи; заметил это неожиданно, в какую-то минуту увидев, как белесым налетом покрылись освещенные осенним солнцем черные старушечьи платки; увидел тени, падавшие от старух, от крестов, от гроба и от вылезшего из могильной ямы и стоявшего теперь возле кучи насыпанной земли кладбищенского рабочего; он курил и, посмотрев на тропинку, по которой ушел напарник к сторожке за веревкой, негромко ругал этого напарника; да Иван Евдокимовича долетали ворчливые слова могильщика:

— Ну, дубина, ну, навязал мне черт...



«Нет-нет, вычеркнуть».

«Это же о людском равнодушии!»

«Нельзя так обобщать, остерегайтесь такого обобщения; говорите лучше о частном, конкретном».

«Но это...»

«Вы кого собираетесь обвинять: монаха или общественность?»

Так были выкинуты из обвинительной речи страсти о людском равнодушии; ничего не удалось отстоять. Иван Евдокимович негодовал тогда, что согласился с инструктором Афимовского райкома; он и сейчас, вспомнив, чувствовал, что прав был он, а не тот инструктор, чувствовал это сильнее, чем тогда, и если бы все могло повториться, если бы снова пришлось составлять обвинительную речь, еще острее и резче написал бы Иван Евдокимович и уже никому не позволил бы ничего вычеркивать.

Так он думал, искренне желая, чтобы все для него повторилось (ему теперь очень хотелось исправить свою ошибку), не догадываясь, не подозревая, что все идет именно к тому, чтобы повториться: «святой отец» снова представит перед судом, только на этот раз процесс будет проходить из Афимовки, не в тесном колхозном клубе, а здесь, в Пятигорске, и народу соберется больше, чем тогда; и Ивану Евдокимовичу, как общественному обвинителю, придется выступить на процессе и тщательно подготовиться к этому выступлению,— все это будет, и он составит обвинительную речь, злую, негодующую, разоблачительную. Но пока в нем лишь рождалась та смелость, именно смелость говорить правду, которая должна была родиться и без которой невозможно сделать ни одно благородного дела на земле. Никто не знает, когда, в какую минуту придет к нему эта смелость: «Я

еще не испытал этой минуты». Ничего внешнего не изменилось и для Ивана Евдокимовича, и он, вернувшись с кладбища, примется за свои обычные занятия, но уже не сможет делать то же и так же, как прежде. Он заново перепишет «Записки воинствующего атеиста» не для того, чтобы подладиться под мнение того или кандидата или доктора наук. Он выскажет свое, пусть резко: «Не мы оскорбляем чувства верующих, а религиозные верования оскорбляют чувства человека»... Иван Евдокимович не знал точно, эту ли фразу напишет или еще что-либо, более существенное и важное, но чувствовал, что обязательно напишет.

Гроб уже поднесли к яме, подкладывали под него веревки, и Шевелев подумал, что если бы даже не было сотен других загубленных религиозными изувечениями жизней, а была только эта одна, и тогда все равно он написал бы свои «Записки». Не для того рождается человек, чтобы бессмысленно умереть.

«Люди!»

Мне жалко вас, люди, стоящие на коленях у распятый!»

Иван Евдокимович смотрел, как спускали на деревье гроб, слышал, как все тот же кладбищенский рабочий, который подчищал дно ямы, властно и громко покрикивал: «Осторожнее, осторожнее, полегче!» — слышала эти слова, обычные, простые и прощальные в эту минуту, и так же, как когда-то Екатерина мысленно расставляла кресты на маленьком кладбище за сарай, так же, как воображение рисовало ей сотни таких малых кладбищ по деревням и селам страны, — так же видел сейчас в воображении Иван Евдокимович сотни темных могильных ям, сотни гробов, опускаемых в ямы, сотни бессмысленных смертей...

В какое-то мгновение — или оттого, что начали засыпать могилу и комки земли с шумом удаирались о деревянную крышку гроба, или он услышал, как удивленно и испуганно вздохнули и зашевелились, крестясь, старухи в черных платках, или просто потому, что он в это время взглянул обвел всех пришедших хоронить пророчицу, — он увидел напротив себя, у могилы, монаха Каширина.

Сначала Иван Евдокимович даже не поверил себе, потому что никак не ожидал встретить его здесь. Каширин стоял неподвижно, наклонив голову; он был бледен, небрит и пострижен под машинку, будто знал, куда ему предстоит идти с кладбища; за плечами у него висел на веревочных лямках дорожный мешок.

Иван Евдокимович снова пристально посмотрел на Каширина. Теперь не было воспоминаний. Теперь было только лицо «монах», и Шевелев не сводил с него взгляда.



Яков Козловский

Сыну

Края опушки оторочены
Венком куриной слепоты,
Где навзничь у лесной обочины
В погожий день ложишься ты.

Тебя заставила прищуриться
Даль, что не ведает границ.
И мигом радуга-причудница
Затеплилась между ресниц.

И рад прислушиваться к речи ты
Листвы, заговорившей вдруг,

И наблюдать, как чертят кречеты
Над головой за кругом круг.

Благословляю изумление,
Которое
да будет впредь
В тебе рождаться из умения
Прислушиваться и смотреть.

И, думая о разной разности,
Ты, словно отражая свет,
Приходишь к ощущению ясности
Если от суеты сует.

С утра до вечера мело,
И в мире, позднем и пустынном,
Укрытом полотном простынным.
Все сумеречно и бело.

Луна похожа на бельмо,
И тень за тучей волочится,

В кусты шныряя, как волчица.
Все сумеречно и бело.

И что мне в голову взбрело
Бродить всю ночь, не зная толком.
Того гляди завою волком —
Так сумеречно и бело.

Конь

В рыбачьи сети жерех лез,
Играла на небе зарница,
И ржал за речкой жеребец,
И откликалась кобылица.

С луной отлива одного
Конь пасся в сумерках мышиных,
Дичать начавший оттого,
Что люди ездили в машинах.

Там, где кончался окном,
Темневший лес гудел органом,

Когда вдруг ветер над конем
Взлетал невидимым арканом.

Вдыхая мяту, и чебрец,
И горький мед зацветшей гречи,
Ржал за рекою жеребец,
Поставив уши, словно свечи.

Прилин листок к его губе,
Поджевы были, как огнива,
И темно-огненная грива
Таня облако в себе.

Советники

Когда по уму подбираются
Советники на посты,
Премьеры на них полагаются,
Маршалы и послы.

Приходят ко мне собеседники
И, не сочтя за труд,
Как преданные советники,
Советы мне подают.

Ценою вас, мои советники,
Искренне в вас влюблена,

Истинные наследники
Рыцарей всех времен.

Не сплетники, не привередники
Мне подают совет.
Есть и у вас советники,
А у кого их нет?

В радости и в печали
Их сами по своему
Образу мы избрали,
Мужеству и уму.



Роман

Юрий ПИЛЯР

Люди остаются людьми

Рисунки И. Гринштейна.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Проходит неделя. Мои маутхаузенские друзья молчат. Я упаковываю рюкзак: вечером буду перебираться на вокзал. Я не хочу больше доставлять неприятностей сестре, буду ночевать на вокзалах. Я продержусь так еще три, четыре дня и, если за это время друзья не откликнутся, уеду в Одессу или в Крым, где нет сильных холодов. В последние дни я начинаю что-то крепко мерзнуть.

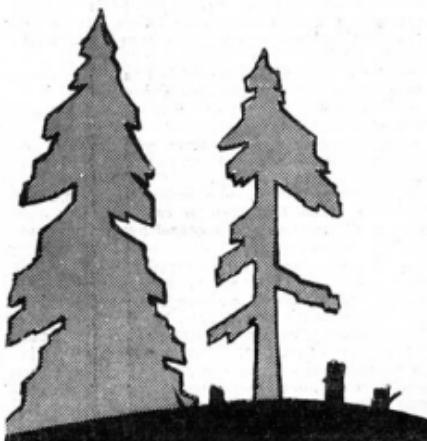
В Москве у меня остается несколько дел. Мне надо навестить семью Алексея Ивановича Муругова, зайти к Ампилогину и, если удастся, послушать оперу «Князь Игорь» в Большом театре. Общее быть в Москве и не побывать в Большом театре — это, конечно, непростительно.

После обеда, часа в три, узнав у постового милиционера, как проехать в Лихов переулок, я отправляюсь к Муруговым. Выйдя из метро на площади Революции, я еду дальше на троллейбусе, и, чем дальше еду, тем сильнее охватывают меня разные сомнения: а может быть, семья Муруговых уже не живет в Лиховом переулке; может, и сам Муругов — это не Муругов, может, это его вторая, лагерная фамилия: большие люди, попав в плен, иногда по нескольку раз меняли фамилию; а может быть, и никакого Лихова переулка нет: мне только почудилось, что Лихов?

— Скоро будет Лихов переулок? — спрашивал я ксендзукторшу.

— Через две остановки. Следующая — Петровские ворота.

Лихов... Странные названия в Москве, думаю я. Все странно, все не так, как ожидал!



Окончание. Начало см. в №№ 3 и 4.

Стекла троллейбуса обросли льдом. Холод. Стынет спина, стынут ноги. Сапоги Бахмайера ни черта не греют.

— Следующая — Каретный ряд.

Или Каретный... Какая старина! Как странно... Я еду к семье Муругова, а самого Алексея Ивановича уже давно нет, его расстреляли и сожгли, а я теперь еду в его семью, я должен исполнить его просьбу.

— Следующая — Лихов. Кто спрашивал Лихов?

Я выхожу из троллейбуса, и новые сомнения охватывают меня: это такой короткий переулок, что в нем не может быть дома № 8. Я ускоряю шаг, смотрю на таблички: не может быть здесь такого дома! И, однако, этот дом есть — очень высокий, темный каменный дом.

Я вхожу в открытый подъезд и спрашиваю у женщины в белом фартуке, есть ли здесь такая-то квартира, — я называю ее номер. Про себя я очень сомневаюсь, чтобы здесь была эта квартира — под тем самым номером, который назвал мне Алексей Иванович Муругов в зондерблоке в первых числах мая 1943 года... Есть, оказывается!

Я поднимаемся по каменной лестнице и думаю: что же это происходит? Ведь вот я иду к жене или к матери Алексея Ивановича Муругова, героя, патриота, я должен сообщить о его трагической гибели, и я иду почему-то как частное лицо. Почему же я частное лицо? И частное и, чувствуя, какое-то нежелательное здесь, в Москве, лицо... Ведь там, в плену и в Маутхаузене, я выполняю сколько мог воюю моего народа, моего государства — боролясь, — я не был тогда частным, сторонним лицом. И сейчас это же не частное дело — извещать родных о смерти на войне их близкого, да еще героя! Это же государственное дело, и я выполняю его, и я постараюсь сделать так, чтобы родные почувствовали не только боль, но и гордость за Алексея Ивановича, за Родину, воспитавшую его. Как же так? Ведь я советский человек, свой, свой, за что же ко мне плохо относиться? Странно!

На четвертой или пятой лестничной площадке я останавливаюсь передохнуть. И снова мысли: за что? А потом мысли: зачем, кому это надо?

Еще четыре или пять лестничных маршей, и я на нужном мне этаже. Мне хочется быть спокойным, и я становлюсь спокойно. Я нажимаю на кнопку у двери. Через минуту щелкает запор, и дверь чуть приоткрывается — она изнутри перегорожена железной цепочкой.

— Вы к кому?

— Семья Муругова здесь живет?

Низкий женский голос, спросивший: «Вы к кому?», — не отвечает.

— Алексей Иванович Муругов здесь жил?

— Подождите.

У дверной цепочки в полуутемне (на лестничной площадке и в квартире полуутемне: вероятно, экономят электричество) появляется еще кто-то.

— Вы к родственникам Алексея Ивановича? — спрашивает меня другой женский голос, повыше и понижнее: похоже, девушка.

— Да.

Дверь перед моим носом захлопывается, потом я слышу, как гремит цепочка, и дверь открывается совсем.

— Проходите, пожалуйста.

Невысокая женщина (или девушка) ведет меня через прихожую к полуоткрытой двери, и я вижу

рядом еще в одной двери серую щелку и чувствую, что оттуда на меня смотрят.

— Раздевайтесь.

Я раздеваюсь и прохожу в комнату.

2

Ча, эта девушка или женщина, небольшого роста, с красивым ярким халатом, с тонкой талией, с красивым тонким смуглым лицом. У нее темно-карие глаза, немного настороженные и строгие, но очень красивые. И волосы, черные, волнистые, очень красивые. И в комнате так все красиво — чисто и строго.

— Значит, Алексей Иванович здесь жил, — говорю я, опять начиная волноваться. Я вижу вторую комнату, смежную с этой, вижу через полуоткрытую дверь широкую тахту и ковер на стене. Там он, верно, спал, тогда еще, в той, нормальной, доводеной жизни.

— Алексей Иванович жил здесь недолго, с год...

— Вы его жена?

— Нет. Садитесь, пожалуйста.

— Дочь?

— Нет, что вы! У него маленькая дочь, ей всего семь лет... Я племянница Алексея Ивановича. Вы присаживаетесь.

— Это хорошо, — говорю я, — что вы племянница. Я боялся, что мне придется разговаривать с женой или с матерью Алексея Ивановича.

— Почему вы не садитесь? — спрашивает девушка и тоже начинает волноваться. Она волнуется так: ее смуглое тонкое лицо дрожит неподражимым, точно застыает. Иногда люди волнуются именно так: в них будто что-то застыает. — Почему? — спрашивает она.

А у меня сейчас такое чувство, словно я должен ни за что ни про что ударить человека, должен и знаю, что ударю.

— Я знаю, — говорит девушка, — мы знаем, что Алексей Иванович попал в плен, ему оторвало на фронте ногу — правда? Мы недавно узнали, что он не убит, вначале была похоронная, а в прошлом году пришел человек, который был вместе с Алексеем Ивановичем в плену. Вы тоже были вместе с ним в плену?

— Где же его дочь и жена? — Я тяну, мне не хочется удирать: это неприятно и больно.

— Они живут на улице Горького, на его старой квартире... Он умер?

— Да, — отвечаю я. — Он расстрелян двадцать первого июня сорок третьего года в концлагере Маутхаузен.

Я ударяю. Хорошо, что это племянница, а не мать или жена. Я ударяю и сам чувствую нелепость и жестокость своего удара: пусть бы думали, что просто умер.

— Он был мужественный человек, настоящий коммунист. Его отправили в Маутхаузен за то, что он организовал в лагере демонстрацию пленных первого мая сорок третьего года. Они построились и пели советский «Марш танкистов». Мы готовы были голыми руками рвать проволоку.

Я говорю это и вижу, что девушка сидит, закрыла лицо руками; локти упираются в стол, а черные зори ссыпаются на руки. На голове посередине тонкий пробор — кожа белая-белая, нежная, — и от него по обе стороны ссыпаются волосы.

— Простите меня,— говорю я.— Алексей Иванович просил, когда я готовился к побегу, зайти сюда, в Лихов переулок, он сам сказал мне ваш адрес. Мне тогда не удалось бежать, меня поймали. Может быть, сейчас и не стоило рассказывать обо всем, если бы он не просил...

Девушка отрывает ладони от лица. Я думал, что она плачет, но она не плачет. И мне неприятно, что она не плачет. Она просто бледная, с сухими, жестковатыми глазами.

— Все-таки считал своим долгом. А то люди умирали, а тут вот... живут! — добавляю я, пожалуй, недобро.

Мне не по себе оттого, что она не плачет. Конечно, племянница не мать, не жена...

— Я тоже была на фронте, но не в этом дело,— говорит девушка.— Несправедливо. Всё так несправедливо. Ну и что же, что был в плену? Ну, хорошо, считали убитым, потом выяснилось: взяли в плен, тяжелораненым взяли, а теперь вот — расстреляли. Чем же он провинился перед Родиной?

— Кто провинился? Алексей Иванович? — Я от неизданности сажусь.

— Да. Получается так.— Она встает, подходит, прислушивается, к двери и опять опускается на стул.— Ведь сейчас тут целая кампания. Узнали, что Алексей Иванович был в плену, и хотят отобрать квартиру. Я живу здесь с сорокового года, отсюда добровольно ушла на фронт, я ушла с первого курса института, но дело опять не во мне, не только в том, что по закону я тоже имею право на эту квартиру... Почему оскорбляют память человека, отдавшего жизнь за Родину? Алексей Иванович был на фронте почти с первых дней войны, есть свидетельство, что он был тяжело ранен во время бомбежки, они там и сообщили еще тогда, в сорок первом, думая, что он умер от раны в окружении. И, пока считали его убитым, никто не претендовал на его жилиплощадь. А теперь... Извините, вам, наверно, это не интересно?

— Наоборот, очень интересно.

— Но я им не отдаю,— говорит девушка с гневно заблестевшими глазами.— До Сталина дойду, но не отдам. Разве виноват человек, что его, раненного, без сознания, взяли в плен? Вы можете, если понадобится, подтвердить, что Алексей Иванович в плену был без ноги?

— Конечно, могу. И то, что он вел себя в плену как советский патриот и что его расстреляли, — это было почти из мыслей глазах, все могут. Только надо с этими подтверждениями поторопиться, я через три дня уезжаю.

— Вы сказали, почти на ваших глазах? Расстреляли — быстро переспрашивает девушка и морщитесь; кажется, лишь теперь до ее сознания доходит то, что Алексея Ивановича, ееядко, расстреляли.

Она поднимает брови, собирая морщинки на лбу, и смотрит на меня с испугом, почти с ужасом.

— По-моему, я вам сразу сказала... А сейчас рассказываюсь: вы даже не поняли. Не сообщайте об этом хоть дочери Алексея Ивановича.

Девушка оцепенела молчком.

— Я пойду, — говорю я, вставая.— Если я понадоблюсь в ближайшие дни, позвоните моему родственнику Петру Николаевичу Кудрявцеву в речной техникум...

— Подождите, — говорит она.— Извините ради боя. Вы не москвич?

— Нет. Мне отказали в прописке. Но я еще буду здесь дни три, четыре.

— Вы, наверно, побывали и в нашем лагере?

— Недолго. Пока проходил проверку. А что, разве это замото по мне?

Девушка печально усмехается. Она так хороша собой, что я женщина бы на нее.

— Почему же вы не добываетесь? У вас здесь родные? А размер жилплощади позволяет?

— Размер-то позволяет, но милиция не очень. Мне отказали в Петровке, а идти в министерство, говорят, бесполезно.

— А вы в Верховный Совет... Я теперь специалист по юридическим вопросам, все законы изучила. Попробуйте в Верховный.

Она тоже встает. Она понижает меня ростом и очень красива. И мне грустно, что я вижу ее, вероятно, в последний раз.

3

Затем я отправляюсь к Ампилогину. Он живет на Садовой — я быстро нахожу его дом и квартиру. Молодая белокурая женщина, его жена, говорит мне, что Саша тут больше нет.

— Как же так! А где он?

— На Урале, где и был. В военную авиацию его не вернули, и он уехал. Может быть, там устроится в гражданскую авиацию.— Женщина выглядит чуток подавленной.

— И давно уехал?

— Две недели назад. Пожил месяц и уехал.

— Постойте. Разве в Москву он вернулся не в феврале прошлого года?

— В ноябре. Двадцать второго ноября. В феврале, как он мне рассказывал, его вызвали в Соликамск и оставили работать при управлении, до особого распоряжения. Не знаю, может быть, он неправду сказал, может, нашел себе там другую и теперь поехал к ней...

— Нет, я вашего мужа знаю. Он очень порядочный.

— Поступайте, — говорит она, и я чувствую, что у нее очень тяжело на сердце, — послушайте, напишите Саше, пусть он возвратится, повлияйте как-нибудь на него. У нас же сын!.. Я четыре года не имела вестей от Саша, я ждала его, и вот снова. Зачем? Неужели авиация ему дороже семьи? Мне же надо больших денег, пусть идет на любую работу, хоть слесарем или шофером, все равно. Но си должен жить с семьей. Воздействуйте как-нибудь, вы же его товарищи, я буду вам так благодарна!

— Я напишу Саше, — обещаю я, смущенный и озабоченный.

— На Урале его тоже не возьмут в авиацию, даже в гражданскую, я это знаю это, но он не верит мне. Раз был в плену, в авиацию не вернут, но он упрям... или нашел себе другую. Но ведь у нас сын...

Она борется с собой, пытается сдержать слезы, и, закусив губу, отворачивается к окну.

— Его не восстановили в военном звании? Разжаловали? — спрашиваю я.

— Ну и что? — говорит она, не оборачиваясь, глухим голосом.

— Я обязательно напишу. Дайте мне его адрес, и я напишу. Он возвратится, я уверен.

— Я буду так благодарна вам! Пожалуйста! — Слезы все-таки пробиваются у нее, и она промазывает их скомканым платочком.

Я прячу в карман бумажку с адресом Саша и торопливо прощаюсь...

Сестра не знает, что я собираюсь ночевать на вокзале: я сказал ей, что буду ночевать у Володьки. Но она чувствует неладное — я вижу по ней.

— Поезжай ты лучше к маме. Купи себе какие надо учебники, программы и поезжай. А летом вернешься.

Сестра жалеет мне добра, я понимаю. И, наверно, поступить так, как она советует, — самое благородное. Но теперь, после разговора с племянницей Алексея Ивановича и с женой Ампилогина, я не хочу самого благородного, не хочу отступать. Принципиально!

— Я пойду в Верховный Совет.

— Зачем?

— Хочу убедиться сам. Хочу точно знать, имею я право жить и учиться в Москве или не имею, а если не имею, то почему. И вообще: кто мы такие, бывшие пленные, демобилизованные воины или это все вранье?

— Ты ничего не узнаешь. Поезжай к маме.

— Узнаю. Уже многое узнал.

Сестра приносит с кухни горячий чайник, достает из буфета сахарницу и ломти хлеба — половинку того, что она получает на свою индивидуальную карточку.

— Ты очень переменился за последние годы. Иногда я вижу в тебе мальчика, каким ты был до войны, а иногда...

— Что же тут удивительного?

— Я не удивляюсь: ты должен был ожесточиться, но ведь если бы одно ожесточение. Ты же еще и живешь, как школьник.

— Это я уже слышал. Сахар в чай не клади, и хлеба не надо. Я поужинал у знакомых.

— Где ты будешь ночевать?

— У Володьки, я говорил тебе.

— А если и туда явится участковый?

— К такой важной персоне, как Володькин дядька, участковый не явится... Ты не волнуйся. Я буду тебя навещать днем. А дни через четыре уеду, вот только дождуся писем и побываю в Верховном Совете.

— Все-таки поезжай лучше к маме.

— Может быть, потом и к маме, — говорю я, чтобы успокоить сестру.

Я цеплю ее, накидываю на плечо рюкзак и ухожу в холодную январскую тему.

Лишь на минуту скримается сердце: куда ухонь? Не лучше ли, правда, поехать к маме? Но к горлу внезапно подкатывает злой ком, и, наклонив голову, я прибавляю шаг.

В метро, в теплом, ярком вагоне, я ловлю себя на том, что будто завидую людям, которые едут вместе со мной в этом вагоне. Я пытаюсь представить себе, кто они и куда едут, и я вижу, что они не такие, как я: у них есть жилье, работа, у них спокойно на душе; возвращаясь домой, они могут привлечь на диван и почтить, или послушать радио, или даже пойти в кино. И к нам не нагрянет участковый, потому что они прописаны. И им не надо, как мне, на вокзал.

Я делаю вид, что я такой же, как они, и у меня тоже спокойно на душе. Вместе со всеми я бегу по эскалатору, я так же спешу, хотя спешить мне абсолютно некуда. Даже лучше бы совсем не спешить, а покататься в метро часов до одиннадцати. Но я не могу не спешить, иначе я буду не такой. Я доехало до станции «Комсомольская», поднимаясь по широкой лестнице и в потоке людей выходя из метро. И снова стужа и темь.

.. Впрочем, возле выхода из метро нет стужи: изнутри дует теплый воздух. И, темь относительная: метро, вокзалы, площадь — все в электрических огнях. А между огнями действительно темь, косяки теми, но они небольшие и подвижные. Пройдет трамвай и разорвет полосой желтого света косяк. А там, где огни, там блески мелкого порхающего снега.

Я стараюсь изобразить из себя человека, который ждет кого-то. Люди часто ждут друг друга у метро. Вот и я жду. Я стою и вижу других людей, ожидающих кого-то. Я вижу темную фигуру милиционера, смотрящего на площадь, а через некоторое время еще вижу каких-то женщин, которые хотя кого-то и ждут, но никуда не спешат. Они прохаживаются, стоят и опять прохаживаются. Какие-то болтающиеся, словно косяки теми. Одна из них проходит мимо меня — очень медленно и близко — и заглядывает мне в лицо косями глазами. Лицо у нее красное, а глаза косящие. Потом еще одна такая же женщина проходит близко и тоже заглядывает мне в лицо, и я с удивлением вижу, что и она косящая. Что за пропасть! Минут через десять близко проходит такая же третья — косящая!!

А может, у меня с глазами что-то случилось: все кажутся косяками. Или, возможно, это кружит одна, а мерещится много? Мне делается вдруг страшно.

Я бегу к кассам Ярославского вокзала, беру парронный билет, потом покупаю в киоске свежую газету.

4

Утром, побравившись в вокзальной уборной (у меня чудная безопасная бритва, французская) и там же, на вокзале, позавтракав, я сдева рюкзак в камеру хранения и направляюсь в Верховный Совет.

Я доехало на метро до Библиотеки Ленина, оттуда — пешком. Приемная Президиума Верховного Совета расположена в красивом зеленом доме с большими зеркальными окнами. Меня немного удивляет, что я совершенно беспрепятственнохожу через застекленную дверь в такое высокое учреждение, в сущности, самое высокое в нас в стране; никто меня не останавливает и не требует документов.

Правда, невдалеке от двери прохаживается милиционер. Но это такой подтянутый, величественный человек: он только отвечает на вопросы и разъясняет, причем вполголоса, а не командует, как энергичный ефрейтор в приемной на Петровке.

Здесь светло, нарядно и вместе с тем спокойно. Я занимаю очередь и начинаю постепенно пропадать к полукруглому барьеру, за которым стоят несколько человек — вероятно, консультанты. И опять удивляюсь: никто не следит за нашей очередью, никто ни о чем не предупреждает. Это настолько удивительно, что незадолго закрадывается сомнение: скажут ли мне здесь что-нибудь хорошее, помогут ли? Уж слишком просто все: пришли люди со своими жалобами, и, пожалуйста, — вот вам и помощь. Так не бывает.

И поэтому я не очень волнуюсь. Я не верю, что смогу попасть к самому Президенту Президиума Верховного Совета, я уверен, что в последний момент меня и не допустят до него.

И все же, подходя к барьера, я чувствую, что начинаю легонько дрожать. Ведь это последняя моя



надежда! Где же тогда еще искать справедливости? Уж если тут откажут, значит, все кончено...

— Вы по какому вопросу? — спрашивает меня молодой человек за столом, на котором разложены форменные карточки.

— По вопросу прописки в Москве и по вопросу права бывших военнопленных.

Человек за столом на минуту задумывается, потом мягко говорит:

— Мне кажется, что сразу к руководству вам не имеет смысла. Правда! Разрешите, я взгляну на ваши бумаги.

Он читает заявление Петра Николаевича, розовую карточку с Петровки откладывает, не читая, заглядывает в паспорт и военный билет, а я стою и думаю: сейчас посоветует ехать туда, откуда приехали.

— Вот, пожалуйста,— говорит человек, возвращая документы, потом пишет что-то на своей карточке и вручает ее мне.— Пройдите направо и наверх, к нашему заведующему приемной.

«Заведующий приемной» — это, по-моему, уже хорошо. Я поднимаясь по лестнице, устланной ковром, и открываю тяжелую светлую дверь.

Я ожидаю увидеть еще одного человека за столом, на котором разложены форменные карточки, однако я вижу не просто стол и не один стол, а

большой кабинет, с большим книжным шкафом и портретом Ленина на стене. Стол, тоже большой, у окна, а перед столом два мягких кожаных кресла. И за столом никто не сидит. Заведующий приемной, спиной ко мне, достает что-то из шкафа. Когда я вхожу и здороваясь, он, обернувшись, кивает мне и, показав на кресло, продолжает искать что-то в шкафу. Он одет, как многие партийные работники: в темной подолясанной ремнем гимнастерке; брюки заправлены в сапоги. Вообще большой книжный шкаф и сапоги как-то не очень вяжутся в моем представлении, я думаю об этом и прохожу к кожаному креслу.

Я сажусь и думаю, кто он, этот заведующий приемной. К какому военному званию или к какой армейской должности можно привязать пост заведующего приемной Президиума Верховного Совета? Я решю, что он должен быть не меньше генерала-майора.

Заведующий приемной подходит к столу, кладет какую-то папку и протягивает мне руку. Я думаю, что он хочет еще раз поздороваться со мной, и, встав, подаю ему свою руку. Он внимательно смотрит на меня — у него под носом квадратик седых волос, и я вижу, как его губы под усами, дрогнув, раздвигаются в улыбку.

— Бумаги. Жалоба, — объясняет он.

— Сейчас, — говорю я. — Извините...

Пока тороплюсь — пальцы мои как назло попадают в прореху оторвавшейся подкладки, — я извлекаю из кармана документы, он все смотрит на меня, затем, обогнув угол стола, усаживается в кресло напротив.

— Ну, что стряслось? Какое такое горе? — спрашивает он чуть насмешливо, и, странно, этот его чуть насмешливый тон вдруг снимает у меня все волнение.

Как-то очень по-человечески это: седоусый, по-жилой человек, наверно, старый коммунист, садится напротив меня и чуть насмешливо спрашивает, что со мной стряслось. Так мог бы спросить хороший учитель своего ученика или даже отец — сына.

— Вы знаете, — говорю я, — могу я рассказать вам все, всю правду?

— Разумеется. Только правду, и обязательно всю, — с улыбкой отвечает он.

И я рассказываю. Сперва я еще думаю, как бы покороче, чтобы не занять много времени, а потом уже не думаю об этом и только рассказываю. Я рассказываю ему об отце и матери, о том, где учился, как попал чай фронта, как пробивался с товарищами из окружения и как, очутясь в плену, пытался бежать; я радуюсь, что могу — наверно, первый — сообщить в верховный орган нашей власти о геройском поведении в плену депутата Моссовета, бывшего прокурора Москвы Алексея Ивановича Мургова, говорю, что надо обязательно помочь его родственнице, у которой теперь хотят отобрать квартиру, где она жила вместе с Алексеем Ивановичем, я радуюсь, что заведующий приемной тут же помечает что-то в своем блокноте. Я рассказываю о нашей подпольной интернациональной организации в Маутхаузене, называю фамилии видных немецких и австрийских коммунистов, членов ЦК, которых руководили нами, и он опять записывает в блокнот. Я говорю о том, что было со мной после Маутхаузена,плоть до сегодняшнего дня, не скрываю даже того, что эту ночь провел на Ярославском вокзале.

Я рассказываю и вижу, что лицо заведующего приемной становится все более строгим и хмурым.

— Дайте документы, — говорит он, когда я умолкаю.

Он очень внимательно читает особые отметки в моем военном билете, придирчиво разглядывает ту запись в паспорте, где сказано, на основании каких документов выдали паспорт, затем столь же внимательно читает заявление Петра Николаевича и даже розовую карточку с Петровки, берет со стола какую-то книгу и, полистав ее, говорит:

— Ничего противозаконного я не нахожу, чтобы прописать вас в Москве. Вы приехали, чтобы учиться в институте, и вам, как бывшему фронтовику, необходимо поступить на подготовительные курсы. Так! Жилплощадь — родные — вам предоставлены, и даже с санитарной нормой в порядке. Тоже так! Ну, и что мы будем канитель тянуть? — И я снова вижу, как раздвигаются в улыбке губы под квадратом седых усов.

Заведующий приемной встает из кресла, пересаживается на свое место и, поглядывая склоненную седую голову почты с любовью. Я думаю: вот это человек! Я чувствую себя почти счастливым.

— А из-за того, что был в плену, не имеют права отказать? — Я гляжу на склоненную седую голову почты с любовью. Я думаю: вот это человек! Я чувствую себя почти счастливым.

— Прописывайтесь и живите. Вы советский гражданин, демобилизованный воин. Закон на вашей стороне. А мы за этим делом проследим, порекомендуем товарищам не тянуть с пропиской и помочь вам в трудоустройстве. — Он отдает документы и на прощание крепко пожимает мне руку.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Я сижу в трамвае и смотрю на Москву-реку. Трамвай медленно ползет по мосту. На улице от тепла: хмары и слякоть. У гранитной набережной темнеет вмерзшая в лед баржа. Чернеет вода в полынях.

«Любопытно, что зимой никто не топится», — думаю я. — Холодно. То ли дело револьвер: бац — и готово!

Что «бац и готово»? — неожиданно спрашивает меня сидящий напротив парень в армейском бушлате, но без погона, вероятно, недавно демобилизованный.

— Я не знаю. Что «бац и готово»? — говорю я.

— Да ты бредишь или пьяный? Ты же сам с собой разговариваешь!

— Я думаю, а не разговариваю. А тебе что?

— Да мне ничего. Думай или разговаривай. Хреново ты только думаешь: «Бац — и готово!» — Парень усмехается.

У него здоровое, гладкое лицо, острые глаза.

— Что тебе, лихо?

— Ну, допустим. А что?

— Ты где ходишь? А то мне сейчас. Пошли?

— Пошли. — Мне, собственно, безразлично, где сходить.

Трамвай, миновав мост, пробегает еще метров сто, поворачивает направо и останавливается против пивной лавочки на улице Рязань.

— Давай по кружке, — предлагает парень. — Я угощаю.

Он расплачивается с продавщицей, протягивает одну кружку мне, и мы отходим на край прилавка.

— Какая же у тебя беда?

— Ты фронтовик? — спрашиваю я.

— Фронтовик! — Парень вновь усмехается. — Всего-то скоро уже два года как почилась. Все и будем фронтовиками!

— Для кого почнилась, а для кого нет. Для меня, например, еще не почнилась, — говорю я. — Ты как считаешь, законы у нас должны соблюдаться?

— Понятно, должны. А ты что, бывший пленный?

— Угадай. И по закону я тоже демобилизованный. Я специально ходил в Верховный Совет, больше часа беседовал там с заведующим приемной, и он рекомендовал прописать меня, и думашь, прописали? Черт с два! Для нас, говорят, рекомендация не приказ. И продолжают тянуть. А один проговорился, что, если бы я не был пленным, все давно было бы в порядке: им для прописки таких, как я, нужна виза органов, а органы, как я понял из его намека, не совсем согласны. Я подумал, подумал и пошел — знаешь, куда?

«Неужели я о себе рассказываю?!»

— Куда? — Парень, отлив полукружки, с интересомглядит на меня.

— В управление Госбезопасности — вот куда я пошел. У них на Кузнецком приемная. Это вчера было. Пришел и говорю: заберите, раз не даете жить. И думаешь, что?

— Что? — спрашивает парень.

— Майор, который принимал меня, записал мою фамилию, имя, отчество, год рождения и попросил подождать. Через полчаса вызывает и говорит: у нас к вам лично никаких претензий нет, это у партии претензии к вам, бывшим пленным. Представляешь?

— Ну?

— Представляешь? Во-первых, из его слов выходит, что органы сами по себе, а партия сама по себе, а во-вторых, какие же претензии к нам у партии? Всегда они!

— Ясно, врет, — говорит парень. — Я сам коммунист с сорок третьего, как-нибудь разбираюсь... И чем кончился ваш разговор?

— Я спросил его, что делать, где искать концы. Я говорю, может, мне какую-нибудь витрину в магазине разбить, чтобы если пострадать, так хоть знать, за что. А он отвечает: разобьете — посадят за хулиганство, а нам вы не нужны. Не нужен!.. Ладно, спасибо за разговор.

— Погоди, — говорит парень. — Это все же таки хорошо, что у органов к тебе ничего нет; тебя, видимо, просто перестраховщики мытарят... Ты нигде сейчас не работаешь?

— И не работаю — не учусь, все планы рушатся, и все из-за прописки.

— Грузчиком пойдешь? — Парень быстро допивает пиво, вытирает ладонью рот. — И прописка будет, и сидеть будешь. Я тебе сурьезно говорю.

— Пойду, конечно. Только из этого ничего не выйдет.

— Посмотришь. Айда!

И парень ведет меня через дорогу под какую-то арку, потом наверх по кругой каменной лестнице. Я, разумеется, не верю, что меня вззовут даже в грузчики, — это было бы слишком много счастья, — но попытка, как говорится, не пытка. Всобще я собрался продаивать сапоги, чтобы сколотить деньги на билет и уехать к маме — что же мне остается? Ну, еще одна попытка, пустышка...

Мы идем по полуутомленному каменному коридору, напоминающему тоннель. В конце его — электрическая лампочка. Парень подводит меня к Фанерной будке с освещенным оконечком.

— Здорово, начальник!

— Здорова, Ванюша! — отвечает из окошка человек в расстегнутой телогрейке. — Кого опять волокешь?

— Кадры волоку. Оформи его в нашу бригаду. Это моя личная просьба. Понял?

— Паспорт есть? — спрашивает меня человек в телогрейке, вероятно, начальник кадров.

— Есть. Пожалуйста.

— Так оформи его, Коля. Я тороплюсь. И, потрапав меня по плечу, парень исчезает в полуутомленном тоннеле.

— Ладно, возьмем, — заглянув в паспорт, говорит начальник кадров Коля. — Прописка треба?

— В том-то и дело, — говорю я довольно раздраженно, потому что я еще не верю в успех.

— Ладно. Пропишем в общежитии за городом, там это легче. Командишу поставишь пол-литра. Нынешним вечером сможешь выйти на работу?

— Смогу.

— Тогда минуту. Сейчас я дам тебе направление. А грузчиком работал?

— Работал. — «Камни-то таскал в Маутхаузен», — думаю я.

— Образование какое?

— А какое надо?

— Никакого не надо. Ладно.

Он пишет химическим карандашом через копирку, а я стою у окошка и удивляюсь. Я все еще не верю в свое счастье, но уже опять удивляюсь. Ведь есть же люди: подобрали на улице человека и устраивают его жизнь!

— Готово, — объясняет Коля, начальник кадров. — Вот направление, будешь работать на хорошем объекте, на хлебозаводе. А это пока вместо спорта. Он протягивает мне бумажку, похожую на квитанцию. — Давай четыре рубля на прописку.

Я отдаю ему четыре рубля — у меня остается по следнюю трешку — и благодарю его.

— Ванюшке скажи спасибо, — отвечает Коля и захлопывает окошечко.

Я выхожу на улицу уже не таким, каким вошел сюда: я и счастливый и равнодушный, верящий и еще больше не верящий, удивленный и уже ничему не удивляющийся.

Таким, чувствуя, я никогда не был.

2

Что-то внезапно ломается во мне — я сам еще хорошенко не пойму, что, но умею себе объяснять. Словно вдруг отмирает какой-то важный жизненный нерв, дававший прежде силу и радость. Я не знаю, что это и почему это так и именно сейчас, когда жизнь, казалось бы, позоривается к лучшему. Может, я просто очень устал! ...В проходной хлебозавода я предъявляю направление, и мне объясняют, как пройти в раздевалку грузчиков. В раздевалке — она в подвалном помещении, рядом с душевой, — я вручаю направление бригадиру, поклоняюся суптому человеку. Он молча показывает мне на узкий шкафчик, в котором висят потрепанные спички.

Ванюшки пока не видно. Грузчики, переодевшись, уходят наверх. Я отправляюсь с одним из них, рыжим, веснушчатым парнем. Мы заходим в небольшую комнату со столом и низкими, очень широкими шкафами. Грузчики сидят на скамейках — человек двадцать. Все в спичках, выпачканных мукою и засохшим тестом. Я сажусь рядом с рыжим.

Он закуривает папиросу.

— Новичок?

— Да.

Появляется бригадир и молча усаживается к столу. Почти все курят. Бригадир тоже закуривает: сворачивает толстенную «кошку» ножку. Мы сидим так минут двадцать. Ванюшки все нет. Бригадир, растерев окружок подошвой, дремлет, упервшись локтями в колени.

— Где ты до этого работал? На железе? — спрашивается меня рыжий.

— Почему на железе?

— Да тощий ты больно. Хлеба хочь?

Он вынимает из кармана спички теплую, запечатленную мукою краюху, и я вмиг съедаю ее.

— Братя, у кого есть хлеб? — обращается рыжий к своим товарищам.

— Вон в шкафу, пусть возьмет, — говорит грузчик с бесцветными глазами. — Стой, я достану.

Он приносит полбуханки хлеба, еще горячего и



тоже залепленного муки, и подсаживается ко мне.

— Где ты так оголился?

— На каком объекте работал? — подняв голову, строго спрашивает бригадир.

— В Москве еще ни-
где не работал, — говорю я.

— Тоже присылают! — отворачиваясь, бурчит бригадир.

— Воды нет? — впол-

голоса спрашиваю я у грузчика с бесцветными глазами. Я виню, что он сочувственно следит за тем, как я ем.

— Пойдем покажу.

Он ведет меня в большое прохладное помещение, набитое мешками, затем по лестнице вниз. Внизу такое же складское помещение, только по-

теплее, и в нем, кроме мешков, еще какие-то механизмы с приводными ремнями; полуобнаженные люди ссыпают муку в деревянные ложи.

Я пью из маленькой колонки, снабженной железным блюдцем — над ним бьет прозрачный фонтанчик.

— Меня зовут Алексей, — сообщает грузчик. — А тебя?

Я говорю ему, как меня зовут.

— Грузчиком совсем не работал?

— Специально нет. Но грузят во время войны приходилось, камни в основном.

— В плечу, наверно?.. Я тоже был, поэтому и спрашивало. Я нашего брата, пленяту, сразу вижу. — У Алексея на носу рябинки, глаза будто выгорели на солнце. — Ты учи: бригадир не любит новичков, особенно которых присыпает отдел кадров. Если бригадир не захочет взять и отстрелят — все, никто его не заставит.

— Эй! — кричат нам с лестницы. — Машины пришли!

Алексей подхватывается, как солдат по трезоге. Я спешу за ним.

— Присматривайся, как работают друга! — Больше ничего он не успевает или не хочет сказать мне. Наверху распахнуты ворота, напротив них стоят машины с мешками. Четверо грузчиков открывают борта, остальные выстроились цепочкой, по пять человек в каждой. Я встаю в хвост одной цепочки, Алексей идет к другой. Бригадир, заложив руки за спину и сильно сутуясь, наблюдает.

Рыжий — он передний в моей цепочке — подходит к кузову. Двое, те, что открывали борта на нашей машине, берут мешок за углы, махом подбрасывают его, рыжий подскакивает, и мешок плотно ложится ему на плечо и затылок. Рыжий, чуть придерживая мешок одной рукой и помахивая второй, свободной, легко и быстро идет мимо цепочки в глубь склада. Потом я слышу, как мягко шлепается мешок о каменный пол.

— Сашка, ровнее опускай, — говорит рыжему бригадир.

Рыжий Сашка встает за мной. Мимо нас проходит второй грузчик — так же быстро и легко, — и опять шлепается мешок о пол. Проходит, точно проплынет, третий, потом четвертый.

— Набегай! — кричат мне те, что за кузов.

Холодный, шершавый мешок ударяет меня, я вцепляюсь в него обеими руками, но он съезжает на спину, я сгибаюсь и тящу его в глубь склада.



Сваливаю рядом с другими мешками и снова становлюсь в хвост.

Сашка опять за мнай.

— Ты не боись мешка, — говорит он мнай. — Иди на него! Чтобы ты управлял им, а не он тобой.

Бригадир, не меня позы, искаса поглядывает на меня.

А мешок вновь ударяет. И вновь, согнувшись, таща его на спине и сваливаю на пол.

— На швю бери! — учит Сашка.

Третий мешок чуть не ломает мнай шено. Но я тащу. А бригадир только поглядывает. Четвертый сназа съезжает на спину. Я тащу.

— Набегай! — кричат мнай с кузова.

Я набегаю. Холодная тяжесть бьет по плечу. Ташу на плече. Уже прошибает пот.

— Иди на него. Смелей! — подталкивает мнай сзади Сашка.

Я иду. Мешок, кажется, вдавливает мнай голову в плечи. Голова слегка гудит. Я сваливаю...

Я стою в очереди. Кто приятно постоит с полминуты? Но восьмом мешке (я считаю) начинают заплетаться ноги. А бригадир, нахолнившись, все поглядывает, как надсмотрщик, и молчит. Десятый мешок. Опять на голову. Что-то хрупает. Черт с ней!

— Ты что, в цирке работал? — смеется Сашка.

Мешки плывут мимо мнай. Один, второй, третий — белые пунктиры.

— Налетай же! — смеясь, кричат с кузова.

Я налетаю. Моему плечу, должно быть, капут. Но мешок удерживаю. Ноги мнай подкашиваются. Сваливаю асе-таки.

Плывет белый пунктир...

— Хватя, — произносит рядом придушенный голос бригадира. Красная рука трогает мнай за ноющее плечо.

— Что хвастя?

— Давай! — кричат с кузова.

— Хватя! — властно повторяет бригадир и, отстранив мнай, сам принимает мешок.

Он берет его, как подушку, и стоит.

— Клади! — приказывает он.

Уже Сашка, опередив мнай, берет мешок. Разбегают последние мешки. И два самых последних опять относит бригадир.

Машини отъезжают. Грузчики уходят в курилку. Я стою на дашком помосте, вдыхаю морозный воздух и смотрю на звездное небо. И тут неудача. Отстранен... Какое же звездное небо сегодня!

— Эй, новичок! — кричат мнай. — К бригадиру!

Надсмотрщик, говорю я себе. Надсмотрщик, а не бригадир.

В курилке, как и до прихода машин, сидят на скамьях и курят. Сашка и Алексей рядом. «Вот и кончились наше знакомство», — думаю я.

— Ты вот чего... — сдавленно произносит бригадир, не поворачивая ко мнай головы, — возьми это, поужинай, и на шкаф. Сашка, сварачи мурзочки, я тоже что-то захотел.

И тогда, следуя какому-то неизвестному мнай церемониалу, грузчики по одному подходят и здороваются со мнай. Алексей — первый.

Оказывается, я выдержал испытание и принят в грузчики. По установленному обычью, я должен сесть с ком-нибудь из своих новых товарищ миску мурзочки (хлеб с подсолнечным маслом и водой), потом влезть на шкаф и отдохнуть там до утра.

Tеперь все помогают мне. Меня учат работать и руки Сашка, и Ванюшка — он заместитель бригадира, — и особенно Алексей: он мой главный наставник. Алексей показывает, как надо принимать мешок, как «выставлять» (подбрасывать) его, как нести и склонять; объясняет, как расслаблять мышцы и давать отдых попеременно рукам и спине; словом, вводят меня во все тонкости грузинского ремесла.

В свою первую получку я приглашаю Алексея вместе победать. Я предлагаю пойти за мост, в ресторан «Балчуг», но Алексей тянет меня в противоположную сторону, к центру. На Алексее добротное ратиновое пальто, шляпа; он вообще, я заметил, любит прифрантиться, и даже сегодня, в пурге, он в шляпе и начищенных полуботниках.

Он по-приятельски здоровается со швейцаром, мы раздеваемся и по ковровой дорожке идем в белый зал. Тут почти пусто, лишь в одном углу сидят какой-то военный. Потолки очень высокие, стены холодные, и все холодное, сверкающее — неуютно.

— Я всегда сюда хожу, — похоже, хвастается Алексей.

Мы садимся в центре зала. Официант, в черном фраке, холодный и чопорный, кладет перед нами карточку с золотым тиснением: «Гранд-отель». Алексей заказывает графин водки, салат, два бифштекса и бутылку «Цинандали».

— Все пока, — холодно бросает он официанту.

— Водички! — спрашивает тот.

Само собой, «Боржоми». Алексей распоряжается уверенно. Володька и то так уверенно не распоряжался.

Вокруг здесь ледяная и кристально прозрачная. Выпив по рюмке, мы принимаемся за салат, и я вижу, как свободно обращается с ножом и вилкой Алексей, словно он всю жизнь держал в руках только такие, украшенные вензелями, нож и вилку и не хлебал со мной еще вчера мурзиков.

Выпиваем по второй рюмке.

— Это правильно, что ни о чем не расспрашивавши, — говорит Алексей, — чувствуешь школу. Между прочим, осенний сорок четвертого к нам в Маутхаузен отправили двух моих дружков, оба были москвичи. Не вернулись.

— Осенью сорок четвертого многих ножичков расстреливали, — говорю я. — Одного моего сослуживца, москвича, тоже расстреляли. Самойлова.

— Василий?

— Нет, Павла. Старшего лейтенанта Павла Самойлова.

Алексей снова берется за графин.

— Я знал одного Василия Самойлова, капитан-танкиста. Когда немцы обнаружили у нас саботаж, мне удалось бежать, а его и двух моих дружков прихватили... Ты тоже был членом «Братского сотрудничества военнонелленных»?

— Нет, я был членом только подпольной организации в Маутхаузене...

Алексей толкает меня под столом. К нам приближается чопорный официант.

— Горячее подавать?

— Да, давайте, — небрежно кивает Алексей.

Когда тот уходит, Алексей с усмешкой шепчет:

— Интересуется, видно, нами товарищ. Ну, да чихать на него! Ты на госпроверке говорил, что был подпольщиком?

— Когда спрашивали, говорил. Вообще-то об этом не очень спрашивали.

— Тебе повезло. — Алексей смотрит на меня своим будто выгоревшим глазами. — У меня есть знакомый парень из Дахау, которого чуть не посадили, когда он сказал, что был членом подпольной организации. Пристал к нему следователь: какая организация, кто ее направлял — американцы или англичане? Не верят, что мы сами себя направляли, как сердце зевело. Ну, парень прикинулся дураком: помогали, мол, выпить друг другу, и все.

Официант приносит на горячих овальных подносиках бифштексы и ставит на стол темную бутылку.

— «Цинандали» нет. Только «Мукузани».

— Хорошо. Пусть «Мукузани».

Алексей разливает вино по бокалам.

— Откуда ты знаешь всю эту гастрономию? — спрашиваю я. — В ресторане работал?

— Нет. Доводили еще практика. — Он провожает взглядом спину официанта, обтянутую черным фраком. — А потом я, видите ли, бывал на приемах... Я в сорок четвертом, когда бензак, прообразился в Бельгию. Я был там командиром партизанской роты. А на приемах бывал уже в сорок пятом, перед депортацией; раз был даже в королевском дворце, но ты об этом никому не говори. У меня много друзей среди бельгийских коммунистов. Они первоначально входили в парламент и даже, по-моему, в правительство...

— Как несложно все получается, Алексей!

— Еще как! Не верят нам Берия или притворяются, что не верят, чтоб его душу разберут, какая у него цель. — Алексей залпом осушает бокал. — А раз не верят, будем пить! Будем гулять, пока живы... Гляди, официант-то за колонной притаился. Очень мы его интересуем.

— Может, расплатимся и пойдем? — говорю я. — Зачем зря дразнить?

— Наоборот. Тут самое спокойное место: мало людно. Тут не подслушашь, и потом, признаться, мне доставляет особое удовольствие, мне, презренному плетенку, биндинженнику, сидеть в этом храме.

Алексей остирием ножа брякает по бутылке. Официант тут как тут.

— Да козе по-турецки и сто коньяку.

— Слушаюсь!

— Видишь ли, — продолжает Алексей, снова привожа взглядом черную спину, — я в прошлом кадровый старший лейтенант, поминаяштаба полка по разведке. Женился на певице, сам немножко пел, мечтал учиться в академии... А теперь? Ни жены, ни звания, ни службы — ничего! Слесарем, грузчиком взвали. Другой же гражданской специальности у меня нет, я кадровый военный... И вот уже около года грузчик и около года с полукни наложил всем хожу только сюда или в «Метрополи». Назло!

Он начинает хмельеть. Зрачки его укрупняются, из них блестят две острые металлические точки.

— Будем прожигать ее, жизнью, раз нам не верят. Ты солидарен со мной?

Мы допиваем «Мукузани» и беремся за коньяк.

— Сэлю, камрада! — говорю я.

— Быва! — отвечает Алексей. — Вива интернациональный коммунист!.. А теперь к барам.

— Только не на вокзал.

— Нет, нет. Я познакомлю тебя с Кларой. Тоже трагическая фигура. Эй, официант, счет!

Человек в черном — перед нами.

— Вот... за усердную службу. — И Алексей кладет рядом с моей сотенной юношей и добавляет еще десятку.

— Будем жить! — восклицает он, когда, поддерживая друг друга и пошатываясь, мы выходим на серую, в россыпи огней, ветреную улицу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Tак неужели все это было напрасно: голод, камни, мученический конец Мургова, подвиг Карабышева?

Тысячи советских военнопленных, казненных за свою преданность Родине в застенках гестапо?

Сотни тысяч задушенных и сожженных в крематориях концлагерей...

Нет, не хочу верить. Не могу верить!

А Пауль? А комендант-психолог? А громадный золотистой масти дог Бахмайера, откусивший на-прочь кисть руки у заключенного советского майора?

А геронческий побег узников двадцатого блока?

А кропотливая, смертельно опасная работа наших подпольщиков в Маутхаузене, работа, благодаря которой стал возможен успех освободительного восстания в лагере?

Неужели все это было напрасно...

Я продолжаю работать грузчиком, я живу теплее, как все — не хуже и не лучше,— но после разговора с Алексеем в ресторане меня не оставляют эти вопросы.

Порой мне является почти сумасшедшая мысль, что в руководство нашим государством прорвался враг (кто него такие же, как у Гиммлера, тонкие гаечные губы и поблескивающие пениссы), и он умышленно старается скрыть от народа то, что происходило в гитлеровских лагерях, и с этой целью всячески притесняет бывших пленных. А порой, когда я очень устану, я ум и так начинаю думать: может, вообще ничего того и не было — Пауль, комендантского дога и всего Маутхаузена,— что это только плод моего больного воображения? Но ночные меня снова преследуют кошмары: мне опять снится кирпичная проволока, побег и часовые, догонающие меня; я опять нередко пробуждаюсь в холодном поту, когда они меня убивают...

Не знаю, что стало бы со мной, если бы один мой дальний родственник, старый большевик, соратник Землячки и Литвинова по дореволюционному подполью, не посоветовал мне найти работу погребальщика и писать воспоминания. Писать, не думая пока о том, что получится. Просто описывать день за днем то, что довелось увидеть и пережить в плену.

Я сам всегда хотел об этом писать, я еще в Вильнюсской тюрьме дал себе слово, что, если останусь жив, то обязательно буду рассказывать людям о фашистах-изуветах, и в Маутхаузене я не раз давал себе такое слово. Правда, правда! Этим делом я и займусь теперь — вопреки всему! — тем более что из-за волынки с пропиской на подготовительные курсы я опоздал, и мне, по всей вероятности, придется отложить с поступлением в институт до следующего года.

И вот я ищу работу полегче. Я ищу ее уже второй месяц. Меня чуть было не взяли культурно-просветительным в подмосковный дом отдыха, потому что было не стало стрелком военизированной охраны («Принятые на работу обеспечиваются: а) общежитием для холостяков, б) обмунированием, в) котловым довольствием...» — то-то были бы прелести!); потому я чуть не сделался библиотекарем, потому — воспитателем в рабочем общежитии, потому... еще около десятка «легких» должностей, занять которые я смог бы, если бы... если бы не моя проклятая ан-

кета, вернее, один пункттик, незаметный такой затерявшийся среди других вопросов, короткий пункттик: «был ли в плену?»

Нет, меня никто не укоряет, что я был в плену, и, в конце концов отказывая в приеме на работу, мне никто не говорит, что отказывают из-за этого пунктика. Просто у кадровиков, когда они видят рядом с этим вопросом слово «была», что-то меняется в лице. Почти неуловимо. Лицо становится еще спокойнее, доброжелательнее, но какая-то жилочка или желвачок на лице выдается. Капельку дрогнет или сожмется и выдаст. И хоть бы кто из кадровиков задержался взглядом на этом пунктике. Нет! Ровенько так скользнут выпуклостью глаз и дальше читаю, еще более доброжелательные и спокойные. Если бы пунктник как-то зацепил их, было бы естественно. Я и поверил бы в то, что они мне говорят: «Понимаете, нам только что из райкома порекомендовали товарища», или — «Мы решили оставить старого товарища», или — «Мы посоветуемся, позвоните через недельку». И ответы одни и те же, одни и те же слова, как говорились. А понапачку, еще до заполнения анкеты, когда беседуешь, так ведь все хорошо: и вакансия есть, и возьмут обязательно, и какая зарплата скажут...

Сейчас я с улицы Кропоткина. Там в зеленом особняке мне отказали в должности рабочего кухни. Старшая повариха уже накормила меня и приказала явиться завтра в шесть утра растоплять печь. И вот, пожалуйста, отдел кадров не пропустил: «Решили оставить старого». А какая работка! Налипить зеленой птицы дров, наклонять, натаскать, а утром разжечь плиту. И съят был бы, и польдня свободен — мог бы писать воспоминания. И внезапно решили оставить старого. Побоялись, вероятно, что подброшу в котел отравы...

Я брошу перед зданием театра-студии киноактера. Театру требуется рабочий сцены. Сейчас в отделе кадров обеденный перерыв, и я брошу по улице Боровского. Уж рабочим-то сцены меня возьмут, думаю я. Уж здесь-то я никого не отравлю, и не застреляю, и не подсуну кому-нибудь книгу старого издания... Я хожу, думаю и глубоко дышу.

Начало марта. Пахнет сырым снегом. Солнчишко. Люблю я март! Я остановлившись у скверика, тут же наискосок от шатра, и какой-то человек в пиджаке пальто тоже останавливается недалеко и смотрит на меня в упор.

И я смотрю на него в упор. Голубые глаза, нос лапотком, около рта попперевес складки... Передо мной Жора Архаров.

— Здорово, — говорит он, подходя.

— Здорово, — отвечая я.

Мы, кажется, ничуть не удивлены и не обрадованы. Если бы мертвецы могли являться с того света, — они здесь, на земле, встречаются бы именно так, без удивления. И все-таки чутону странно: передо мной Жора Архаров, мой близкий товарищ по той жизни, бывший разведчик генерального штаба... Он в худом пальто, в помятой шляпе, небритый и бледный.

— Ты что тут делаешь? — спрашивает он.

— Нанимаюсь на работу. А ты?

— Я в аптеку.

Точно в полуночи. Точно мы еще не совсем воскресли — пунтишки какими-то.

— Ты разве москвич? — говорю я.

— Всегда был москвичом, тридцать шесть лет. Опять странно! Я ведь знал, что он москвич, но он был для меня москвичом тогда, здесь же, в Москве, мне почему-то ни разу не пришло на ум

поискать его или других живых маутхаузенцев-москвичей.

— А ты как очутился здесь? Ты же ленинградец, по-моему. Или из Вологды.

— Теперь я тоже москвич... Слушай, какую по счету жизнь мы живем?

— О чём ты? Не понимаю.

— Тебе иногда не кажется, что ничего того — войны, плена, Маутхаузена — не было? Или, вернее, что все то было в какой-то другой жизни?

— Это верно, — говорит Жора, небритьй, немного подавленный, звонко и не Жора, по-видимому. — Верно, — повторяет он. — До войны — это одна жизнь, фронт — вторая, плен — третья, Маутхаузен — четвертая, госпроверка — пятая, а теперь — шестая. Выпить бы надо, да денег нет.

И у меня теперь нет денег.

— Пойдем посидим в скверике, — предлагаю я. Мы садимся на скамью, окружённую тающими сугробами.

— Ты работаешь? — спрашиваю я. — Где?

Жора, оказывается, четыре месяца был без работы: не принимали. Потом устроился в ателье фотографов. Неплохо зарабатывал. Теперь будет служить в транспортной конторе: он знает планирование автотранспорта. А вообще все неважно: у него двое детей, молодая жена,ются вместе с большой матерью в одной комнатке здесь, на улице Боровского, в доме, где почта...

И он проходит проверку на Урале, только в другом месте. О Валери, Иване Михеевиче и Порогове он ничего не слышал — затерялись люди. В Москве живут еще несколько маутхаузенцев, правда, они очень редко встречаются: с работы одолевли, и глазные, кое-где косо смотрят на такие встречи.

— Костищина ты помнишь? — говорит Жора. — Так поезжал к нему прямо на фабрику. Он и накормит и посоветует что-нибудь насчет работы. Я сам поехал с собой, но заболела дочка. А на театр ты плюнь. Театр — ответственный участок, таких, как мы, сюда не принимают, хоть и рабочим сцены. Это точно.

Жора встает.

— Спасибо, Жора, — говорю я. — Устроюсь на работу — встретимся. И тогда выпьем за встречу.

Художник Логинов, друг Саши Григорьевского, тоже в Москве. Но сильно удручен и пьет, собака. Он вряд ли сможет быть тебе полезен.

И, покачав мне руку, Жора уходит — Жора — сорвиголова, Жора — отважный подпольщик-антифашист, Жора — усталый, задавленный бедностью человек.

2

Прославленная кондитерская фабрика «Моссельпром» с улицы выглядит как обычный средний московский домик, спрятанный за забором. Василий Костищина, мой товарищ почти с первых дней плены, работал на «Моссельпроме» до войны и работает здесь сейчас. В проходной мне говорят, что Василий Иванович можно найти в бухгалтерии. Его называют по имени-отчеству, меня, пожелавшего видеть его, тотчас пропускают внутрь, и я думаю: вот, не мешает же человеку то, что он был в плену, пользоваться таким уважением.

На втором этаже кирпичного здания мне указывают на покрашенную белой краской дверь — Василий Иванович там. Я стучусь и сразу вхожу. В узкой комнатке сидит полный, с черной шевелюрой мужчина и щелкает ручкой арифометра.

— Пожалуйста, — говорит он приветливо.

Встречаться я с ним на улице — и не узнал бы. Это не тот Костищина, не чёрный печальный скелет. Передо мной всплыл нормальный человек, с хорошей прической, в хорошем костюме, в галстуке... Я чувствую себя пришельцем с того света.

Минута — и я в дружеских объятиях Костищина. Откровенно, не ожидал, откровенно, думал, будет попрохладнее: кто же радуется таким пришельцам?

Ведь кое-где косо смотрят на встречи таких, как мы — «Зачем встречается? С каким целиком?», а Костищина не испугался, он рад мне, я это вижу.

— Подожди, — говорит он и тихонько спускает защелку на двери. — Теперь сядись и рассказывай... Подожди. Есть хочешь? — Он выдвигает из стола ящики и достает свежие желтенькие ириски, потом опускает руку за стол в угол и вытигивает за горлышко бутылку без этикетки. — Спиртик, — шепчет он. — Ай момент... А, может, хочешь, я сперва покажу тебе фабрику, пройдемся по цехам? У меня есть белый халат, я представлю тебя как студент-практиканта...

— Нет, лучше посидим. С фабрикой после как-нибудь. Да я еще хорошо помню свою лекцию о производстве шоколадных конфет; ты сам-то помнишь, как рассказывал об этом в плену? — говорю я и вижу, как быстро и должно быть, непроизвольно морщится Костищина. Всего с секундой морщит лоб, а в глазах его пробегает беспокойство.

— О плене не говори громко, — шепчет он. — Здесь почти никто не знает, что я был... Руководство и отдел кадров, разумеется, знают, а остальные — нет. И не надо им этого знать. Зачем!

И Костищина снова улыбается и наливает в стакан граммов по пятьдесят «спиртику».

— Только вначале съешь что-нибудь. Ириски или вот хлеб с маслом. Обязательно вначале съешь. Вот бутылка, вот сахарный песок.

Мы выпиваем за встречу, но мне уже не хочется ни вспоминать, ни рассказывать о своих злоключениях после Маутхаузена.

— Как ты живешь? — спрашиваю я. — Тебя, кажется, очень уважают здесь?

— Ну, я ведь один из старейших работников «Моссельпрома», — говорит Костищина. — А потом я тут внес некоторые рационализаторские предложения, так что в успехах фабрики есть, как говорится, и моя скромная доля... Ничего живу. Как ты?

— Тоже ничего. В партии тебя не восстановили?

— Пока еще нет.

— А с военным званием?

— Понимаешь, я ведь был старшим политруком. Теперь такого звания вообще не существует.

— А семья?

— Жена побаливает, плохо. Зато дочка... — Костищина весь расцветает. — У меня, знаешь, дочка. Ты приезжал ко мне домой на Смоленку. Посмотрели, как я живу. Ты еще холостой?

— Я без работы сижу, Вася, — говорю я, чувствуя, что глупо играть с ним в прятки. Ух если такому старому товарищу не рассказать всего, кому же еще тогда рассказывать? — Того мне сейчас, нигде не могут устроиться.

Я говорю об этом и вдруг думаю: напрасно, пожалуй, говорю. Закрепился человек в жизни, и хорошо. И незачем его дергать. Помочь мне он все равно не сможет: бывший пленный не должен помогать бывшему пленному; отдел кадров моментально заподозрит что-нибудь дурное.

— Но ты не беспокойся, — добавляю я. — Мне обещали место в театре-студии киноактера.

На лице Костищина больше нет улыбки. Глаза серьезны.

— Я могу порекомендовать тебя на нашу фабрику, — говорит он. — Но ведь у тебя нет специальности. Только учеником или разнорабочим.

— Нет, спасибо. Когда в вашем отделе кадров узнают, где я был, тебе будет неприятность.

Костишин молчит. Не настаивает. И, по-моему, борется с собой. И я вижу, что он выглядит совсем уж не столь благополучным, как показалось вначале: полнота его рыхловата — наверно, большое сердце; цвет лица нездорооо-желтый.

— Нет, — наконец говорит он, — я тебя так не оставлю. Пиши заявление, я сам пойду к нашим кадровикам... Или, знаешь что? — Он обрадовано моргает. — Еще лучше. Придумай! Павла Лелякина помнишь? Он работает в городском лекционном бюро, у него большие связи с клубами и Домами культуры — это тебе ближе. Так я позвоню ему, и он тебе поможет с работой, поможет, у него большие связи. А ты, пока не получишь зарплату, будешь приходить ко мне и пытаться. Идет? Приходи сюда в любое время. Если же в крайнем случае у Лелякина не получится, — поступишь учеником на нашу фабрику. Это я тебе гарантирую.

И он вновь улыбается, старый-старый, из той жизни товарища, Вася Костишин, черный, печальный скелет.

Он кладет что-то в мой карман и сам выписывает пропуск. Потом на другой бумажке пишет адрес Московского городского лекционного бюро.

3

Б Маутхаузен я немного знал о Лелякине. Я знал, что его вместе с майором Белозеринским привезли из венской тюрьмы, что до войны Лелякин работал в советском посольстве в Берлине, а на фронте был помощником начальника развед-отделения штадтвагена, — об этом мне говорил Валерий. Знал, что Лелякин быстро вошел в нашу организацию, и приписывал это, по своей привычке, думысливать тому обстоятельству, что он уже связан с антифашистским подпольем; мне даже чудилось — так хотелось думать, — будто Лелякин — уполномоченный какого-то нелегального коммунистического центра, расположенного на воле. В дни восстания я видел Лелякина за пулеметом на центральной башне, а когда явились американцы, видел его с двумя нашими офицерами, которым Портога приказал тайно покинуть лагерь и добраться до передовых постов советских войск, чтобы доложить нашему командованию о положении в Маутхаузене. Больше я ничего не знал о Лелякине, я даже ни разу толком не разговаривал с ним, как и он со мной.

Тем удивительнее кажется сейчас его добрые слова, с которыми он представляет меня своему коллеге, тоже инструктору лекционного бюро. И вот что еще удивительно: Лелякин говорит о Маутхаузене, о нашей борьбе в открытую и как-то злесед; ему, по-моему, даже доставляет удовольствие говорить об этом. Кроме того, насколько мне известно, он бывший пленный, но он работает в лекционном бюро, а это ведь тоже, как и театр, — ответственный участок, куда бывшие пленные не допускаются. Может быть, в Маутхаузене Лелякин, и правда, был уполномоченным какого-то нелегального коммунистического центра, офицером советской разведки? Но тогда почему он здесь, в лекционном бюро, а не Министерстве вооруженных сил?

Он поднимается из-за стола, и, высокий, с русыми кудряшками на голове, начинает прохаживаться по комнате. Рабочий день окончен, но Лелякин еще

не освободился: ему должны звонить по поводу лекции на предстоящий сезон из парка культуры и отдыха. Коллега Лелякина, плещивый старичок, тоже ждет телефонного звонка.

— Это было замечательно, — говорит Лелякин, обращаясь к старичку. — То, чего с таким трудом добились во Франции в тридцать пятом году, когда был создан народный фронт, у нас, в Маутхаузене, стало само собой разумеющимся. Вокруг коммунистов объединились и католики, и социал-демократы, и социалисты, и беспартийные. А иначе эсэсовцы перебили бы всех...

Светлые глаза Лелякина оживлены, зубы блестят, кудряшки на голове трясутся. Он прохаживается по комнате, и его кудряшки трясутся. Он уверенный, крепкий, и рядом с ним чувствуешь себя сложко.

Старичок, поговорив по телефону, надевает галоши и откладывается. Почти тут же раздается новый звонок.

— Да, это я, — отвечает Лелякин в трубку. — Приветствую, приветствую. Ну, если ваш план уже готов, подъеду я. Завтра нет. После завтра — пожалуйста. Как? — Лелякин собирает морщинки у глаз и рассыпается коротким, задорным смешком. — Есть! Договорились! Теперь вот какая просьба. Я хочу порекомендовать вам одного своего товарища. Да, молодой, культурный, интересный — плохого я не стал бы рекомендовать. Чтоб — и снова короткий мальчишеский смешок. — Вполне подойдет. Подкован, и морально устойчив, и все такое прочее. Я лично ручусь за него. Это уже много? Да, надо будет только нажать в отделе кадров. Ну, словом, человек одной со мной судьбы. Обязательно. Уповаю на ваш авторитет и пробную силу... и обаяние, конечно. А? Ха-ха! Договорились! Всего... — И Лелякин, храня улыбку в морщинках у глаз, опускает трубку на рычаг.

— Вот и все, — говорит он мне. — Завтра утром подъезжай в управление парка, найдешь там заведующую культотделом, скажешь, от меня.

Он берет с вешалки, здесь же, в комнате, шапку и пальто.

— Ты вечером чем занят? Едем ко мне. А то мы с тобой еще ни о чем не поговорили...

У Лелякина две небольшие комнаты. Живут втроем: он, жена и дочка лет девяти. Жена — кандидат исторических наук. Он тоже историк по образованию, они вместе учились в университете. Я сижу за столом у окна и вижу заснеженную, спокойную, тихую уличку — это Малая Якиманка. И в квартире тихо и спокойно. И жена Лелякина, миловидная женщина с крупными серыми глазами, вся какая-то тихая и спокойная: загромождий голос, размеренные движения, доброта во взгляде.

На столе дымящийся рассыпчатый картофель. Селедочка. Лелякин откупоривает поллитровку.

— Она, — кивает он на жену, — пока я был на госперевороте, принимала тут всех моих маутхаузенских друзей. Кто проезжал через Москву, все побывали у меня.

— Ты разве тоже был на проверке?

— А чем я лучше других? Такой же замарашка-пленяня... И Лелякин смеется по-своему: заливчым смешком.

— Ты член партии?

— Был и, надеюсь, буду, а пока нет. Хлопочу. Накапливаю материал. Я могу показать тебе целое дело, собрал, понимаешь, все, что было в газетах о Маутхаузене, в том числе материал о Карбышеве... Ну, за встречу!

Мы чокаемся и пьем.

Жена Лелякина приносит квашеную капусту с яблочками, огурчиками, грибами. Все собственного засола, и все очень аппетитно и вкусно.

— Как же тебе удается так жить? — спрашиваю я.
— Как так? — улыбается Лелякин.

— Ну, спокойно, хорошо. Вот ты, например, работавши в лекционном бюро, принимавши лагерных друзей и не боявшись.

— А чего бояться? — Лелякин протягивает руку к полке и снимает картонную папку-скоросшиватель. Вероятно, это и есть «дело». — Вот смотри! — И, раскрыв папку, он показывает газетную вырезку со знакомым разъяснением Верховного суда СССР относительно прав бывших военнопленных.

Эта статечка сверху. Она аккуратно подковота к другим газетным листкам. Все пронумеровано, датировано, есть даже описи документов.

— Неужели ты не знаешь, что творится? — говорю я. — Ведь это разъяснение — это же...

— Да, знаю! — перебивает меня Лелякин. — Все знаю. Знаю, что и из лекционного бюро меня скоро попрут, как не знать. Но я и другое знаю, все-таки я историк... Не может это долго продолжаться. Есть социалистическая, революционная законность, и попирать ее никому не дозволено. А кто попирет — ответит. Рано или поздно... Он смотрит на жену и, встретясь с ее взглядом, ласково усмехается. — Она у меня коммунист, и хотя я сейчас без партбилета, мы, как и были, единомышленники... Так что придет время, и все это понадобится: материала о Маутхаузене, разъяснение Верховного суда, факты нарушения наших прав как демобилизованных воинов. Я лично глубоко в это верю. Партия не потерпит долго такого, понимаешь, безобразия... Ну, давай по второй.

...Нет, ему, к сожалению, ничего не известно ни о Порогове, ни о Валерии. Живут где-то. Он уверен, что живут. Примуолки, конечно, попрятаны. Что до него, то он, Лелякин, не желает особенно молчать. Да, он будет стучаться во все двери — вплоть до политбюро. Его должны восстановить в партии. И всех честных ребят-коммунистов, бывших пленных, должны восстановить. И однажды должны наградить таких, как Порогов, Валерий, Иван Михеевич. А как же иначе? Нет, он не извергся, все-таки он историк-марксист. Сейчас на нашу жизнь наползла какая-то темная полоса, но она пройдет. Тут важно не изменить принципам. Коммунист, а значит, и человеком остаться важно...

— Еще по одной?

— Нет, мне хватит, — говорю я. — Спасибо за поддержку. Я этого тебе никогда не забуду.

— Ладно, будешь жениться — пригласишь на свадьбу. А? — И опять по-мальчишески смеется Лелякин, встряхивая кудряшками и любезно поглядывая на жену.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

У меня такое ощущение, что я наконец проснулся. И теперь по-настоящему. Все прояснилось, начиная от окружения, несомненно, было сном, дурным, страшным сном. И даже освобождение из Маутхаузена, даже выход из нашего лагеря, даже встреча с мамой, когда казалось, что вот я и проснулся, на самом деле тоже было сном, продолжением прежних снов, переходом в какую-то иную сферу — лишь иллюзией пробуждения.

Я наконец просыпаюсь, но просыпаюсь не тем, что я был. Я снова чувствую себя полноправным гражданином и человеком, я работую — у меня теперь интересная работа, — я обдумываю свои будущие записи о плене и самостоятельно готовлюсь в институт, и, однако, какой-то горький осадок лежит на дне души, точно выпавшая ядовитая роса от того уже рассеявшегося тумана снов...

— Почему у тебя разные глаза? — как-то спрашивала меня знакомая девушка Даша, смеясь и разглядывая побочнедо то один, то другой мой глаз.

Она первая замечает, что у меня стали разные по выражению глаза, — даже мама этого не замечала, может быть, полгода назад, когда я приезжал к ней, у меня были еще обычные глаза, во всяком случае, не разные, как у многих старых лагерников и фронтовиков, перенесших контузию.

— У тебя галлюцинация зрения, — очень серьезно говорю я Даше, хотя хорошо знаю, что она права. Я сам обратил внимание на то, что у меня на последней фотокарточке вышли разные глаза, и понял: прежнее прорезалось на моем лице. — Тебе кажется, Дащенка, — мягче прибавляю я.

Она сконфужена. Более доверчивого и непосредственного существа я еще не встречал.

Сейчас маиский вечер. Мы идем по парку. Даша работает в управлении парка в хорошую погоду обычно возвращается домой пешком — она живет где-то в конце Большой Калужской. Мы идем, пристанавливаемся, разговаривая, и опять идем.

В парке заканчиваются последние приготовления к летнему сезону: спешно докрашиваются скамейки и раковины эстрад, посыпаются толченым кирпичом дорожки, укрепляются стрелки-указатели. Скоро здесь будет много музыки, пестрой толкотни, веселой неразберихи. И различных лекций и встреч — наших мероприятий. Я, например, буду проводить литературные вечера: я инструктор по литературно-массовой работе...

— А получится у тебя это? — останавливаясь, спрашивает Даша.

— Думаю, что да. — Я догадываюсь, что она спрашивает насчет работы.

— Тебе все-таки страшновато. Правда?

— Правда.

— Но ты переборешь себя. Ты так думаешь,Правда?

— Правда. Откуда тебе известно, что я думаю? Она этого не знает. Она сама удивлена: я вижу удивление в ее темно-карих, позолоченных солнцем глазах.

И вдруг удивление исчезает. В глазах испуг.

— Опять показались разными...

— Какими же?

— Одни будто злой, а второй печальный, зернист, добрый и печальный. — Она открывает сумочку и торопливо сует мне зеркальце. — Погляди сам.

Я гляжу в зеркальце. Глаза как глаза.

— Да, — говорю я, — что-то есть.

На лице Даши вспыхивает радость: значит, никак у нее не галлюцинации. И в глазах радость и на губах — просто солнечно ясное. И вдруг солнцышко меркнет. Как это у нее все быстро!

— Я потом тебе расскажу, почему они разные, — опережая вопрос, говорю я. — Как-нибудь расскажу.

И вот уже интерес, а потом сразу нетерпение и уже легкая досада — я стою и смотрю, как смеются друг друга отражения разных чувств на ее круглышке-лице.

И странно, когда я смотрю на нее — вот и сейчас, а эту минуту, — мне кажется, что никакого горького осадка в моей душе нет...

И опять радость на ее лице. Опять проясняется солнышко.

— Подобрел тот, злой,— смеется она.— Идем!

У нее каштановые волосы, стройные, сильные ноги, а талия такая тонкая, что, наверно, мог бы обхватить ее пальцами: приставить впритык друг к другу большие пальцы, а остальными обнять талию кольцом. У меня иногда является желание это сделать. А вообще я не люблю разглядывать ее: я знаю, что она красива,— но что-то внутренне мешает мне разглядывать ее всю.

Мы проходим так называемую основную территорию и сворачиваем к набережной. Впереди нежно светится зелень Нескучного сада, справа огненной чешуйкой переливается гладь Москвы-реки.

— Ты, Даша, где была во время войны?

— В Москве, потом в эвакуации, а потом опять в Москве. Я работала водителем троллейбусов...

— Трудно было тебе?

— Конечно. Двери в машине не закрывались, штанги летели. Улас! Однажды раз чуть не спорла. Хорошо, не было пассажиров, и троллейбус влетел в сугроб. Я на киетверки работала, такой длинный был маршрут: от Красковского вокзала, через Ленинские горы до Сокольников...

Ей тоже было трудно. И я ловлю себя, что мне не хочется, чтобы Даша когда-нибудь было трудно. Я хочу, чтобы ей всегда было хорошо, чтобы всегда было солнечко в ее глазах, и я хочу смотреть на это солнечко и любоваться им всегда.

Теперь смущение на ее лице.

— Ты опять догадалась, о чем я думаю?

— Да.

— Я знаю, что ты об этом догадалась. Скажи...

— Сам скажи. Или лучше не говори, если не хочешь.

Но скажу, думаю я. Пока ни за что не скажу.

Мы познакомились с месяц назад, и с той минуты, как я увидел ее, я почтывал, что не смогу вести себя с ней так, как я вел себя до сих пор с другими девушками, и это было почему-то очень радостно.

Может быть, я и проснулся потому, что увидел ее? А может, это новый сон? И если это сон, я больше не хочу пробуждаться.

— Ты ведь еще так мало знаешь меня, Даша.

— Да,— отвечает она печально,— почти совсем не знаю.

— Но ты все узнаешь, все.

— Узнаю,— говорит она.

2

И это тоже — желание рассказать Даше о себе, и все возвращающаяся, почти физическая потребность выпложить на бумагу то, что еще давят душу, и особенно, наверное, наивная и твердая уверенность Леляхина, что собираемые им документы и свидетельства помогут восстановить справедливость — все это шаг за шагом подводит меня к тому, что одним ранним июньским утром я кладу перед собой толстую тетрадь и остро отточенным карандашом пишу на первой странице крупным заголовком: «Записки из небыли».

Да, я проснулся и больше не хочу закрывать глаза на то, что было и что есть; я буду рассказывать о пережитом: ведь то, что перенесли, пережили миллионы соплеменников; пусть все узнают, что советские люди не переставали быть советскими людьми и за глухими стенами фашистских концлагерей. Помочь народу узнать правду — вот моя цель. Так я буду отстаивать человеческие и гражданские права своих то-

варищей и даже, может быть, окажусь полезен партии, которая не должна — не должна! — терпеть нарушения законности в нашей стране.

Гордые мысли и нескромные, наверное. Пусть. Когда я уходил на войну, у меня были тоже гордые мысли: помочь народу разгромить фашизм, отстоять свое великое право называться свободным гражданином свободной страны...

И я пишу. Каждое утро — с восьми до одиннадцати. Я снимаю угол у глухонемой старушки на улице Горького, здесь мне очень удобно, тихо, и соседи такие люди; они принимают меня за студента.

С двенадцати и до десяти вечера я в парке, потом встречаюсь с Дашей, а в восемь часов утра я снова сажусь за свою тетрадь.

Как-то в выходной день я с Дашей еду на Большую Почтовую. Там живет художник Логинов — единственный из знакомых маутхаузенцев-москвичей, которого я еще не навестил. Мы не застаем его дома, и я оставляю записку со своим адресом.

На следующее утро Логинов сам приезжает ко мне. Я вижу цветущего мужчину и совершенно не узнаю в нем того, прежнего Логинова, доходягу, которого доктор Саша Григорьевский «поженил» из газового автобуса-душегубки, когда эсэсовцы проводили в лагерном лазерете очередную «ислекцию».

У Логинова чисто выбритое загорелое лицо. Он одет в спортивного покроя лиджак, шелковую тенниску, сандалии. Он слегка нахмеле. Откуда Жора взял, что Логинов удрочен? Наоборот!

— Я не помешал тебе! — Он кивает на мою тетрадь. — Это и есть твой «Записки»? Мне давеча Леляхин рассказал, что ты пишешь. Ну что ж, дело хорошее — пиши. Однако имей в виду, о плене не напечатают ни слова. Табу.

— А я пока не думал о напечатании.

— Не думашь — это уже хорошо. Я немного знаком с Всеволодом Вишневским, можно было бы показать ему... А черт его знает, может, и напечатают кое-что! Важно найти приемлемый ракурс — угол зрения. Впрочем, не слушая меня, плоня на все ракурсы и катай, как душа просит...

Всеволод Эмильевич Мейерхольд, покойник, уж какой великий был мастер, какие ракурсы, какое своеобразное прочтение — и ведь погорел старик. Я немного знаю его — энциклопедист и огненный темперамент. Крайне редкое сочетание в одном художнике. Лед и пламень, как сказал поэт...

Доходяга, думаю я, Худуций, злой начальник штаба обороны лагерного лазерета... Я помню, как 5 мая 1945 года он приходил к Порогозу в бывший кабинет Цириса. Злой, запыленный, с автоматом через плечо.

— И не в повероте темы, а в самой сути, в самой постановке вопроса... Хорошо, что это не твой хлеб. И семьи у тебя пока нет — тоже хорошо. А то не напечатали — и нечем детишкам кормить. И я хотел бы так, для души. Например, как людей гонят в крематорий или — узник рвет колючую проволоку. И, однако, малюсенькие плакаты по заказу пожарников, стенды там всякие. А то, что в партии не восстанавливают, разве кому-нибудь есть до этого дела?

И тут я вижу боли в глазах Логинова.

— Но ты не трусь,— продолжает он.— Пиши. Хочешь, я тебе помогу? Впрочем, нет. Ты и не хочешь, и не надо тебе этого. Потому что, кроме внешней правды, ты должен показать еще правду внутреннюю, психологическую, так сказать, и тебе придется постоянно заглядывать в себя: посторонний глаз тут будет только помехой. Так что катай и не оглядывайся ни на кого. А не напечатают — не тужи. Я посоветовал бы каждому из наших ребят писать

воспоминания, хотя их и не напечатают. Знаешь, почему писать? Есть такой термин — катарзис, что означает — очищение. Пиши — и очистишься от кошмаров. Они выйдут наружу вместе с чернилами на концах пера... Я помешал тебе, ты извини. Я сейчас на работу в свой комбинат. А насчет Всеволода Бишинского ты все-таки подумай.

Логгинов смотрит на часы и поднимается. Что мне сказать ему? Табу, ракурс, Мейхерольд — ничего этого я не знаю. Я знаю теперь лишь то, что Жора сказал правду: Логгинов сильно удручен. Он бывший мой товарищ по Маутхаузену. Значит, работая над своим «Записканием», я буду трудиться и для него.

— Спасибо, Вита, — говорит он. — Очищение — это я понял.

— Ну вот, — радуется он. — Старик Архистотель тоже был не дурак.

3

Парк потускнел и грустный какой-то кажется: видимо, потому, что на дворе август, последний месяц сезона — последний месяц моей работы здесь; потом мне предстоит новые поиски работы и, вероятно, новые мъягтства. Еще крутятся карусели, крутится колесо обозрения, громыхают и хохочут перед кривыми зеркалами в комнатах смеха, но это уже похоже на балясы и навесы. Усталые массовники, наверное, в тысячный раз предлагают взяться за руки и встать в круг: «И раз, два, три...» На центральной эстраде сутуляются фигуры музыкантов, на скамейках — три старушки.

И только в зеленом лектории сегодня, как и в начале лета, многолюдно. Студенты, рабочая молодежь, пенсионеры, две девушки в очках долго аплодируют профессору Семенову, критику, специалисту по советской литературе. Он, правда, выступает эдаково: у него свои, часто неожиданные и не совпадающие с газетными рецензиями оценки книг, и говорит он смело и без всяких шпаргалок.

Я, по обычью, благодарю профессора от имени слушателей, объявляю об окончании лекции и иду вместе с ним в комнатку за сценой, чтобы отметить путевку. Лекторы, как правило, очень спешат, но профессор Семенов не спешит. Взял путевку, он дружелюбно поглядывает на меня и вдруг спрашивает:

— Вы ничего не пишете?

— Я удивлен.

— Откуда вы знаете?

— А у меня наметанный глаз, я с молодежью разбатаю. Пишите, — уже уверительно говорит он.

— Пишу, — сознаюсь я.

— Приходите почтиться... Завтра, часов в десять утра. Удобно зам?

— Очень удобно. Обязательно, — бормочу я, чувствуя, как перетворачивается мое сердце.

Он называет свой адрес и, невинно улыбающийся, выходит из комнатки лектория.

Утром в половине десятого, прихватив с собой толстую тетрадь, я отправляюсь на Тверской бульвар. Я сразу нахожу дом № 25, но в этом доме Литературный институт. Кех же так? Другого дома № 25 на Тверском бульваре нет, и, поклонившись, я вхожу в зеленый дворик. Я решаю на всякий случай спрашивать о профессоре Семенове у вахтера. К моему удивлению, вахтер посыпает меня вверх по лестнице. Еще раз спрашиваю в коридоре у уборщицы. Она показывает мне на оббитую кожей дверь.

Профессор, любезно улыбаясь, протягивает мне руку и просит садиться. Я сажусь в небольшое чер-

ное кресло и мельком оглядываю комнату. Она тоже небольшая, и письменный стол небольшой — что-то не похоже на служебный кабинет. И все-таки кабинет: на столе телефон и стаканчик с разноцветными карандашами. Кто же он по должности, профессор Семенов?

— Читайте, — говорит он.

— Прямо так и читать?

— Прямо, — улыбается он.

У него интересное лицо, теперь я лучше вижу его. Кажется, что он все время улыбается. Я встречаю такие лица: улыбка на них — в мелких морщинках, в приподнятых уголках рта, словно какой-то оборонительный щит. Что только не делает жизнь с людьми! Человек часто улыбается — весело, любезно, — и вот образовались такие морщинки, и кажется, будто он все время улыбается: он сервирован или пакован, а на лице улыбается; он сердит, ему совсем не весело, а лицо улыбается.

Я читаю минут десять, потом взглядаю на профессора: не скучно ли ему? Глаза его строги, а улыбки рта приподняты — улыбается.

— Читайте, читайте.

Еще минут пятнадцать читаю и опять взглядаю на профессора: не скучно ли ему? Глаза его строги, а улыбки еще более строги, а морщинки лучатся в улыбке.

— Читайте, читайте.

Тогда я набираюсь духа и читаю, наверное, с пол-чаша краю. И еще раз взглядаю на профессора и dochitaю до последней страницы.

— Все, — говорю я.

Он молчит.

А мне не терпится знать, выходит ли у меня что-нибудь; за тем я пришел к профессору, и оттого что у меня вчера дрогнуло сердце — удастся ли мне все передать так, чтобы и другой увидел и почувствовал то же, что и я.

И улыбки, кажется, больше нет на лице профессора: плохо, наверное.

— Хотите учиться в нашем институте? — помолчав еще немножко, спрашивает он.

— В Литературном?

— Да, в нашем Литературном институте.

— Но... я слышал, у вас учатся начинающие поэты и писатели, они однажды выступали в парке, я знаю...

— Хотите ли?

— Очень хочу!

— Так вот, — говорит профессор и встает, и сноза вижу его улыбку, но настоящую улыбку, — я рад, что не ошибся и не ошибился: те, кто рекомендовал мне вас, вы можете считать себя студентом нашего института.

— Но я пленный... — тихо говорю я.

— Понимаю, все понимаю. А где это, между прочим, записано, что бывший пленный не должен учиться в Литературном институте?.. Я рад за вас, то, что вы прочитали, просто эдаково. Поздравляю!

И я уже ощущаю в своей руке руку большую, мягкую, но крепко пожимающую мои пальцы руки. И уже откатываются куда-то вглубь мои тревоги и мои сомнения... может быть, всего на минуту! На день? Или на час? Не знаю.

А пока торжество.

ЭПИЛОГ

И было еще многое. Летело, а иногда ползло время, радости сменялись разочарованиями, небольшие победы — провалами. Были еще и косые взгляды и незаслуженные оскорблении, и былья Даши — огромное, почти неправдоподобное сча-

стье, и омрачившая его вскоре горечь нужды, скитание по чужим углам, унижения и надежды — было все. Но при этом теперь еще постоянно был труд, без раздыха, без остановки, горячий, истовый, сладкий труд. Он скрашивал многое. Я никому не верил, что он напрасен. Я учился, работал, жил своей задачей, словом, делился собой и своим товарищем.

И вот через года пришло это...

Сперва было так. Было серенько, будничное мартаовское утро. В соседней комнате вдруг громко заговорило радио, и мы с Дашей услышали слово «умер». Рядом с другим произнесенным словом, «Сталин», это «умер» казалось чем-то противовесственным, кощунственным, хотя вот уже несколько дней люди жили в предчувствии того, что случилось теперь. Я быстро оделся и вышел на улицу. Первый человек, кого я увидел, была дворничиха тетя Груша — она несла свой широкий жестяной сундук с мусором и плакала, она плакала по-взрослому, с плотно сомкнутыми губами, вокруг которых скорбно легли тонкие прорези морщинок. Затем я увидел тучного полковника на протезе, полковник торопился, хромал, у него были набранные от слез, порозовевшие щеки. И еще один, судя по спецовке, рабочий, шел с троттажной хозяйственной сумкой по направлению к булочке и то и дело дотрагивался согнутым темным пальцем до своих щек. И не знаю, почему, я вдруг почувствовал гордость за этих людей; у меня было тяжело на душе, было тяжело еще до того, как громко заговорило радио, и вдруг гордость, а затем ответившее ощущение — какие же мы все, по сути, родные, какие в час испытаний единые, и вот в чем, наверно, наша самая большая сила!..

Нужно было время, чтобы разобраться в том, отчего так много разных, в том числе обиженных, даже обездоленных Сталинистов людей плакали тогда. Может быть, остро тревожились за судьбу дела, к которому вопреки всему приросла душой и которое он, Сталин, по своему положению в партии и государстве должен был возглавлять? Или прощались с прошлым, со своей молодостью, где было столько труда, терпения, подвига и там мало сбывающихся сроку надежд? Тогда я не мог ответить на эти вопросы, да, по совести, они в ту пору и не очень занимали меня.

Я не находил себе места в тот день. Мне было как-то особенно тяжело, я сам удивлялся, почему мне особенно тяжело, именно мне. Я еще не знал, что в тот же день, 5 марта 1953 года, скончалась мама. Она скончалась тихо, без муки, она прислала после обеда отдохнуть, и сестра, обряжающаяся на кухне, услышала только ее глубокий вздох и услышала, как мягко струнулась о пол книга, выскоцившая из наружных маминых рук...

Потом был декабрь, гудящий потоком автомашин Садовое кольцо и развернутый газетный лист на заборе. Я попридержал отклеившийся от доски, загибавшийся сверху уголок, когда взгляд мой упал на последнюю строку официального сообщения: «Приговор приведен в исполнение». Как всегда, резануло от этих слов. А через минуту я представил себе на председательском месте за столом военного трибунала одного из самых ужаснейших народом полководцев и того, матерого, с гадючими губами и леденисто поблескивающим пенсне — за барьером, на скамье подсудимых... Я после ходил пыльны от радости. У меня была еще одна причина пыльны от радости: изательство согласилось подписать со мной договор, и я уже винил у себя в руках ту первую, пересеченную по обложке колючей проволокой книгу — записки о фашистском концлагере.

Но и тогда я еще не совсем понимал связь между сумрачным утром 5 марта, этим гудящим декабрьским позднем и своей, как мне казалось, внезапной литературной удачей...

И, наконец, был сверкающий снег на Тверском бульваре. Было солнце, ослепительное, идущее с неба и с земли солнце. Было ощущение близкой, всегда возвращающейся весны — этот влажный, чуть пресноватый запах тронутого первым теплом снега. Мой друг из института, коммунист, чрезвычайно взволнованный, рассказывал мне о заключительном заседании XX съезда. Голос моего друга вздрогивал, он хмурился, он пытался быть мужественным. Я тоже был взволнован, но не так, как он: я злился на себя за то, что мне хотелось встать по-среди сверкающих сугробов и тихо рассмеяться, — это было несурзаное, непонятное и, назорно, дикое желание. А может, и не такое уж несурзаное! Вероятно, то же бывает с верующим человеком, когда в одно прекрасное утро его озарят, что Бога нет и не было, — как бы он, человек, прежде этого не понимал! И он, наверно, злится на себя за свое желание тихо, с облегчением рассмеяться — желание, впрочем, недолгое, уступающее место иным чувствам и новым, серьезным раздумьям...

Мы тогда разошлись во мнениях с моим другом. Тот опирался всевозможными осложнениями, непредвиденными трудностями. Я же, к моему счастью, не столько уразумел, сколько сразу почул сердцем, что вот она и вернулась долгожданная правда, бессмертная ленинская правда, источник еще более значительных и радостных перемен в нашей общей, а значит, и моей личной судьбе.

Сейчас поздний вечер, в доме тишина. Я люблю, разогнувшись спину после работы, постоять перед фотографией, висящей над моим столом.

Тут они в обнимку все: Валерий Захаров, Иван Михеевич, Портог, Юрий Архаров, Покатило, Константин, Лелякин... У них прибавилось морщин, ребята постарели, но улыбаются, счастливы. Еще бы! Под фотографией надпись: «Москва, 1957» — это место и время нашего второго рождения.

Все сбылось! Награждены боевыми орденами смелые, восстановлены в партии коммунисты, офицеры возвращены военные звания, реабилитированы невинно осужденные...

Чистый, крепкий ветер проносится над нашей землей. Он разгоняет тяжкий дух недоверия, дух несправедливости. Он сметает всхеский хлам и всякие темные заряды с нашей дороги, прясняет горизонт и делая четко зримым тот мир, имя которому Коммунизм.

И чудится мне: я слышу, как поскрипывает, качаясь на ветру, обрывок колючей проволоки там, где когда-то была комендантская «Почтовая». И чудится: я вижу, как прячутся, цепляясь за пеньки, те, кому не любят этот ветер. И чудится: я вижу, как встает новый день, новый мир, без разбойничьих войн и концентрационных лагерей.

Теперь мне порой кажется, что я живу какую-то седьмую жизнь. Мне кажется, что эта жизнь не кончится никогда. Она и правда не кончится: за стеной в другой комнате спокойно спят мои дети, здесь на полке в шкафу стоят мои книги; на улице за окном отдахи в ночи — большая и милая моему сердцу земля — моя Родина.



Национальная гордость

(К 200-летию Эрмитажа)

В 1720 году, после долгих странствий по рекам и по суше, в специальном «каретном» стакне на пружинах прибыла в Петербург прекраснейшая статуя Венеры, греческой богини любви и красоты. В Летнем саду по этому случаю Петр I приказал устроить праздник. Для охраны статуи велено было поставить подле нее гренадера.

Долго еще говорили в Европе об этом уникальном приобретении. Юрий Колотриков, посланный Петром за границу, чтобы следить за обучением там русских художников, разъезжал по Италии, по местам, где производились раскопки, и наконец в Риме посчастливилось ему разыскать мраморную Венеру, из уступающую «никакому в Риме украшению, и, чаятельно, по всей Европе не найдется другой статуи, ей подобной», как доносил он об этом в Петербург. Однако не так-то просто было вывезти из Рима прекрасную скульптуру греческого ваятеля. Губернатор Фальконери отдал приказ об аресте мраморной Венеры и даже приказал заточить в тюрьму скульптора Легри, которому Колотриков доверил реставрацию статуи. Вокруг языческой богини любви разгорелась настоящая дипломатическая борьба. Савва Рагузинский выехал в Рим, где по повелению Петра вел долгие и бесплодные переговоры с папой, губернатором и кардиналами. И только хитрый дипломатический ход Рагузинского решил судьбу Венеры. В обмен на статую дрезденской богини он предложил захваченные в Ревеле в числе других военных трофеев мощи святой Бригитты. Это были святыни католической церкви, и оказавшийся в безвыходном положении папа Климент XI не мог предпочесть языческую богиню христианской святой. Он уступил, нарушив тем самым закон, воспрещавший вызывать произведения древности из Рима.

Чарующая своей вечно юной красотой мраморная богиня, получившая название Венеры Таврической, была одним из первых произведений, положивших начало коллекции, которая называется эрмитажной. «Эрмитаж» — французское слово. Оно означает «удединенный уголок», «приют отшельника». Такие «эрмитажи» по образцу Версаля — дворца французских

королей — имелись во всех дворцах, садах и парках XVIII века. Эти помещения предназначались для отдыха и увеселений титулованных особ интимном кругу. Очень часто «эрмитажи» заполнялись большим количеством различных произведений искусства.

В особых комнатах Зимнего дворца императрица Екатерина II устраивает свой «эрмитаж». В новую российскую столицу еще в начале XVIII века стали прибывать картины западных мастеров, особенно голландских, которых любил Петр I. Во время своих приездов в Амстердам он не забывал заходить в мастерские художников, где любовался искусством изображением моря, кораблей и сцен из жизни «голландских мужиков и баб». История собирательства коллекций Эрмитажа, начавшаяся в петровскую эпоху, сопутствует истории молодого российского государства, начинавшего играть все более значительную роль на европейской арене. Художественные сокровища, скатывающиеся в Петербург, способствуют блеску и славе новой столицы на Неве, свидетельствуют о благатстве казны и мощи дворянской империи, а русский императорский двор ни в чем не хочет теперь уступать европейским. В зале английской живописи Эрмитажа висит огромное полотно знаменитого английского художника Рейнольдса. Екатерина заказала ему картину на сюжет по его собственному выбору, и Рейнольдс изобразил младенца Геркулеса, удручающего змей, — аллегорию юной, но уже могучей России.

Однако датой основания Эрмитажа принято считать 1764 год, когда в Петербург прибыла первая крупная партия картин западноевропейских художников. Русским послам при иностранных дворах и агентам в европейских столицах Екатерина II поручила разыскивать и покупать для императорского Эрмитажа произведения ваяния и живописи, «особенного уважения заслуживающие».

Вслед за первой партией в русскую столицу прибывают драгоценные произведения старых мастеров из Амстердама, Лондона, Дрездена, Женевы, Парижа. В 1772 году в семнадцати деревянных ящиках прибыл в Кронштадт из судне «Ласточка» драгоцен-

ный груз. Он шел из Франции; его отправителем был знаменитый философ Дени Дидро, страстный любитель искусства. Это он закупил для русской императрицы картины из знаменитой коллекции Жозефа-Антуана Кроза и барона де Тьера. Так вечно посыпались в Эрмитаж «Даная» и «Святое семейство» Рембрандта, «Мадонна с безбородым Иосифом» Рафазеля и «Юдифь» Джорджоне, «Портрет камеристки» Рубенса, «Даная» Гиццани и портреты Ван-Дейка.

«Эрмитажные павильоны» уже не может вместить эти коллекции, и архитектор Фельтен присоединяет к нему новое трехэтажное здание. В 1788 году архитектор Кваренги возводит еще одно примыкающее к Эрмитажу здание. Оно предназначается для лоджий — галерей с аркадами,— до малейших подробностей воспроизводивших галерею в Ватиканском дворце, расписанную великим Рафазелем и его учениками.

Росписи эти представляли собой 52 фрески на библейские и мифологические сюжеты. Агент Екатерины II в Риме Рейфенштейн получает распоряжение подыскать художников, которые сняли бы копии с этих фресок. Всесы лет работают под сводами Ватиканской галереи Унтербергер и его коллеги, а в Петербург на протяжении этих лет прибывают свернутые в рулоны полотна с копиями рафазелевского творения.

Эрмитаж, в который собирали античные вазы и статуи, голландские пейзажи, «исторические» композиции французов и итальянцев на религиозные или мифологические темы, неотделим от русской истории и русской культуры.

После победы России в Отечественной войне 1812 года в Петербург приезжает английский художник Джордж Дау — ему поручено написать портреты полководцев, участников военной кампании. Дау и его помощники — русские мастера А. Поляков и В. Голиков — создали единственные в своем роде живописные памятники русской славы и доблести.

В декабре 1825 года из Эрмитажа был убран портрет Сергея Волконского, участника восстания декабристов, сосланного Николаем I в Сибирь.

Николай I — коронованный жандарм и душителя свободомыслия — изгнал из Эрмитажа мраморного Вольтера работы французского скульптора Гудона, принятые большинством французских энциклопедистов.

Художественные сокровища, скапливавшиеся в Эрмитаже, долго теснились в хаотическом беспорядке. И лишь в середине XIX века строится новое грандиозное здание, с двух сторон охватывающее старый екатерининский Эрмитаж. Со всей России для его отделки свезли драгоценные материалы: гранит и мрамор, яшму и малахит, порфир и лазурит. Сокровища старого Эрмитажа и многие произведения искусства, ранее находившиеся в Таврическом, Царскосельском и других дворцах, разместились в новых залах, отделанных со скажочной роскошью.

В год открытия нового Эрмитажа (1852) коллекцию антиков и искусства Западной Европы пополнили древности Боспора Киммерийского, добытые археологами в кургане Куль-Оба. Сокровища этого кургана, где найден был склеп с останками скіфского царя, похороненного в золотом вооружении вместе с женой, конюхом и боевым конем, составляют и поныне гордость эрмитажного собрания.

«Всем этим любуются мыши и я...» — писала некогда Екатерина в письме к барону Гримму. Толь-

ко с высочайшего соизволения императрицы можно было увидеть сокровища, прятавшиеся в стенах царского дворца.

В 1852 году Николай I торжественно отметил открытие «Императорского Музея» — первого в России художественного музея. Но хотя художественная коллекция выделена была из общую «музейную половину», Эрмитаж-музей остался продолжением царских апартаментов. В музейных залах среди произведений искусства неоднократно устраивались различные придворные празднества и веселования, что было вредно картинам, требующим бережной заботы, специальных условий, сохраняющих им жизнь. Хотя музей стал называться «доступным для публики», все же существовали строгие «оградительные правила», печаталось очень ограниченное число билетов: с целью «избежать большого числа посетителей», как писал хранитель собраний. Например, студент Училища живописи и ваяния Василий Перов, будущий выдающийся художник-передвижник, чтобы попасть в Эрмитаж, должен был написать прошение: «Имею надобность сделать копии с некоторых картин, находящихся в вверенном Вам 2-ому отделению императорского Эрмитажа, а потому покорнейше прошу Ваше превосходительство приказать выдать мне билет для входа и колпака».

В жизни русской художественной интеллигенции Эрмитаж был важнейшей школой мастерства. Венцианов и Федотов, Крамской и Репин, Нестеров и Кустодиев учились здесь на великих образцах. Севрюков говорил, что никакие учителя рисования не дали ему столько, сколько посещения Эрмитажа.

...«Петербургский Эрмитаж» (по мере моего знакомства с европейскими музеями) все растет в моих глазах, такие в нем превосходные образцы почти всех лучших мастеров. И что замечательно, — почти отсутствует тот вечный хлам, который, как сорная трава, заполонил и запакостил собою почти все европейские музеи», — писал Репин из своих заграничных путешествий.

Только в конце XIX и начале XX века под воздействием прогрессивных демократических слоев русского общества доступ в музей был облегчен, постепенно отменены николаевские «оградительные правила».

Трудно представить сейчас, что было пустынно и тихо в залах, где висят «Мадонна Анны» Леонардо и «Блудный сын» Рембрандта. Более полутора миллионов посетителей в год проходит выше через Эрмитаж. Вся бывшая царская резиденция — дворец, в котором более тысячи помещений, — отдана в распоряжение музея. Его по праву можно назвать гигантской книгой — энциклопедией истории культуры и искусства человечества. Первая «страница» ее рассказывает о памятниках, которым 500—300 тысяч лет; последняя «пописывается» сегодняшним днем: это работы мастеров XX века, это работы наших современников. И многие из них — Рокулл Кент, Ренато Гуттузо — приносят свои произведения в дар прославленному собранию. Страницы этой книги «расшифровываются» для нас научные сотрудники Эрмитажа. История Эрмитажа — это история приобщения к «тайкам искусств» миллионов людей.

Эрмитаж — первое, что стремится увидеть приезжающий в Ленинград. Это наше общее богатство и радость для всех нас. Поэтому праздник его двухсотлетия — праздник каждого.



R i m m a K a z a k o v a

Рыбалка

Монолог перед воскресной
поездкой на Уссури

Ты бы не взял с собой меня,
Петрович?
Я знаю, не обидишь не тронешь.
А что болтает по углам бабье,
поверь мне,— это дело не мое.
Возьми меня с собою на рыбалку.
Мне все равно, что там одни ребята.
И от соленой шутки не скбгу
И выпить за компанию могу.
Я понимаю ясно и жестоко,
что все-таки не знаю я Востока,
что в чем-то против истинки грешу,
и оттого тревожусь и грущу.
Ну, съездила недавно я в Приморье.
Там хорошо: и море, и приволье,
и сонки, и закат красней коралла.
А думается трудно и коряво.
И нечего мне взять у тех красот.
Какой-то неразгаданный кроссворд!
Еще — опять в тревоге и в заботе —
Я побывала на одном заводе.
Пылали печи, грохотала жесть...
А все, что написала, надо скжечь.
Так в чем же дело?

В чем же,
в чем же дело?!

Об этом ношенно думаю и денно.
Но ты меня поспешно не суди.
Возьми с собою. В лодку посади.

Я быстро соберусь. Скажи ребятам.
Я чувствую, разгадка где-то рядом.
Давно бы мне — ведь я же не у чужих! —
надеть штаны, мальчишесью рубаху и робко попроситься на рыбалку.
А ты бы взял. Такой уж ты мужик.
Я это вижу: облака в истоме, и солнце поднимается в зенит, и вся река, как кремень на изломе, ребристыми чешуйками звенит.
Я знаю я, смотря по сторонам, что все, что есть во всех возможных видах, есть только потому, что нужно нам, необходимо нам, как вдох и выдох.
Потом — дымка лохматая косица, потом уха, навариста, kostиста.
В ней столько соли, перца и огня!
В ней что-то, в чем заговдка у меня.
Я слушаю ее веселый клекот.
Я словно бы вернулась издалека.
Я буду петь, молчать, хлебать уху.
Я все тебе скажу, как на духу.
А воздух чист, как ядрышко орешка.
А говорим со смыслом, не спеша.
И до кости обнажена безгрешно мужская удловатая луша...

**

Мои учителя-поэты,
вы больше все-таки солдаты.
Вот ты, серьезный, бородатый,
с лицом помятым, где пометы
последней танковой атаки,—
ты самый мой любимый друг!
Все жду,
что спросишь,
спросишь вдруг:
— А так ли ты живешь, а? Так ли?..
Не спросишь, как я там рифмую,
завидую или ревную
и чем успех обиден мне.
Нет. Скажешь тихо, даже робко,
что слова Невской Дубровка
тебе мерещится во сне.
Что рана беспокоят снов...
— Из Вологды совсем больного
земляя, спасибо, доволок...
И тут же, вроде виновато:
— С кормами, Римка, плоховоато!

А председатель там — телок.
Нужны корма, нужна резина...
Ах, вологодчина, разини!
Ах, вологодчина, Россия...
Я слушаю тебя, мой друг,
и так мне трудно,
так мне трудно,
как будто камни тру и тру я,
чтоб высечь искорку огня,—
и не выходит у меня,
но мой неандертальский труд
в конце концов запалит трут.
И я пойму и я увижу,
как я невесело завишу
от скучной, мелкой чепухи.
А где-то,
может быть, в деревне,
светло, как листья на деревьях,
уже рождаются стихи...
Большие, честные стихи.
Нужные чын-нибудь стихи.

В сорок втором

...В сорок втором ходил к нам
интендант —
наук каких-то хитрых кандидат.
За мамой он ухаживал упрямо.
Не поддавалась почему-то мама.
Но потому, что папа воевал,
хотя уж это что-нибудь да значит!
Все обстояло здесь совсем иначе:
отец тогда не болибо б горевал —
была на фронте у него жена,
а если говорить грубей в проще,
там, на войне, с ним женщина жила,
а нам он деньги посыпал по почте,
Мать знала. Донесла-таки молва!
А молодость
жестоко
проходила.
И как тут быть?
Что мать моя могла?
Она обиду молча проглотила.
Работала. Все научились делать.
Сажала огород, капусту квасила...
Не плакала. И даже губы красила.
Лишь в зеркальце чуть пристальной
глаздела...

А интендант был добр, как
дед-мороз,
он приходил, пакетами увшанный,
но мать ему решительно и вежливо
внушала:

— Николай Иваныч, бросы...
Он чай поспешно ложечкой студил.
Он уходил, пакеты взяв неловко...
В том городе, в тот долгий год
нелегкий,
никто бы мать мою не осудил.
Двух детей испросто поднимать.
И так испросто понимать при этом,
что в чем-то главном,
в самом главном
предан!

Куда пойдешь?
На что решиться, мать?
Такая неустроенность...
палаточность...
Но оставалась мать сама собой.
...О женская прекрасная
порядочность
и честность ради честности самой!

Сыну вместо колыбельной

За окном метели охают.
Замело все пути.
Спит Егорка, мальчик крохотный,
мальчик сказочный почти,
Все-то песни перепела я,
стала маленькой сама,
Ах, какая нынче белая,
белая зима!

Сын, покуда в пестром ситчике
не проснутся поля.
Ты умеешь спать классически —
как февральская земля!

Спи, как спит трава безгрешная.
Спи. Твой сон — твоя игра.
Ах, какая нынче снежная,
снежная пора!

Спи, мой сын... Мы все остались
там —
хоть частичкой себя,—
в той стране, где белым аистом
начинается судьба.
Детство, детство — песня долая,
от утра и до утра...
Ах какая нынче добрая,
добрая пора!

**

О, жажда детская учиться —
зубрить стихи, решать примеры...
И верить в это, как в приметы
того, что
что-то вдруг случится!
Как можно чем-то пробавляться,
пустым, незначимым, невечным,
когда все рвется — прибавляться,
как в половодье — влага в речке...

Выходят в люди поколения,
Выходят в города деревни.

И на ветвях рогов оленых
побеги, будто на деревьях.

И кавля камень точит, точит...
И почка, каменная почка,
висит на веточек мешком,
как парашют перед прыжком.

А я опять во сне летаю, . . .
смеясь, когтеты улетаю,
хватая факты на лету...
Пускай я еще расти!!





— Большие годы я работал над этой скульптурой,— рассказывает Натаан Исаевич,— и события, которые еще недавно туманились в прошлом, будто приближались. Сегодня, когда портрет закончен, мне даже кажется, что я снова пережил романтические двадцатый год, когда произошел случай, казалось бы, необъяснимый: тридцатилетний художник без титулов и званий первым получил право создать портрет Владимира Ильича.

Объяснение следует искать в характерной атмосфере первых лет революции,— продолжает Натаан Исаевич.

Он ведет рассказ издалека, вспоминая, задерживая внимание не только на главном. Может быть, поэтому вы начинаете улавливать особое дыхание того времени...

Последние годы первой мировой войны Альтман работал в Петрограде, на заводе Щетинина, где строили гидросамолеты. Альтман выполнял обязанности чертежника, потом стал художником-конструктором. Рабочие завода были на стороне большевиков, со многими Альтман дружил. Октябрьская революция застала Альтмана в Крыму, где он проводил отпуск. Известие о пролетарской революции принес восторженное и, не дожидаясь конца отпуска, вернулся в Петроград. И все же, как и многие русские интеллигенты, художник не понял масштаба и значения событий. Альтман решил: настало самое подходящее время осуществить давнишнее намерение — устроить персональную выставку в Нью-Йорке. Выполнить такое решение оказалось не просто. Настойчивость помогла. Картины были собраны и упакованы. Новенький заграничный паспорт и проездной билет лежали в бумажнике. Но именно в этот момент к Альтману пришел странного вида человек: небольшого роста, с торчащими, чуть седеющими волосами. То было недавно вернувшийся из родину из Парижа живописец Давид Штеренберг.

Несколько лет назад Альтман и Штеренберг жили в Париже, в одном доме — многоугольном сооружении, напоминавшем провинциальный цирк. Парижане называют этот дом «Улемом искусства». Он и сегодня служит прибежищем для начинающих художников.

В 1914 году мастерскую Штеренberга посетил Луначарский. «Я отмечало не столько богатство искусства Штеренберга, сколько необычно быстрые успехи, которые он делает... и более всего его уверенный вкус», — писал после этого посещения Луначарский в своей корреспонденции для газеты «Киевская мысль».

Теперь Штеренберг пришел к Альтману по эстреному поводу. При Комиссарнате народного просвещения начинали создавать отдел изобразительных искусств, и вар-

Живописца и декоратора, скульптора и рисовальщика Натаана Альтмана я знаю несколько десятилетий. С Натааном Исаевичем Альтманом знаком несколько дней. Очень рад, что могу написать: старость обходит художника стороной. Он сохранил веселый задор, остроту восприятия, живость молодости. А семьдесят пять прожитых лет сказались в мудрой зрелости мастерства, в голубоватой седине непоредевших волос.

На него рабочем становке — недавно законченный скульптурный портрет Владимира Ильича, результат трудного пути длиной в сорок четыре года. Искусствоведы еще скажут вдумчивые слова об этой скульптуре, которая, без сомнения, останется в истории советской пластики. Передо мной другая задача — записать рассказ о первых днях этого пути. Начинался он в кабинете Ленина, где Натаан Альтман провел у такого же, как и сегодня, стакана шесть незабываемых недель, двести пятьдесят рабочих часов рядом с Лениным.

Игорь БАХТЕРЕВ

250

ЧАСОВ

С

ЛЕНИНЫМ

На стр. 68—69 — портреты зарисовки В. И. Ленина. Из серии, сделанной И. Альтманом с пастурой в мае 1920 года.

ком Анатолий Васильевич Луначарский предлагал Штеренбергу и Альтману принять участие в работе Комиссариата.

Встреча и знакомство народного комиссара и художника Альтмана произошли в тот же день. Деловой разговор продолжался всего несколько минут. Когда Анатолий Васильевич проходил с Альтманом, художник уже чувствовал себя и отдалимой частичкой сутуломчого многогодового наркомата, строителем нового, небывалого мира...

Картины были распакованы, билет продан, заграничный паспорт брошен опустивший чеходан. Первое время были забыты кисти, палитра, глина. «Искусство в массы»—этот лозунг на кумачовом полотнище становился для организаторов «отдела изобразительных искусств» конкретным понятием, программой деятельности.

При отделе был создан руководящий и одновременно оперативный штаб: Коллегия по делам изобрази-

тельных искусств. Натали Альтман была почтально однажды из семи членов коллегии, а затем ее председателем. С первых дней вместе со Штеренбергом и Альтманом работали скульптор Матвеев, живописцы Караваев и Школьников, график Чехонин. Через несколько месяцев коллегия расширилась: присоединились Маяковский, Брик, архитектор Щуко.

Альтман непосредственно руководил секцией «изобразительных работ». Секция объединила художников всех специальностей — от графиков до декораторов. Круг интересов и обязанностей был очень широк. Оформление празднеств, украшение городов, создание музеев современного искусства, устройство выставок, наконец, сооружение памятников, когда страна стала проводить в жизнь ленинский план монументальной пропаганды, — достаточно этого перечисления, чтобы понять: заведующему секцией оставалось мало времени на отдыши и сон. А ведь заведующий был художником большого творческого темперамента. По эскизам Альтмана были оформлены Дворцовая площадь ко дню первой годовщины Октябрьской революции; площадь перед зданием Фондовой биржи к инсценировке, посвященной Коминтерну; Альтман участвовал в конкурсе на первые советские почтовые марки и получил первую премию, создав памятник Рентгену, удачные агитационные барельефы Халтурина и Луначарского, занимался книжной графикой. Короче, всех его работ не перечислить.

С Луначарским Альтману приходилось встречаться почти ежедневно.

Когда правительство переехало в Москву, вместе со всеми комиссариатами переехал в новую столицу и Наркомпрос. Отдел изобразительных искусств остался в Петрограде. Начальнику отдела Альтману приходилось то и дело бывать в Москве. Он продолжал видеться с Анатолием Васильевичем и в кабинете наркома и у него дома, в кремлевской квартире.

Приехав в очередной раз, Альтман по обыкновению зашел к Луначарскому. В хорошо знакомой столовой, заставленной книжными шкафами, он увидел только что законченный бюст Луначарского. Работа была слабой, неинтересной. Альтман не скрыл своего мнения. Он сказал, что тоже хотел бы попробовать сделать Луначарского. Может быть, ему удастся сделать лучше. Анатолий Васильевич согласился. Альтман стал ежедневно бывать в Кремле у Луначарского.

В 1920 году Ленину исполнилось пятьдесят. С Альтманом дважды разговаривали (сначала в Петрограде — в отделе изобразительных искусств, потом в Москве — в Госиздате) о создании графического или живописного портрета Ленина к торжественной годовщине. Альтман с радостью взялся бы за работу. Но как писать портрет без живой натурки? Каждый художник знал: Владимир Ильин отказывается позировать даже несколько минут фотографам. Возможность приходилось ловить, невзначай делать снимки.

— Фотоснимки — под极易ый вспомогательный материал, — отвечал на все предложения Альтман, — в том случае, когда перед глазами памяти живая натура. Я Ленина никогда не видел, для меня фотографии бесполезны...

Близился конец работы над скульптурой Луначарского. Альтман рассказал Анатолию Васильевичу про интересное предложение Госиздата сделать портрет Ленина. Поделился и своими сомнениями.

Луначарский слушал, одобрительно кивая головой.

— С фотографий фотография и получится, — сказал Анатолий Васильевич и предложил: — Попробую потолковать с Владимиром Ильиным.

Альтман был убежден, что старания Луначарского ничего не изменят. Нетрудно представить радость и

Наталья Альтман
Москва. Кремль.
Май 1920.



Уголок кабинета В. И. Ленина в Кремле, где И. И. Альтман работал над портретом Ленина в 1920 году. Белым крестиком отмечено рабочее место художника.

одновременно удивление Альтмана, когда через несколько дней, заканчивая скульптуру, он услышал:

— А вот вам премия за удачный портрет. Владимир Ильич согласен... Нет, не позирать. Он остался венецианец. Владимир Ильич разрешает писать портрет в рабочем кабинете.

Тогда у Альтмана и родилась мысль сделать не живописный портрет, как ему предлагали, а скульптурный. Работа над объемной скульптурой требует изучения натуры с разных точек, дает художнику возможность маневрировать.

Ленин подтвердил свое согласие и сообщил, когда начинать. С этой минуты жизни Альтмана подчинилась единственной цели: сделать портрет.

Настал назначенный Лениным день, обычный для апреля, с тальным снегом и пасмурным небом. Альтману он казался ярким и сверкающим. Как и всегда перед началом большой работы, ему было легко и весело. Мысли поглощены будущей темой: перед глазами Ленин, то в скульптурных формах, то живой и величественный, как подобает главе государства, вождю мирового пролетариата.

Около десяти часов утра на грузовом автомобиле (кажется, из гаража Наркомпроса) Альтман пришел в Кремль ганну, стакон, инструменты, погрузил в лифт, поднял на третий этаж. В лифте и коридоре пахло карболкой: в городе возобновился случай сыпняка. Чекист у двери кабинета проверил предъявленный пропуск. Разрешил войти в кабинет. Альтман осмотрелся: в небольшой светлом комнате—студии. За окнами пустынный кремлевский двор. В простенке между окон—зеркало. Много книг—несколько шкафов. Обычный кабинетный диван с высокой спинкой, на нем портрет Маркса — подарок петроградских рабочих, как объяснил впоследствии Владимир Ильич. На стенах географические карты. Посередине комнаты письменный стол с единственным телефонным аппаратом.

Прежде всего нужно было выбрать рабочее место: наиболее выгодное для скульптора, наименее назойливое для хозяина кабинета. Глиняная глыба на стакне. Стеки, карандаши, бумага науготов, но Альтман еще в одиночестве. Прягаясь перед зеркалом длинные волосы, ноправил модный узкий бантик, почистил рукой вельветовый пиджак и подошел к стакну.

Дверь в коридор бесшумно открылась, в кабинет вошел Ленин. Простой, даже домашний. В не слишком новом, тщательно вытужженном, темном костюме.

— Здравствуйте, товарищ Альтман,— сказал Владимир Ильич. Ни чем Альтмана не спросил, сел за стол, принял разбирать книги и бумаги. Первая встреча с Лениным была такой, будто Альтман хорошо знаком с Лениным и давно работает в его кабинете. Потому сразу создалась спокойная рабочая обстановка. Каждый занимался своим делом. Ленин писал очередную страницу своего труда: «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме», Альтман изучал натуру.

За письменным столом Владимир Ильич казался значительно выше своего роста. Большая голова, выдающаяся вперед лоб, очень своеобразный череп, срезанный на темени, широко расставленные глаза. С первого же взгляда было ясно: работать будет недавно. Ленин низко склонился над столом, и лица его почти не было видно. Но вот вскинула красноватая лампочка, полыхнула глахое гудение. Ленин взял телефонную трубку. Разговаривая, он откинулся на спинку стула. И опять неудобный поворот. Теперь виден был только подбородок.

К концу рабочего дня глиняная глыба еще отдаленно, но все же напоминала голову. Альтман нарушал молчание, попросил, чтобы Владимир Ильич время от времени смотрел в сторону будущей скульптуры, прохаживался по комнате.

Ленин согласился.

На следующий день очертания лица в глине стали яснее.

Ленин подошел, сощурился, пристально посмотрел на скульптуру.

— Разве у меня такой нос? Не совсем похож...

Альтман объяснил, что это пока только набросок.

— А Луначарский сказал, вы закончите скульптуру в два-три дня. И каждый сеанс продлится не больше получаса.

Стало ясно: разговор с Лениным Луначарский пошел на тактическую хитрость.

— Пять часов — слишком мало. Это — время одного сеанса. А их будет довольно много, — сказал художник неопределенно.

— Все ясно, — улыбнулся Ленин. — Охотничьи сказки Анатолия Васильевича... Это будет футуристическая скульптура — осторожно спросил Владимир Ильин.

Очевидно, незавершенность форм Ленин принял за «левизну» манер. Альтман понял опасения Владимира Ильича и сдержал улыбку.

— У меня одна задача — сделать портрет. Эта простая и ясная цель диктует подход к работе.

— А вы не могли бы мне показать работы с футуристическим подходом? — попросил Владимир Ильин.

На следующий день Альтман принес пачку фотографий своих прежних кубистических полотен. Ленин с интересом смотрел одну за другой, потом отложил их, сказал:

— В таком искусстве ничего не понимаю. Это — дело специалистов.

У Ленина могло сложиться неправильное представление о творчестве Альтмана. Альтман проявил и напечатал фотографии своей последней работы — скульптурного портрета Луначарского — и показал их Ленину.

— Что-то незнакомое в глазах, во взгляде, — сказал Владимир Ильин.

Альтман сразу догадался, почему создалось такое впечатление.

— Вы привыкли видеть Анатолия Васильевича в пенсне. А позировал он без очков...

— А пенсне можно изобразить? — заинтересовался Ленин. — Как это сделать в скульптуре?

И Альтман стал подробно рассказывать, как в глине передать ощущение стекла.

...Альтману хотелось сделать Ленину что-нибудь приятное, и он посоветовался с Луначарским.

— Подарите Владимиру Ильичу ваш Барельеф Степана Халтурину, — сказал Анатолий Васильевич.

На следующий день Альтман пришел в кабинет Ленина раньше обычного

и до прихода Ленина поставил барельеф на спинку дивана рядом с портретом Маркса.

Барельеф Ленину очень понравился (об этом он сказал и Луначарскому). Поблагодарив Альтмана, Владимир Ильич попросил сделать подпись «Степан Халтурин» более четко и объяснил:

— У меня бывают иностранные делегаты да и наши товарищи. Пусть видят, чье это изображение.

— Монументальная пропаганда в действии, — попутно заметил Альтман.

Горбатый над скульптурным портретом Ленина поднималась медленно. Альтману приходилось подолгу выжидать, прежде чем удавалось увидеть нужную деталь, контур или форму...

Однажды Ленин пришел позже, чем всегда, сказал, что должен уехать. Дождалась автомобиля, он сел за стол и, не снимая шапки, не теряя времени, приступил к письму.

— Снимите, пожалуйста, шапку, — попросил Альтман. — Тогда я тоже смогу поговорить.

— Это можно, — сказал Ленин и, улыбнувшись, снял шапку.

— Интересно, — спросил он, — вы работаете медленнее обычного?

— Если бы вы позировали, — сказал Альтман, — работа поднималась бы гораздо быстрее.

— Но скульптура получалась бы неестественной, — уверял Альтман.

«Так вот почему Ленин не соглашался позировать», — подумал Альтман.

Самым удобным временем для наблюдений были минуты, когда Ленин беседовал с посетителями. Альтман сразу брал бумагу, карандаш и начинал рисовать. При Альтмане Ленин принимал Томского, Кржижановского, Владимира Крупской, Марии Ильиничны. При Альтмане Ленин напутствовал Дзержинского перед его отъездом на фронт.

Секретарь входил и доложивал о посетителе. И каждый раз Альтман спрашивал:

— Мне уйти? — Пожалуйста, оставайтесь, неизменно говорил Ленин.

Работал Альтман ежедневно с десяти и до пяти, а иногда задерживался и позже, пока в кабинете не приходили участники вечерних совещаний. Не пропускал Альтман и воскресные дни. Работал даже Первого мая. Ленин зашел в кабинет, увидел Альтмана и удивился. Но из разговора Альтмана выяснила, что и Ленин не отыхал, а пришел с воскресника. Глаза со всеми грузами Сосна.



И. АЛЬТМАН. Барельеф Степана Халтуриня. Находится в кабинете В. И. Ленина в Кремле.



И. АЛЬТМАН. Барельеф А. В. Луначарского. 1920 год.



И. Альтман за работой над новым скульптурным портретом В. И. Ленина (1963 год).

Все теплее становились весенние дни. Майские солнечные лучи сушили глину. Новое непредвиденное затруднение: скульптуру приходилось то и дело поливать водой, а на ночь покрывать мокрой тряпкой. Как-то раз Альтман попросил Владимира Ильича с утра намочить тряпку. Альтман должен был пойти по делам в Наркомпрос. Владимир Ильич был человеком точным и обязательным, вызвал сотрудницу секретариата Наташу Лепешинскую и попросил привезти чайник с холодной водой, а сам продолжал писать за столом. Наташа вернулась с чайником. Владимир Ильич, не отрываясь от бумаг, сказал ей:

— Будьте добры, вылейте на мою голову.

Наташа растерялась, но все же подошла к Ленину со спиной. Она в первоначальности стояла с чайником. Владимир Ильич взглянул на нее и расхохотался.

— Не на эту голову,— хлопнул он себя по лбу.— Вон на ту, под тряпкой!

От смеха он даже вскочил со стула.

В конце мая работа была закончена. Альтмана сроч-

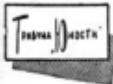
но вызвали в Петроград, в отдел изобразительных искусств. К вечеру, впервые заседания работники охраны вынесли скульптуру из кабинета. Вместе с ними выходил из кабинета Альтман и в дверях встретил Ленина. Попрощались.

— Счастливого пути, товарищ Альтман.

Это была их последняя встреча.

В одной из комнат Собраркома в тот же вечер была оттита гипсовая форма.

— Вот и все, что я смог вам рассказать,— говорит Наташа Исаевич.— Творческий итог двухсот пятидесяти рабочих часов: скульптура, пейзаж из окна кабинета Ленина и девять портретных рисунков. Они были изданы Госиздатом. Альбом хранится среди книг Владимира Ильича. Что еще добавить? До работы над скульптурным портретом я знал Ленина умом; работал и изучал глазами; общаясь, узнал его сердцем. Более сорока лет прошло с тех пор, но память хранит его образ. Я постаралася воплотить эти воспоминания в моей новой скульптуре. Она перед вами.



Иван ВИННИЧЕНКО



ЗАПАХ

ЗЕМЛИ

Литературовед А. Брусиловского.

Запах земли... Не он ли и манит меня так властно, заставляя колесить из года в год по сельским бульварам и проселкам, то сверкающим на солнце, как лезвие ножа, голубоватым накатанным асфальтом, то траским и пыльным, то вязким, как каша, то запесенными под самое брюхо машины ароматными, как только что разрезанный арбуз, скрипучими скежими сурбобами!..

Ведь что такое запах земли? Не знаю, для кого как, а для меня... Нет, это может понять лишь тот, кто почувствовал этот запах с первой краюхой хлеба, густо посыпанной солью, с первой, проложенной собственными руками бороздой!..

Вы представляете, что это значит — впервые взяться за чепчики плютаг? (Генеръ-то и плютов таких нет, с чепчиками!) Шагаешь в борзде, покрикнув баском на быков, и земля — сама земля! — раскрывает перед тобой свое нутро. Вывернешь ее лемехом — так и лоснится на солнце, влажная, жирная, зернистая, как разваренная гречневая кашица с салом. И как вкусно пахнет!.. Вот хоть бери ложку, черпай прямо из борозды и ешь!

Запах земли в борозде... А бьющий в нос, как черный перец, острый запах густой дорожной пыли! (Бредешь по нем поздно вечером вслед за быками, усталый и счастливый, а ова словно ластится к босым ногам, как теплый пушистый котенок.) А сладкий запах разопревшего в печи доброго украинского борща с чесноком, который ты умлетаешь потом за обе щеки по трудам! А запах собственной сорочки, промокшей от пота!.. Или вот, скажем... Случалось ли вам выбежать в сад наигишом в самый разгар летнего грозового ливня, когда кажется, что и небо, и земля, и ты сам словно растворился в низвергающемся на землю щедром веселом потоке? Вспоминаете, как он пахнет, вот такой щедрый ливень? А может, это пахнет землей?..

А горьковатый запах степного кизячного костра! А ни с чем не сравнимый аромат испеченнои в ко-

стре, наполовину сторевшей картошки! (Перебрасываешь ее, обжигаясь, с ладони на ладонь, а у самого полон рот слоны!) А производительный, как напатырный спирт, запах навоза! (Он и до сих пор всегда кружит мне голову, когда я попадаю на село.) А пьянящие выхлоны впервые увиденного трактора! А тяжелый, хоть топор вешай, махорочный дух первого колхозного собрания!..

Все это запах земли, запах далекого, полного лищений, но и счастливого босовского детства. Можно ли его забыть?..

Вот почему и теперь, уже в зрелом возрасте, когда приходится изо дня в день гнуть спину над пишущей машинкой, прокладывая борозду за бороздой на бумаге, он чудится мне, этот запах, и в мокром, нагретом солидном асфальте городских улиц, и в письмах из родного села, и в собственных книгах, и в газетных отчетах о проходящих каждую зиму в Москве многолюдных «сельскохозяйственных» Пленумах ЦК КПСС, на которые съезжаются хлеборобы со всех концов нашей необъятной советской земли.

Но, пожалуй, особенной силой я почувствовал его, этот волнивший запах, нынешней зимой, в феврале. И не только потому, что в этот раз мне самому посчастливилось принять участие в работе Пленума вместе с героями моих книг, а прежде всего потому, что именно в этот раз по какой-то далекой, хотя и вполне закономерной ассоциации мне с предельной остротой припомнилась не только своя собственная босоногая юность, но и трудовая колхозная молодость всего моего поколения.

Подумать только! Всего лишь тридцать — тридцать пять лет назад я шагал в борзде босиком, держась за чепчики примитивнейшего однолемешного плюта. Каким чудом техники казался в те годы маломощный, почти целиком скопированный с американского первого советский трактор! А сейчас?.. На колхозные поля и фермы пришла самая современная техника: мощные, высокопроизводительные тракторы и автомо-

машинны, зерновые, силосные, свеклоуборочные и картофелемялочные комбайны, автоматизированные долильные «карусели»... Только за последние десять лет машинный парк колхозов и совхозов возрос более чем в два раза: количество тракторов увеличилось с 1 миллиона 239 тысяч до 2 миллионов 600 тысяч, всевозможных комбайнов — с 324 тысяч до 783 тысяч, автомашин — с 424 тысяч до 900 тысяч штук. И если в годы моей юности даже самые богатые украинские села напоминали по вечерам дрихлых стариков, сидящих на завалах и попыхивающих гуском мерцающими сигарками (тогда ведь все села освещались почти исключительно керосиновыми лампами, то и первоначальными каганцами и аучинами), то теперь... Только за последние десять лет потребление электроэнергии в сельском хозяйстве нашей страны выросло с 2 миллиардов 742 миллионов киловатт-часов до 17 миллиардов киловатт-часов. Колхозные села приобретают постепенно облик своеобразных аграрных городов. Здесь строятся многоэтажные благоустроенные дома, детские сады и ясли, дома культуры и кинотеатры, больницы и школы. А в последнее время (об этом тоже говорилось на Пленуме) сюда пришли не только средние учебные заведения, но и высшие и даже сельскохозяйственные научно-исследовательские учреждения. А ведь это только начало!

По решению февральского Пленума ЦК КПСС правительство Советского Союза выделяет на развитие сельского хозяйства колоссальные денежные средства, гораздо большие, чем выделялись прежде. Если 1953 году, например, было ассигновано на это всего лишь 985 миллионов рублей, то в 1964 году на одни только производственные цели ассигнуется 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Приводятся в движение все речи: социальные, экономические, научные, технические. Наконец-то наше сельское хозяйство прочно становится на стальные рельсы интенсификации! Уже сейчас могучим фронтом движется на поля еще более совершенная техника. Несомненно возрастает производство минеральных удобрений... Идет большая химия, как у нас говорят! Развертывается строительство новых ирригационных систем... И, право же, если вдуматься во все это, то поставленная Пленумом грандиознейшая задача — довести в ближайшие годы производство зерна в нашей стране до 14—16 миллиардов пудов в тем самым поднять сельское хозяйство СССР до уровня самых экономически развитых стран мира — не будет казаться столь уж дерзкой, как это представляется некоторым зарубежным комментаторам. А раз все это так, то...

Ну скажите, может ли все это не волновать всех нас, советских людей, в том числе, разумеется, и писателей? Особенно тех из них, кто отдал свой талант, свое творчество жизни колхозного села! Ведь во всем этом тоже... запах земли, зовущий, властный, каким он бывает весной, накануне сева.

И еще одно обстоятельство кажется мне очень важным.

Вспомните решения предыдущих «аграрных» Пленумов ЦК КПСС, попытайтесь восстановить в памя-

ти хотя бы основное направление мысли в многочисленных выступлениях главы Советского правительства Никиты Сергеевича Хрущева о развитии сельского хозяйства СССР — и вы убедитесь в том, насколько реалистичные подходы мы к разрешению сложнейших социальных и экономических проблем. Мы не только тщательно извещаем все наши возможности, но и бесстрашно вскрываем собственные пропады и ошибки, которые мешают нам двигаться вперед.

Именно такой подход к разрешению новой, необычайно сложной проблемы мы видим и в решениях февральского Пленума ЦК КПСС. И однако... Если в предыдущие годы главная наша забота состояла в том, чтобы максимально использовать внутренние резервы нашего сельского хозяйства в пределах тех сравнительно ограниченных ассигнований, которые мы имели возможность направить на его развитие, то сейчас все наши усилия, все средства борьбы, в том числе и жесточайшая критика собственных недостатков, устремляются на то, чтобы с наибольшим эффектом пустить в «оборот» вкладываемые в сельское хозяйство колоссальные материально-технические средства. И совершенно неслучайно именно на этом Пленуме с особой силой прозвучала мысль о необходимости тщательного изучения и активного использования не только внутреннего передового опыта, но и достижений сельского хозяйства зарубежных стран — как социалистических, так и капиталистических, — уже вступивших на плодотворный путь интенсификации всех его звеньев...

Разве не примечательен в этом отношении, например, тот факт, что как раз в дни Пленума несколько московских газет опубликовали обширную статью известного американского фермера Гарста, в которой он высказал ряд интересных соображений о путях развития сельского хозяйства СССР, и эта статья была подвергнута всестороннему обсуждению и в речи Никиты Сергеевича Хрущева и в выступлениях других участников Пленума, видных советских руководителей?..

Так присматривается к соседу, семь раз отмеряя, прежде чем один раз отрезать, многоопытный, с цепкой крестьянской хваткой хозяин. И в этом тоже запах земли.



Однако придется признаться, что эту статью я начал писать для другого журнала, адресованного заграниценному читателю. Но потом я подумал: а почему бы, собственно, не опубликовать ее в «Юности»?

Почему именно в «Юности»? Сейчас объясню.

Запах земли... Как явствует из статьи, эти слова всегда символизировали для меня неистребимую смыслину любви к селу, к сложным, но увлекательным проблемам сельского хозяйства — любви, уходящую своими корнями в далекое крестьянское детство. И, может быть, когда-нибудь в дальнейшем мне удастся рассказать читателям «Юности», как случилось, что я, горожанин, вначале техник, а потом ин-



железо-строитель, покинувший родное село еще в юные годы, почти четверть века спустя все же таки вернулся, если и не на село, то, во всяком случае, к сельской жизни, к колхозной проблематике, став убежденным писателем-«аграрником». А пока что мне хотелось бы обратиться с рядом вопросов к тем из молодых читателей журнала, которые выросли на селе значительно позже, нежели я, и которым, по-видимому, уже не пришлось шагать босиком в борзде, покривав на быков и держась за чепчики однополеменного плауга.

Говорят ли что-нибудь вашему сердцу, мои юные друзья, вот это сочетание слов — «запах земли»? Вызывают ли оно у вас представление о позии нашего будничного, порою нелегкого и все же таки прекрасного земледельческого труда? Заставляет ли вас волниующий «запах» нашей нынешней творческой трудовой жизни хотя бы изредка оглядываться назад, к ее истокам, к тому горькому запаху пота и крови, которым пропитана ради вас, нынешнего поколения земледельцев, каждая пядь твоей самой земли, на которой вы трудитесь? Отдадете ли вы себе отчет в тех чудесных переменах, которые произошли за последние тридцать пять лет, со временем коллективизации, во всей жизни колхозного села? Чувствуете ли вы, понимаете ли все величие тех новых перспектив, которые открываются ныне передней, этой новой колхозной жизнью, а стало быть, и перед всей нашей страной? И, наконец, чувствуете ли вы, понимаете ли, какую огромную ответственность налагает все это именно на вас, нынешнее поколение земледельцев? Вдохновляет ли вас все это на новые трудовые свершения?

Вполне возможно (и даже наверняка!), отвечая на эти вопросы, многие из вас захотят коснуться в своих письмах не только поэзии будничного земледельческого труда, не только тех чудесных перемен, которые произошли в жизни колхозного села, и тех волниующих перспектив, которые открываются перед ней, но и некоторых темесных сторон этой жизни и выдвигают ее сложных социальных и экономических проблем, таких, например, как проблема дальнейшего сближения сельских условий труда и быта с городскими. Ведь далеко не все еще села «приобретают постепенно облик своеобразных аграрных городов», как это написано в моей статье, и далеко не всегда и не во всем даже при нынешнем уровне механизации повседневного сельскохозяйственного труда приближается к городскому, индустриальному.

Что ж, давайте поговорим и об этом! Я ведь и сам хорошо знаю, как волнуют подобные проблемы всех тружеников колхозного села, и прежде всего сельскую, колхозную молодежь.

Вот что услышала я однажды от колхозных ребят, выпускников сельской средней школы, в одном из районов Рязанщины.

— В последнее время, — говорили они, — много пишут о связи школы с жизнью, и все, словно говорившие, твердят о том, что будто бы сельские школьники, особенно выпускники, только и мечтают пойти на работу в колхоз и применить там трудовые навыки, полученные в школе. А разве это так? Конечно, большинство ребят пойдет в колхоз. Куда им деваться? В вузы теперь без трудового стажа не принимают, промышленных предприятий нет вблизи почти никаких... Но ведь большинство выпускников средней школы мечтает учиться и дальше! Одни хотят стать полевоочерченными работниками сельского хозяйства, получить специальность агронома, механизатора, зоотехника; другие сияют и видят себя педагогами, врачами, инженерами. А что, разве это зазорно? Мы ведь к коммунизму идем! Люди должны быть

образованными, всесторонне развитыми. Но есть ли в колхозе условия для учебы? Молодой рабочий со средним образованием, работая на производстве, вполне может заниматься на вечернем отделении института, молодой колхозник часто не имеет возможности учиться даже заочно. В городе что? Отработал шесть-семь часов — и ты свободен! А в колхозе.. Ну скажите, до учебы ли, например, тракторист или же простому колхознику во время полевых работ? Ведь он «вкалывает» буквально от зари до зари! Механизаторы и полеводы более или менее свободны хотя бы зимой! А каково животноводам? Особенно добркам. Это же известно всем: они проводят на фермах весь день, с рассвета и чуть ли не до самой ночи. У них не только нет возможности учиться, но и в кино никогда сходить! На сидение к парню пойти — и то проблема! И ничего не поделаешь.

Кстати, я об этом уже писал, и не где-нибудь, а как раз в «Юности»¹. Может быть, помните? Но я писал и другое. Вспомните мой очерк «Эстафета», опубликованный в десятой книге журнала за 1961 год! Там рассказывалось о том, как в другом месте, на Ставрополье, вначале в колхозе «Коммунистический маяк», а затем в колхозе «Россия», молодые девушки-добрки, вчерашние школьницы, механизированы и пестротрони собственными руками животноводческие фермы, перешли на двухсменную работу, и это в корне изменило всю их жизнь. Правда, потом мне стало известно, что не только в колхозе «Коммунистический маяк» (об этом говорилось в самом очерке), но и в колхозе «Россия», принимавшем «эстафету» от «Коммунистического маяка», по разным причинам, и прежде всего из-за того, что руководство колхоза не придало большого значения почину девушек, все в конце концов «поломалось». И все же таки... Разве этот интересный, пусть и не доведенный до конца почин не говорит о том, какую огромную роль в изменении условий труда и жизни сельской молодежи играет творческая инициатива самой молодежи? Особенно, если учсть те новые возможности, которые открываются перед ней сейчас, после февральского Пленума ЦК КПСС. Ведь и в выступлениях участников Пленума подчеркивалось, какое большое значение и для самого производства и для всей жизни колхозного села будет иметь переход на двухсменную работу в первую очередь механизаторов, а затем и других работников сельского хозяйства. А каким надежным подспорьем является зародившийся в самой жизни и теперь «установленный» на Пленуме новый метод комплексного обслуживания машинного парка колхозов мастерскими «Сельхозтехники», борущими на себя половину всех забот колхозных механизаторов! А какую революцию во всей производственной и культурной жизни села должна совершить наметившаяся на Пленуме обнадеживающая перспектива дальнейшего продвижения на село учебных и научно-исследовательских учреждений!..

Но и теперь, разумеется, многое будет зависеть от самих тружеников колхозного села, и первую очередь от молодежи.

В том давнем очерке, где говорилось о рязанских ребятах-школьниках, я уже писал, что расцвет творческой инициативы тружеников представляется собой не только одну из основных, конечных целей всего нашего коммунистического строительства, но и одно из основных средств к достижению этой же самой цели. И мне думается, что это сущая правда.

Или вы не согласны со мной? Тогда давайте спорим!



Джиматр Методиев

Открытие мира

Мой сын начинает ходить.
Сам! Спотыкаясь и падая.
На ровном месте — просто от страха.
Он плачет.
А я поднимаю его и говорю преувеличенно строго:
«Вот тебе! Что? Так и надо!»
А он, совершенно счастливый,
Отвечает мне тем же:
«Вот тебе! Что? Так и надо!»
Это мне-то, отцу! Как вам нравится это?
И опять гнет свое, идет, растопырив руки.
Мой сын научился ходить.
Он уже впрос, да как!
Сам открывает все двери
И бесстрашно топчет по комнатаам,
Устрашая все иные семейство.
Он врывается и бросает тарелку.
Готово! От тарелки — осколки.
И от пластинки осколки!
А с книгой не вышло: она не бьется.
Но зато она рвется, да еще как!
Мой сын изучает мир.
Крутит радио до отказа
И бежит от звериного рынка,
Лежавшего в тихой коробке.
Очень бледный выглядывает из-за угла.
Но как только мы выключаем,
Он опять подбирается к ящику,
Десять раз, двадцать раз, до тех пор,
Пока это упрямое радио
Не научилось включаться.
Теперь они стали друзьями.
А с печкой так и не стали:
Она ненадежная: сама поманила теплом,
И сама же потом укусила.
Он не любит таких, как печка!
Подозрительно скрипнули двери,
Мой сын пристает на щипочки.
Мы в тревоге! Он что-то задумал.
Мы хором ругаем его:
«Не суй в рот спички! Не дергай за шнур!
Ручку на место! Слезай оттуда,
Не лазай туда! И щелк не рукам!
По любопытным, храбрым рукам!

А он смеется — и тянет их снова.
А он рыдает — и тянет их снова.
А он вырывается из объятий —
И бегом! Оттуда, где можно,
Туда, где нетъя.
Туда, куда мама не разрешает,
Туда, куда папа не разрешает,
Туда, где нетъя,
Но где «интересно»!
И только бабушка, моя мама,
Ему потакает, ходит за ним
Из комнаты в комнату, с места на место.
И все говорит, говорит ему что-то.
Как изрослоум, равному человеку.
А мне, как маленьому, объясняет:
«Вот так, сынок, и растут.
Только так и растут...»

Перевел Константин СИМОНОВ.

С
богдановского

Наш репортаж

Александр ВАСИНСКИЙ



Это было в пансионате на Клязьме

«Вы ничего не знаете? В зимние студенческие каникулы в пансионате на Клязьминском водохранилище отдыхает команда в две тысячи человек!» — сказал позвонивший в редакцию гражданин и повесил трубку.

НАСКВОЗЬ промороженный пустой автобус «Мытищи—пансионат», с тутым хрустом разодравший замыкающие створки дверей перед длиной очередью, понемногу стал оттаявать, потепел, ожила. Тронулось. Зажегся свет. Сзади вытягивали шеи, всем хотелось взглянуть на девушку-кондуктора, так неизменно руководившую нашей довольно бесполковой посадкой. Но ее не было видно за штанами и поднятыми воротниками, слышалась лишь где-то на передней площадке ее ульябающийся голос. С иными из нас она спорючила, как с малыми детьми (да разве не малые дети, если сотни-то раз видеть, как они при посадке глуко синхронно и застремляются в двери и, ворвавшись, мечутся с горящими глазами по салону, чтобы быстрей занять место и уж этого самого дотрутся?).

Наконец меж расступившихся спин она возникла и перед нами, струйнившись на задней площадке. Маленькая, очень милая, на голове теплый шерстяной платочек (и как-то радостно за нее, что теплый), подкрашенные губки, чуть растерянная от усталости улыбка, большая звенящая сумка на груди, и где-то у самого подбородка смешные ролики билетов. Нас, заднюю площадку, окнули ее глаза, слегка нахмурившиеся при виде таких пораженных и осклабившихся студентов. Закинула работу. Гроздным взглядом и незаметным кивком глаз в сторону пожалованного генерала был соян от места парень с коляской, и генерал хоть и заметил кивок, но не обиделся, сел; были отлично отпарированы две остройты студентов, сразу заложивших ее, так как не нашлись что ответить; был

усажен едва державшийся на ногах пынкий пассажир, который, нахохлившись, несколько раз покрывалась застежкой, но, обессиленно роняя голову на грудь, обрывал на первом слоге, так что и непонятно было, что за песня.

Кондуктор оторвала последний билет (со спиной казалось, будто она достает из-за пазухи что-то и раздает всем), пробралась на свое маленькое, одиночное кресло и как бы успокоилась. В салоне был наведен полный порядок.

Я заметил, что все с добрым настроением смотрят на нее. Было в лице и всей фигурке ее что-то умиrottворяющее, добродарое, и сами собой приходили мысли о том, что муж, извернее, обожает ее, что она счастлива, что, видно, нравится ей работа с этими иногда такими смешными, но в общем-то симпатичными гражданами пассажирами... Нравится отрывать и прятывать билетики, необязительно пресекать хитрые ухаживания студентов, с веселым шиком нажимать на кнопку [мол, поехали], подгонять засевавшуюся «средину», добиваться, чтобы никто из пассажиров с детьми и пожилыми людьми не стоял, — словом, поддерживать порядок в своем нескромном четырехколесном государстве. Этот маленький премьер-министр автобуса управлял нами легко, справедливо, четко, приподнято, и власть эта всем была мила, стройный и мудрый порядок угоден, и, мне кажется, все мы испытывали даже с какой-то гордостью радость повиновения, послушания.

Незаметно прошло полчаса. Я забыл, куда и зачем еду, но вот об этом напомнили: «Следующая остановка

ка — пансионат». Я прильну к маленькой проруби посередине набухшего инея — это скопинечко я вальцем растопил на стекле. И увидел чудо. Знаю, что не передам, не опишу, но поверите на слово, что чудо. На открытом заснеженном пространстве стояли гигантские, светящиеся в ночи стеклянные кубы, усеянные конусы, прямоугольники... Автобус уехал, а я все стоял изумлен. Снег вокруг отеля отражал цвета, каких, кажется, не бывает в природе. Стеклянные объемы зданий выглядели вблизи как бы озвученной архитектурой. Как далеко было все это от предстоявших мне внутрь дел!



УТРОМ — солице, сверкав стекло отеля, ослепив тени снега. Праздник ярко-белого цвета. На горках лыжники, всюду гуляющие. В прозрачном бруске ресторана голубые тени людей. В отелях не закрываются двери. Много молодых лиц. Весело, мирно. Возможно ли, чтобы то, что сказал твердый голос позвоночника в редакцию человека, было правдой? Жажда по отелям, разговариваю со множеством людей, узнаю подробности.



Я ОТЧЕТЛИВО представляю себе такой разговор. К пакостнику (иу, к тому, например, который нарочно сломал телевизор в гостинице, чтобы там можно было устроить танцы, или к тому, кто переломил светильник на улице, чтобы в алее стало темней) подходит его дружок с журналом в руках.

— Читал в «Юности»? Кто-то «кануну» в редакцию про клязьминские каникулы, и вот статья...

— Как?! — Пакостник вырывает журнал, бегает глазами по строчкам.— И фамилии есть!

— Нет, что ты... Так, общий тренд... безобразие, недопустимо, моральный обвал и все такое, сам знаешь.

— Ну, напугала ты меня,— с облегчением говорит пакостник, возвращая журнал дружку.— А я думал, с фамилиями...

Вот ведь как. Мы иной раз караванщики обкусываем, мудрим, к их совести взываям, тень Павки Корчагина на тревожим, а этим пакостникам на все наплевать, им лишь бы фамилии не узнали. Мы-то, добрые души, в рассказах передко изображаем их искусствителями-красавицами, и умные они у нас, и сложные, и говорят почти всегда парадоксами, а они, устроив пьяную оргию, скажут с каким-то почти достоинством: «Все по Фрейду, либидо, страсть к разрушению, научно доказано, весь Запад признает». Мы в психологические анализы пускаемся, порой догадки строим, что, может быть, они телевизоры ломают не просто так, а из каких-нибудь философских побуждений, может, даже из протesta против угрозы атомной войны, а им просто-напросто «схохнили» захотелось. Мы-то, навыные люди, с ними ни раз по-хорошему, примирительно, дескать, «некрасиво, молодые люди», а они, канальи, нет чтобы приятное сделать, покраснеть или взор потупить, так устало проходят: «А в морду не хочешь? — и если только в хорошем настроении, то еще пококетничают: «Зачем вы так сразу в лоб — некрасиво? Вы так нас воспитываете, чтобы мы не поняли, что вы нас воспитываете...»

Мне пансионат показывали разбитые в холлах стекла, сломанные банкетки, вывороченные двери; зияют дыры в некоторых блоковых щитках из пластика; мне рассказали, что кто-то вытипал одежду ботинки; на застекленных пролетах в отелях художники сделали массу смешных рисунков — так чей-то палец размазал и испортил их; в большом са-

лоне, где по замыслу архитекторов разбит отороченный фигурами кирпичом газон и растут кусты сирени, сейчас всё в жалком виде: газон истощен, кусты поломаны — на них вешали пальто.

Ужасно зрелище торжествующего хама. Гляди на все это, я представлял себе разошедшегося кретина с ущербным угреватым лицом, но нет, мне говорили, что это могли быть и «довольно привличные мальчики», «интеллектуалы», с именами (звались таких) можно даже поговорить о литературе, о живописи... Как у нас, однако, легко прослыть интеллектуалом! Поговорил о литературе (не промолчал) — и уже умеи. Восхлику: «Ах, какие красивые темы!» — и уже эстет. Да говорю вам: хамы они, посредственности.

Я спрашивала себя: может быть, я не прав? Конечно, я не решусь каждого, кто когда-нибудь разбил стекло, присягать к хамам и посредственности. Мало ли с кем не бывает! Но порядочный человек прежде всего извинится и оплатит стоимость стекла. Нет, у хама и посредственности в таких делах особые почки. Озорство! Не оять-таки и озорство выывает талантливое, а каков талант в вытирании одялом ботинок? Конечно, если этого «интеллектуала» спросить: «Вот нарочно испорчен телевизор — по недомыслию это, или по злуому умыслю, или по легко-мысленой развязности?» — он ответит: «Все что угодно, только не недомыслие». Ведь сейчас такое величие, что интеллект в цене, даже, можно сказать, в моде, и этот «интеллектуал» предпочел бы прослыть лучшим злодеем, чем дураком. А вообще-то лучше всего его бы устроила «легкомысленная развязность»: в этом пикантнее что-то есть, как бы даже льстящее самолюбию.

Подумать только: на какую они красоту покушались! Пансионат на Клязьминском водоканале — элегантнейшее сооружение. Со вкусом обставлена отели. Во всем строгий блеск. Эти самые «интеллектуалы» вам уши прожужжат о «модерне» на Западе, а вот пришли сюда, и оказалось, что их пускать нельзя. Гадят. Несколько человек, которых, к сожалению, не удалось поймать за руку, оставили столько следов!

Красота — великая сила, но она беззащитна перед хамом. Ведь только у подлинно культурного человека отношение к вещи особенное, уважительное: для него любой предмет есть не только вещь для пользы, но и частичка культуры, исполненный смыслом плод человеческого духа и интеллекта. Для него уклад, порядок есть не только обстановка его жизни, но и продукт цивилизации. Для него люди не байдары, а индивидуальности. Вот почему подлинно интеллигентный человек уважает труд, порядок, людей. Он чувствует себя наследником тысячелетней истории. А хам ведет летосчисление мира от дня своего рождения. Для хама не существует истории, культурных и общественных ценностей, человеческой красоты и достоинства. Поэтому ему ничего не жаль.

Горничные жаловались: пакостникам невозможно сделать замечания — начинают гаумиться. Подумать только: стоит пожилой человек, женщина, по-старинному, не зная новых правил, укоряет: «Сынок, куда же ты окорук на ковер бросил!» — И поворачивается этот представитель «элиты»: «Я, между прочим, Вам не сынок!»

Ах, бог ты мой, какая сказалась порода, и ты! на «сын» поправляя, фамильярностью не унылая, устидясь старушки, своего племянского происхождения. И не понимает это пары, что высокомерие — гордость ничтожества.

— После отошел к дружку и как-то не по-нашему, не по-русски изъяснялся, — рассказывала мне горничная из 2-го отеля. — То будто русское слово мелькает, а то иностранец... Или иностранец он?

Да нет, Прасковья Федоровна, не илюстратор. Это она на своем, «нижноконском» языке. Раньше, до революции, дворянине, аристократы говорили при слухах по-французски, чтобы их секреты не знали, и вообще — так приято было, а эти обычно иностранным языкам даже в институтах не всегда выучиваются — и вот свой, особый виши.

Странно было бы спрашивать у таких людей, во что они верят, есть ли у них идеалы. (Корреспонденту, впрочем, они ответят что полагаются; я и о другом: как воинству неувестим, как конфузен в этот вопрос по отношению к ним!) Нету веры. Нету идеалов. Как правило, один цинизм. Потому что почти всегда хулиганство поступком есть отражение хулиганства мыслей. Все дозволено. Ничего не жаль. Никаких критерий, долга, обязательств. Ничего любимого, высшего. Голова, в которой ничего не сложилось или уже все расплодилось. Пустота... все равно — что, с кем, для чего... Хаос и пустота. И это не сложности самобытного характера, не сомнения мятущейся души, это почти всегда возня и ковыряние драгоценных и безликих ординарностей.

Но... может быть, все гораздо проще? Может быть, не надо так непримиримо?

В самом деле, может быть, не надо?

Но у меня и сейчас перед глазами избиение у одногодка из студенческих общежитий. Одни студент был другого. Был мордастый, сунувший конспекты в карман. Тот, другой, худенький, в очках, типа всегда улыбающихся своим мыслям и застенчивых книжников, неумело, беспомощно загораживался руками. Но вот у него упали очки, а мордастый все бил и бил. Словно ослепшие без очков, обессиленный, худенький молча, с каким-то умоляющим почтой заносившим лицом к мордастому руки, под ударами вавалывался на него грудью, точно хотел залезть на нему вверх и попацовать (такое умоляющее, простишее, беззлобное было выражение). Мордастый сбил его с ног. Но худенький не сопротивлялся. Мордастый на секунду остановился, удивившись (все жертвы его, наверное, обычно вырывались, грозились, ругались, а этот ничего не говорил, странно смотрел). На миг какой-то в нем будто что-то скнуло, дрогнуло, но через секунду он снова был.

Как только двери нашего троллейбуса открылись, многие выбежали спасать худенького. Мордастого студента увел милиционер. Заплатил штраф или получит пять суток. Выйдет — снова засядет за учебники, будет проходить философию, физику, литературу... Да как же, когда он был, не возознал в нем все писатели и философы мира?! Куда же исчез в нем гуманизм образованности? Откуда эта тупая безжалостность? Я не знаю, за что он был парнишкой, но за одно то, КАК он был, ему нельзя выдавать диплом высшего образования. Это — животное.

А не так давно в Октябрьском районе Москвы произошел такой случай. Одна девушка выбежала из больницы, обезумевшая, вне себя от потрясения (долго рассказывать, что там случилось), выбежала, как была, в больничном халате, без пальто. Она бежала, не помня себя, не замечая машин, трамваев, и ее в таком состоянии остановила компания студентов — две девушки и парень. Понимая, что произошло что-то ужасное, они привели девушку домой к парню, дали воды, успокоили, пожалели. Там были дружки хозяина комнаты — тоже студенты. Две девушки ушли, чтобы привести начальницу подруге хоть какую-нибудь одежду. Парни, оставшись с незнакомой девушкой, стали приставать к ней. Единственное, что они позволили ей — это выбирать, с кем начать. Дело дошло до того, что они приставали к ее горлу

пож... [Это дело слушалось в народном суде Октябрьского района.]

И ведь у героя этих диких историй в нравственной основе одно с пакостниками из пансионата, одно начало: хулиганство мыслей, этническое своеобразие, зуд насилия, отсутствие понятий о чести и порядочности. Это — самое опасное, потому что не знаешь, чего можно ожидать...

Каждый раз, когда я слышу или читаю по всем этим новостям: «Как же так? Куда смотрела школа, комсомол?» Эти недоработки институтского коллектива, — я представляю некоего болвана, стоящего в стороне, тупо прислушивающегося. Он ждет, на чем перешат: отвечать за него школе, комсомолу или родителям? А с него, дескать, сами видите, нечего взять... Он, дескать, начисти лицо каких-либо черт характера, ничего какличность не значит, так, какой-то аморфный продукт внешней среды, ноль человеческий... Что ж, нолям это весьма выгодно — САМОМУ отвечать ни за что не нужно, САМОМУ думать не о чем, стремиться к САМОСовершенствованию ни к чему...

Таким нолям незнакомо чувство личной ответственности еще и потому, что мы передко позволяли себе сомнения: «А может быть, все проще? Может быть, не надо так непримиримо? Может быть, и в этот раз устроить дискуссию: «Вася переломал кусты сирени в салоне, нарочно испортил телевизор, оскорбил горничных. Кажется, он поступил нехорошо. А как думаете вы, дорогие читатели?»

Я очень жалею, что администрации пансионата не известны фамилии пакостников и хамов, они, разумеется, гадили «втихаря», тайком и наутро не приходили извиняться. Это всего несколько человек (персонал, отеля и отдающих хорошо отзываются об основной массе студентов, внесших в пансионат дух улыбки, молодости, спорта), но эти несколько хамов бросают тень на всех. А надо, надо бы называть этих «вася» по фамилиям и сказать им с порога: «Вон из приличного дома!», — предварительно заставив их заместить причиненный ущерб. А как думаете вы, дорогие читатели?

5

ЧУВСТВО меры, кто тебя выдумал? В тебе и тонкость ума и широта натуры, в тебе, во многом, интеллигентность. Ты винуешь меру дерзости, с которой можно утверждать себя, и меру скромности, без которой можно себя потерять. Ты удерживаешь от лишнего шага, который превращает работу о порядке в заскорузлое ханжество, благородиум — в нэдомисление, озорство — в глумление. Ты останавливаешь, когда идти дальше — значит идти назад, к абсурду, и толкаешь, когда идти вперед — значит пройти туда, где еще никто не был, — к открытию. Но и тебя, чувство меры, нельзя канонизировать, нельзя, говоря о тебе, забывать о тебе. И чувство меры требует сказать, что имеет право на жизнь и все БЕЗМЕРНО прекрасное, СВЕРХ МЕРЫ! — самобытное. В беспрецедентности тоже есть тайна меры.

...Ханжея я наблюдала в пансионате, так сказать, в естественных условиях, гуляющими на вольном воздухе по тропкам окрестностей, сидящими в холлах и делающими замечания вслед какой-нибудь паре, а также в других состояниях и проявлениях... Кроме того, я имел с ними продолжительные беседы (они любят поговорить), так что об этой любопытной породе людей могу судить не понаслышке, а по первоисточнику. Их, собственно, тоже немногого, относя не «две тысячи человек», но разве дело в количестве?

Как часто в эти дни, слушая волны и шепоты ханжей-блестителей, вспоминала я славную кондукторшу автобуса, так просто и весело царившую в салоне, с

удивительным тактом и пониманием подходившую к людям!

Сейчас, когда я собираюсь окинуть этих ханжек, как говорится, «критическим оком», я порой чувствую некоторую неловкость, хочется дать волю возмущению, а будто что-то мешает: ведь эти люди, думашь, вроде бы наши добродетельщики, они «пекутся об общественной пользе», «хотят, как лучше»... Все это так, это подкупает, но «интересы правды должны быть превышеличных симпатий».

На моих глазах в пансионате произошла такая сцена.

К буфету в холле отеля подошла компания молодых людей. Парень, у которого был аккордеон, загнал в сторонке, дожидался товарищеской. Признаться, я не знаю, что это была за вещь. Парень играл великолепно. Всю очередь так охлодила мелодия, что, прислушавшись, многие просто застыли на месте, и буфетчица тоже. (Это было похоже на сценку из итальянских фильмов, когда «любимец публики» поет на улице, а весь город бросает все свои дела и, умиленно слушая, раскачивается в такт серенаде. Чего-то подобное было и здесь.) И вдруг откуда-то из служебных дверей вышел человек, подскочил к музыканту и нажал рукой на клавиши. Раздался отвратительный, визгливый звук.

— Бы, между прочим, не в лесу. Проходите, не нарушайте порядок.

Снова загремела мелочь на мраморной тарелочке перед буфетчицей, засуетилась очередь. Очарование исчезло.

Запрещено играть в холле? Да, возможно. Но я спросил себя: если нарушение ПРЕКРАСНО, то нарушение ли это?

Я встречал среди ханжей людей восторженных, почти идеалистов. Они искренно хотят, чтобы во всем был порядок, чтобы пороки покинули людей и воцарились повседневно нравственная гармония. Часто они себя не жалеют, берутся за дело порой с трогательным самоопожертвованием. Одна из таких людей рассказывала мне в холле пансионата, что ради изучения современных правил он полчаса прятался в тени аллеи на трескучем морозе, чтобы узнать, подсекаются ли на подсекаются в первые же вечер познакомившиеся парень и девушка.

— И терпение мое было вознаграждено! — воскликнула этот «этограф». — Она на двадцать восьмой минуте подсекались! Конечно, я основательно промерз, но зато какой вывод, какой вывод!

При всех достоинствах этих бескорыстных рыцарей морали им был еще одно — человечность, мать всех добродетелей. Им бы чувство меры, способность отличать грязный порок от искреннего чувства, предна-мерено злое — от начиняющей опасности, циничное — от забавного. Другой бы от души рассмеялся легкой шутке, этот же подозревал крамолу и сохраняет серьезное лицо (во, как остроумно заметил К. Маркс: «серъезно относится к смешному именно тот, кто смеется над ним»). Другой бы просто швырнул молодому человеку, то рассеянности не уступившему место жаждущему, этот же сразу закричит о феодально-байских пережитках и о покушении на идею эмансипации. Другой бы просто с улыбкой покурил маленьку, дернувшего за косу девочку, а этот уж: «Вот смотрите, новое поколение! Форменные бандиты разступ! Но ведь и через тысячу лет, гражданин ханжа, когда по земле и по плантации солнечной системы будут ходить прекрасные, гармонично развитые люди, будут и поцелуй до свадьбы, и подсказки на уроках, и мальчишки не перестанут держать девчонок за колы... Конечно, нужно — для порядка — сделать строгое

лицо, но, пожалуйста, гражданин ханжа, не ругайте уж очень мальчишку, поймите: ведь ужасно хочется ему дернуть за косичку, уж больно девочка хороша, и такая она называется...

Он иногда очень прав, этот ханжа. Осудят за мыслику песню:

Бедь чудес на свете столько,
Что их все не счесть.—

и ведь, языка его вольны, прав: действительно, чудес на свете не бывает, все материалистически объясняется. Возмутится эпизодом из кинофильма, когда раненый комиссар в госпитале таинком от врачей курит под одеялом, — и ведь в самом деле болым курить не рекомендуется... Все правильно. Но как тогда и невыносимо скучен был бы мир, если бы он был сотворен по ханжескому образу и подобию!

Иногда человек кажется себе великим борцом только оттого, что придумает себе великого противника. Возомнит, что борется с коварнейшим опаснейшим врагом, и будто богатырем, спасителем отечества себя чувствует. Таков ханжа. Отсюда его страсть к преувеличениям, отсюда в пансионате отыскала «бэнда две тысячи человек». Что несколько каких-то там трибуналных хулиганов — стоит ли с ними связываться? Но, ах, как хочется избавить пансионат от заговора крупной банды! Усталый, но счастливый от борьбы, триумфатор выходит на народ, его хотят катить, он уклоняется, бормочет: «Ну что вы...» и на моем месте каждый бы... — но ему не дают договориться, поднимают инесут на руках беспечные, ничего не подозревавшие о заговоре и потрясенно благодарные соотечественники...

Да, все это, одако, тайные мечты, а банды-то в действительности нет. Но зря, что ли, пойтися: «кто идет, тот всегда найдется!» И вот бандитами объявляются парень и девушка, подсекавшиеся на двадцать восьмую минуту, аккордеонист, игравший в холле, устроившие веселую студенческую пирушку ребята, дернувший девочку за косичку мальчуган...

Ошибка, как известно, не делает лишь тот, кто ничего не делает (хотя ничегонеделание само по себе — большая ошибка), но ханжа никогда, что бы он ни делал, не сомневается в своей безошибочности. Не приведи господь столкнуться с ханжой активным, желающим всех облагодетельствовать, надеющимся силой воли, шустрым, настырым, доводящим всякое дело до конца. Хорошо, если его надоумят на полезную мысль, а у нас как взбредет ему в голову какой-нибудь вздор! Ведь такой добродетельщик в гроб вас загонит, но облагодетельствует, не поплыти не оставит. Уж лучше б он был робкий, безвольный — глядиши, из лени или по бесхарактерности на две-три глупости меньше бы сделал...

Иной раз кажется, что в основе вражды ханжей и хамов лежит какое-то недоразумение. Это же родственные души. Ханжа — это хам наоборот. То же насилие над чужой свободой, вкусом, убеждением.

В пансионате мне рассказывали о приదирках ханжей к студентам. Часто просто по пустякам. Я подозреваю, что у них зуд осуждения вызывается не конкретным случаем, а мучает их всегда. Если, бывает, ими ничего худого не замечено, все вокруг хорошо, то они чувствуют, что как бы непорядок какой, чего-то не хватает... Казалось бы, радоваться нужно, что все хорошо, а они испытывают досаду, почти разочарование.

С вожделением рассказывала одна строгая дама о том, что она видела «в десять часов ночи собирающе-

тии и девиц» (ее выражение), собравшихся кататься на лыжах.

— Помилуйте, что же здесь страшного? — возразил ей пожилой майор, также принимавший участие в беседе. — Лунный снег... Все спят, а они вот на прогулке. Да и если всегда рано по распорядку ложиться спать, то и звезд никогда не увидишь, мысли о ми-роздании в голову не при-дут...

— Вы думаете... — захо-тала дама. Наивность собеседника потрясла ее. — Вы думаете, что они из мысле-мии поехали? По лунному, как вы выражались, снегу? Детки и девиц, заметьте, бы-ло поровну, и смею уверить вас...

О великий, могучий, прав-дивый и свободный русский язык, что же они с тобой иногда делают! Смердят их мертвоборожденные слова, ибо живое слово может рож-дить лишь живая, человеч-кая мысль. Прислушайтесь, что они говорят. Они воспи-тывают, но скуча — враг вос-питания, и, в сущности, ску-ка — это невоспитанность. Вы слышите? Это голоса обывателей, созданных не для нашего печатающего шаг века, а для глухих, за-стойных, неизрекающих эпох. Сверкающие, рит-мы, идеалы нашего време-ни чужды им, и каждый раз, когда ханжа открывает рот, я почти жду, что вот он сейчас себя выдаст, ска-жет на втайне любимый им старинный манер в спину эпохи:

— Остановись! Тихими стопами-с, тихими стопа-ми-с...

*

А о автобусной останов-ке вызвался проводить меня тот самый ханжа, который полчаса на морозе подсматривал за влюбленными. Он нака-зывал мне «отразив» в статье вывод, к которому он пришел, пр�ь в тени аллеи...

На шоссе показался авто-бус. Я побежал. Ханжа сра-зу отстал, меня догоняли обрывки его напутствий: «безжалостно»... «надение правов»... «на двадцать вось-мой минуты»...

До остановки оставалось метров десять. Хотелось скорее в автобус, к живым людям, и чтобы в салоне бы-ла она, та маленькая, симпа-тичная кондукторша... (Я да-

же загадал про себя, что если снова она, то моя статья будет напечатана.)

Ослепили фары. Скрипнула задняя дверь. Я вспрыгнул на подножку. Салон был полон людей, тепло и умиротворяюще шумел. На месте кондукторши стоял высокий железный ящик с пломбой посер-дине.

ХАМ-МОДЕРН



Рисунок И. Оффенгендена.

Г. ФЛЁРОВ,

член-корреспондент Академии наук СССР, директор лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований



ПУТЬ К ВЕРШИНАМ

Рисунок В. Горяева.

Людей, беззаветно преданных науке, всегда отличала одержимость. Ради возможности прозодить научные исследования они готовы были пожертвовать семейным уютом, взнушительным постом, солидным окладом.

Вильгельм Конрад Рентген, открыв неведомое миру излучение, на целых семь недель подверг себя добровольному заточению в лаборатории. Он распорядился перенести туда свою походную кровать, спал и ел кое-как тут же, у приборов. Даже своей жене запретил отвлекать его расспросами. Зато потом, когда вышла в свет скромная брошюра «О новом роде лучей», тысячи работ в течение двенадцати лет ничего не могли прибавить к исчерпывающему исследованию великого немецкого физика.

Он отказался от завидной, высокооплачиваемой должности в Берлине, в Академии наук, ибо знал: высокий пост, связанный с административными хлопотами, отвлекал бы его от научной работы. Он отверг домогательства дельцов от науки, судивших ему миллионы дивиденды за сущий пустяк: надо было только запатентовать конструкции рентгеновских трубок и монополизировать их производство в руках одной фирмы. Рентген сознательно передал свое детище в бездальное, беспощадное пользование всему человечеству. Отсутствие ограничений, связанных с патентной дисциплиной, в скором времени привело к разительному прогрессу в рентгеновской технике.

Большое всего задело Рентгена вничестоплотное посвящение на его приоритет. Но и здесь ему не изменила его природная скромность. Он ни разу

не выступил в защиту собственного первенства. И до конца дней своих имеловал открытие им лучи не рентгеновскими, а «екс-лучами».

Рассказывая все это о Рентгене, я вовсе не ратую за тип фанатика-аскета, которому чужды все естественные человеческие радости. Одержимость учёного — это не обязательно самоотреченность. Напротив, его жизнь должна быть полноценной, интересной — разносторонней. Как бы ты ни был занят работой, можно найти время и для развлечений, и для искусства, и для спорта (кстати сказать, Рентген страстью увлекался музыкой и альпинизмом). Но не дай бог, если развлечения становятся самоцелью, если возникают разговоры о ставках, о премиях, о должностях, если начинается мистическое сведение счетов: кто больше сделал. Так умирает подлинный дух научного поиска.

Еще Шиллер не без горечи говорил: «Для одних наука — возмыщенная, прекрасная богиня, для других — великолепная дойная корова». Увы, это так. Мне приходилось встречаться с разными типами учёных. К счастью, те, у кого вместо души, так сказать, подойник, фигурировали в меньшинстве и при всем блеске своих чинов и регалий производили жалкое впечатление. Зато какое наслаждение доставляет общение с теми, кто беззаветно предан служению науки!

Убежден, что настоящий учёный подчас сам готов на любые жертвы, лишь бы ему дали возможность заниматься любимым делом. И это вовсе не красивые слова. Рассказывают, будто однажды Иван Петрович Павлов, тогда еще малоизвестный учёный,

получил от своих сослуживцев довольно крупную денежную сумму, собранную ими с тем, чтобы он обзавелся наконец приличным kostюмом. И что же? На другой день Павлов пришел в лабораторию в сопровождении своры псов. А где же новый спортук? Оказалось, деньги были потрачены на покупку собак, над которыми потом ставились знаменитые павловские эксперименты.

Советское государство обеспечило нас, ученых, всем необходимым. Но уж коли, паче чаяния, довелось бы поступиться чем-то дорогим, то, мне кажется, настоящий ученый сделал бы это и сейчас без промедления, без тени колебания. Даже если речь шла бы о собственной жизни...

В этих случаях обычно приводят в пример трагическую судьбу Энрико Ферми. Самозабвенный труженик, неистовый искатель, пламенный жизнелюбец, он в целиком отдал себя науке об атоме: великий итальянец скончался от лучевой болезни. А я вспоминаю своего учителя Игоря Васильевича Курчатова. Подвижник науки, выдающийся ученый, он умер на боевом посту, до последних минут занимаясь важнейшими научными работами.

Мне выпало большое счастье сотрудничать с академиком Курчатовым с 1936 года до самой его кончины. Покоряющее обаяние человека, одержимого творчеством, проницательный ум ученого, динамический темперамент организатора — таким осталась «хозяйня атомного огня» в сердцах его многочисленных учеников.

Иgorь Васильевич научил нас зоркости экспериментатора. «В физике нет мелочей», — любил говорить он. И заставлял нас методично, по несколько раз проходить контрольные опыты, чтобы лишний раз проверить: а вдруг что-то не так? Признаться, тогда мы по молодости считали это придирчивостью педанта. Нам не терпелось закончить одну работу, чтобы поскорее перейти к следующей. А Игорь Васильевич придумывал все новые и новые проверочные опыты. Однажды в глухую осеннюю полночь мы спустились в метро «Динамо», чтобы укрыть наши приборы от всепроникающего космического излучения и тем самым окончательно убедиться в существовании нового эффекта — самопроизвольного деления ядер. Зато уж после этого заключительного эксперимента мы окончательно уверовали в достоверность своего предположения. Именно тогда поняли мы, что одного творческого горения мало. Нужен кропотливый, посвященный труд, ибо только он венчает собой всякое научное открытие.

Через четыре года наши результаты нашли свое подтверждение в работах зарубежных ученых. Это было триумфом молодой советской науки об атоме.

С тех пор минуло около двадцати лет. Общеизвестны успехи Советского Союза в освоении атомной энергии. И в каждом из них — искра неумеренной натуры Курчатова. Зараженные энтузиазмом своего учителя, представители курчатовской школы, которые теперь уже сами ходят в учителях, несут беспокойный дух страстного, неутомимого, вечного поиска...

У Института атомной энергии имени И. В. Курчатова, где был построен первый атомный реактор, появилась многочисленные собратья: Институт ядерной физики в Новосибирске, Объединенный институт ядерных исследований — целый город науки в Дубне, десятки творческих коллективов, о которых так мечтал когда-то пионер советской науки об атомном ядре Курчатов.

Разумеется, Курчатов учил нас не только труду люблю. Порой остроумная экспериментальная идея может избавить ученого от тяжелого труда, а главное — от непроизводительной траты времени.

Как-то великий Резерфорд заглянул вечером в лабораторию. Несмотря на поздний час, над прибором горбился один из его многочисленных учеников.

— Чем вы заняты, мой юный коллега? — осведомился шеф.

— Ставлю опыты, — последовал ответ.

— А что вы делаете днем?

— Тоже ставлю опыты.

— И рано утром!

— Да, и рано утром!

Седые брови старика взметнулись кверху.

— Погашай, черт возьми, а когда же вы думаете?

Да, ученому требуются не только ловкие пальцы, не только трудолюбие. Перед тем, как провести эксперимент, физик должен до тонкостей продумать цель, средства и процедуру опыта. И это занимает порой не меньше времени, чем сами опыты. Отграничено одним, но достаточно поучительным примером.

Последней работой нашей лаборатории было открытие нового типа радиоактивности.

Чтобы пояснить, о чём речь, мне надо начать издалека.

Радиоактивность, то есть превращение одних атомных ядер в другие, сопровождается излучением. Долгое время атомная алфавитика насчитывала только три буквы: альфа, бета и гамма. Каждая из них обозначала определенную разновидность излучения. Потом было обнаружено использование ядра нейтронов. Наконец, упомянутый мной эксперимент на станции метро «Динамо» подтвердил существование пятого типа радиоактивности — так называемого спонтанного деления, когда ядро самопроизвольно раскалывается на куски.

Все ли этой Многие физики — американец Луис Альварес, член-корреспондент АН СССР Б. С. Джелепов — уже давно подозревали, что возможен шестой вид радиоактивности, когда ядро «выстреливает» протоны. Но только эксперимент мог подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

В 1955 году этой проблемой занялись молодые сотрудники нашей лаборатории, которая входила тогда в состав Института атомной энергии АН СССР. Академик И. В. Курчатов, несмотря на чрезмерную занятость, оказывал нам и в этом посредине помощь.

Итак, подготовка экспериментов была начата извесно давно. Однако до поры до времени она носила характер предварительных расчетов. Продумывались различные варианты опытов. Наконец, несколько лет назад в Дубне был сооружен мощный циклотрон. Группа молодых ученых под руководством Виктора Карапахова — физик Гурген Тер-Акопьян, радиоинженер Владимир Субботин и лаборант Николай Данилов — с энтузиазмом взялась за сложную задачу. Немало времени и труда ушло на проектирование, изготовление и наладжение специальной установки. Но разве есть трудности, которые были бы не по плечу непоседливой нашей молодежи! И вот получены первые результаты: да, излучатели протонов существуют. Появление было отыскана иголка в стоге сена! Ведь интересующие нас реакции идут на фоне других процессов, причем «громкость» помех в миллиона раз сильнее слабого сигнала, оповещающего о протонном «выстреле» ядра.

И тут возникла такая дилемма. Можно было решить по уже «обкатанной», привычной методике. Правда, пришлось бы выполнить весьма трудоемкие и малоэффективные операции. А можно было остановить эксперимент и попытаться изобрести более совершенные экспериментальные приемы. Однако



Виктор Карнаухов.

здесь налицо был риск: а вдруг время будет потерянно впустую и после долгих бесплодных поисков придется вернуться к старому способу? Мы все же решили поискать более надежный и простой способ регистрации невидимых «снарядов» — протонов.

Еще полгода напряженного труда... Удалось создать новый прибор, в котором для измерения энергии протонов использовались полупроводниковые счетчики. Что-то покажет эксперимент? С волнением приступали ребята к опытам после полугодового перерыва. Но затраченные усилия были вознаграждены сторицей. Был получен не один, а целых два излучателя протонов! Влияние помех было сведено к минимуму. Сейчас в нашей лаборатории готовится очередное наступление, которое даст дополнительные сведения об этом интереснейшем явлении.

Об итогах своей работы В. А. Карнаухов, Г. М. Тер-Акопьян и В. Г. Субботин сообщали еще в 1962 году. И вдруг сюрприз!

В начале 1963 года я получаю зарубежный научный журнал, где черным по белому значится: Макгиллской лабораторией открыт новый вид ядерного распада — протонная радиоактивность! По-видимому, наши канадские коллеги просто не в курсе гораздо более ранних советских публикаций. Добро бы речь шла о самолюбии одного человека, это еще куда ни шло. Между собой, внутри страны, мы никогда не стали бы считаться: как говорится, свои люди! Но когда дело касается престижа Родины, здесь согласитесь, уступать не приятно. Надеемся, что канадские ученые признают приоритет своих советских коллег.

Для сегодняшней науки весьма симптоматично, что одной и той же проблемой занимаются сразу несколько лабораторий, так что порой действительно не разберешься, кто же в конце концов первым сделал то или иное открытие. Зато взаимный контроль и взаимообогащение идеями способствуют более быстрому прогрессу в той или иной области. И еще одна характерная «особенность» свойственна теперешней науке: дух коллективизма в решении сложных задач.

Вспоминаю, как однажды на альпинистской базе в Домбае мне пришлось участвовать в одном споре, где мой оппонент высказал мысль:

— Я люблю науку. Но мне, ей-богу, надоело бытьдесятой спицей в колеснице чужой карьеры.

Говоривший оказался молодым парнем. И отличным скаколазом. Как всякий альпинист, он хорошо знал, что такое товарищеская спайка. Нет, речь идет не о веревке, которой скаколазы накрепко связывают друг с другом. Никакой самый прочный трюс не поможет, если связанные им люди не объединены в целостный, хорошо сработавшийся коллектив. Коллектив, в котором от каждого своего шага зависит судьба товарища, зависит общее дело, общая цель. Здесь нет места зазнайству высокочинки и себялюбию индивидуалиста. Не выдижинь — лучше откажися сразу. Но уж если взялся за альпинистский гуж, изволь идти в ногу, не забегая вперед и не отставая, не взваливая груз собственной беспомощности на верные плечи соседа. Идучи впереди, умея откладываться на тех, без кого ты сам по себе, в одиночку, никогда не добрался бы до засветной вершины...

Я недаром припоминаю аналогию между цепочкой альпинистов и исследовательской группой. И неспроста заговорил о коллективе. Только хорошо взаимодействующему сооружению ученых, инженеров, техников, которые «притерялись» друг к другу, по плечу проблемы большой науки. Ученый-одиночка, ученый-индивидуалист становится анахронизмом. И уж коли человек, работающий в коллективе, увлечен научной проблемой, а не проблемой защиты диссертации, он не станет выпичивать свое «я», заниматься местнической дележкой на «твое» и «моё» и тем более считать, что он работает «за чужого лядю». Все мы, от лаборанта до руководителя лаборатории, вносим посильную лепту в общий труд.

Газеты и журналы много пишут о синтезе элемента номер 102 — точнее, самого тяжелого из его изотопов. Еще в 1957 году группа ученых из разных стран в Нобелевском институте (Стокгольм) сообщила об открытии элемента 102, который сразу же «окрестили» нобелием. Но осенью того же года американские ученые в точности повторили опыты шведов и не подтвердили их. Оказывается, «окрестиль» слишком поспешно, к тому же несуществующего нобородженного. Проверку работы шведов провели и советские ученые, но также их не подтвердили. Открытие было «закрыто». С тех пор новородженный стал безымянным: его называют просто «элемент № 102».

Окончательный успех был достигнут лишь в мае 1963 года. Группа молодых сотрудников Объединенного института ядерных исследований (Е. Д. Донец, В. А. Ермаков, В. А. Щеголев) получила изотоп элемента 102. Правда, еще в 1958 году американские исследователи тоже синтезировали элемент 102, только другой его изотоп — с атомным весом 254, а не 256, как у нас. Но надежность их результатов была на много ниже, что признавал сам руководитель этой работы — американский ученый Гленни Сиборг, который приехал к нам в Дубну в прошлом году. И до сего дня не прекращаются дискуссии о том, какой стране принадлежит честь открытия. А от этого зависит название элемента. Как он будет называться, покажут международные соглашения. Но я сейчас говорю не о том. Мне бы хотелось лишь подчеркнуть, что это не просто синтез нового элемента. Это синтез мыслей, усилий, энергии большого исследовательского коллектива. Захваченные волющими экспериментом, ребята не боялись переработать лишенное времени, а порой приходилось дежурить у приборов и по ночам. Им и в голову не приходило считаться, на ко-

го и сколько они трудились. Ахорадочная атмосфера поиска царила тогда в нашей лаборатории!

Я называл Евгения Донца, Владислава Щеголева, Виктора Ермакова. Они блестяще прошли самую ответственную, завершающую стадию эксперимента. Между тем одни, вне коллектива, они не смогли бы добиться успеха.

За любой победой человеческого разума стоят не только полководцы, но и просто рядовые, порой даже безымянные солдаты науки.

Вот, скажем, Алексей Пильков. Он механик. Но у него золотые руки. Без его искусства, без его поддержки ребятам пришлось бы тут. А сколько иных рук, порой невидимых, но неизменно дружеских, помогало нам в этой работе!

Новый изотоп удалось синтезировать потому, что физики — ученые и инженеры — научились получать интенсивные пучки тяжелых ионов на дубенском циклотроне, который вот уже несколько лет не имеет конкурентов среди подобных установок во всем мире. А в наладке ускорителя принимали участие и Юрий Оганесян, Александр Аниев, и Владимир Рогозинский, и Алексей Филиппов, и Валерий Тишин, и Константин Львович Плюснин. Да мало ли незримых помощников участвовало в этой работе! А представьте, что бы получилось, если бы кому-нибудь из них надоели быть «десятой спицей в колеснице» и «работать на чужого дядю»!

Шутка сказать: циклотрон! А без механика, умелого изготовить крохотную кассетку для постановки эксперимента, бессильна эта могучая машина. Великолепна методика выделения синтезированного изотопа, а без реактивов, приготовленных лаборантами, радиохимику шагу не ступит. Остроумна идея, предложенная кем-то из молодых физиков, а без консультации с руководителем лаборатории она может оказаться пустощетом.

Проницательный ум, зоркий глаз, ловкие пальцы, крепкие плечи — все найдется в хорошем коллективе. Каждый на своем месте — неотъемлемое звено цепочки исследователей, шаг за шагом взбирающихся к вершинам науки.

И лаборант, и механик, и исполнитель, и руководитель — все нужны физике.

Что греха таинь, в физике, как и в любой другой науке, передки случайные люди. Они исправно отсиживают положенное время, аккуратно приходят дважды в месяц к окочечку кассы. Их нельзя называть балластом: какую-то пользу они, несомненно, приносят. Но за что они ни возьмутся, все делается бесстрастно, равнодушно, ровно настолько, чтобы оправдать получку и не получить нагоняй от начальства за безделье. Это люди «без божества, без вдохновенья». А наука требует горения.

Как привлечь в науку настоящих искателей? Не столовачальников с дипломом в кармане, а людей, одержимых каждой исследованием?

Энтузиастами физики становятся не с пеленок. Семья, школа, вуз, библиотеки, клубы, даже кино — все это формирует интересы юноши или девушки, привлекая их к определенной сфере деятельности или отталкивая от нее. Привлечь к науке, и прежде всего к таким ведущим ее областям, как физика, химия, математика, биология, — насущная и необходимая задача всей нашей системы воспитания, а также искусства и литературы.

«Девять дней одного года» — один из немногих фильмов о современных ученых-физиках. А жаль. Таких кинопроизведений могло бы быть больше, хотят, правду сказать, не все одинаково хорошо в этом фильме. Он может увлечь, а может и отпугнуть кое-кого от физики. И не мудрено. Подставлять героя без

собой нужды под смертоносное облучение, чтобы тем самым ступить драматизм, — это не только переборка. Это в принципе неверно или, как говорят литераторы, нетипично. Ведь одержимость ничего общего не имеет с бессмысленным риском. К тому же современная техника безопасности практически исключает подобные ситуации. В ядерной физике работать иначе, чем опаснее, чем, скажем, на железной дороге, в авиации, в электротехнике. И уж если действительно понадобилось показать самопожертвование, то оно должно быть более веско мотивировано.

...Разумеется, главная роль в формировании научных устремлений принадлежит педагогам.

Выявите способности к точным наукам по сравнению со труднее, чем к музыке или живописи. Нет человека, у которого вообще отсутствуют способности. Надо только суметь их пробудить. Думаю, что, прежде чем выявлять дарование, надо увлечь ребят наукой. Особенно это справедливо в случае экспериментальной физики, где незатейливые опыты с проволочками, стекляшками, деревянками вскрывают тои-



Евгений Донец.

кие закономерности сложного и во многом еще загадочного мира. Конечно, не всякий эксперимент, скажем, из области ядерной физики, можно продемонстрировать на уроке. Но для того-то и существуют станицы юных техников, музеи, кинофильмы, лекции, телевизионные передачи, экскурсии в современные лаборатории. О таких возможностях мы в свое время и мечтать не могли.

Наши поколения росло в трудные годы, когда страна напрягала все силы, осуществляя ленинский план индустриализации. С чувством огромной при-

знательности вспоминаю своих преподавателей, особенно Владимира Ивановича Войнова и Максима Владимировича Левинского, которые, несмотря на скромные возможности тогдашней школы, сумели избодорожить наше юношеское воображение загадками сказочной страны — физики. У нас и в помине не было ни школьных лабораторий, ни богатых библиотек. Техника кино тогда еще делала только первые шаги (я уж не говорю об отсутствии телевидения). Не хватало бумаги; электрическое освещение или паровое отопление считались роскошью. Страны нужны были в первую очередь инженеры, командиры промышленности. Тогда науке не уделялось столько внимания, как сейчас. Да и сама наука была иной. То, что сейчас проочно вошло в учебники, для нас являлось откровением.

Вузов было мало. Чтобы поступить в институт, мне предстояло поехать в Ленинград, но в этот вояж в нашей семье просто не нашлось денег.

Шестнадцать лет, сразу же по окончании школы, я стал чернорабочим. Затем поступила на завод «Ростсельмаш» электриком-монтажником. Потом стал помощником машиниста на диспетчерской станции. Денег хватало в обрез. Но тяга к учению, разужженная школьными педагогами, не угасла. И вот наконец мне повезло. Работая на паровозоремонтном заводе, я получил право на бесплатный проезд по железной дороге. И не преминул им воспользоваться. Так в 1931 году я очутился в Ленинграде. Остановился у родственников. Им самим было туда с жильем, но что делать? Пришлося принять новоявленного электрика с завода «Красный путьловец». Лишь в 1933 году удалось сдать экзамены на физико-технический факультет Политехнического института. Степенями студенты в ту пору обеспечивали далеко не все. Поэтому приходилось по ночам прирабатывать на заводе. Свободного времени не оставалось, если не считать полуторачасовую тряску в трамвае по дороге от завода до института. Впрочем, и этот резерв времени уходил на чтение конспектов.

Я говорю обо всем так подробно для того, чтобы читатель представил себе жизнь не просто типичного студента той поры, а самого настоящего счастливца, которому удалось поехать в Ленинград, поступить в институт, найти, где жить, и достигнуть наконец желанной цели — слушать лекции по физике. Это немного смешно читать теперешнему студенту, которому не довелось испытать наших трудностей, которому Советская власть обеспечила гладкую дорогу в науку. Но мы тоже не унывали. Ведь не в комфорте и съесте главное!

Именно в институте я понял, что нет на свете науки лучше ядерной физики. К такому решению помог мое прийти замечательный ученик и чуткий педагог Яков Ильич Френкель. Это он собирал у себя круглекомпактной молодежи, которой старалась привить культуру мышления и чуткость слуха физика-исследователя. Это он впоследствии рекомендовал меня человеку, имя которого вскоре прогремело на весь мир, — Игорю Васильевичу Курчатову.

Ядерная физика — наука неисчерпаемых возможностей. Между тем несколько лет назад среди некоторых ученых стало распространяться мнение, будто физика расцепляющихся материалов себя полностью исчерпала с овладением энергией ядерного деления. Этот скепсис понятен. В те годы приходилось заниматься изучением и уточнением вских ядерно-технологических данных, необходимых для атомной энергетики. Одной большой науке, которая всегда привлекала молодежь многообещающими перспективами, казалось, не могло быть и речи. В экспериментальную ядерную физику шли порой менее охотно, нежели в электронно-счетную и ракетную технику, в физику лазеров и полупроводников.

Однако достижения последних лет неопровергнули свидетельство, что изучение ядерных процессов обещает немало сюрпризов и открытий. Революция, начавшаяся в декабре 1942 года, когда Энрико Ферми запустил первый в мире атомный реактор, продолжается! Новые вершины манят любознательную молодость в трудный, но романтический поход. Путь к вершине...

Нет спорта прекрасное, чем альпинизм! Подумай только: бескорыстный риск, борьба с опасностью ради того, чтобы насладиться величественной картиной, открывющейся с заоблачных высот. Картина покоренной природы. Неповторимое чувство удовлетворения достигнутой целью! И благодарности к друзьям, которые помогли тебе взобраться на неприступные скалы.

Так должно быть и в науке. Ученый и в самом деле чем-то напоминает альпиниста. Ведь наука не укатанный тракт, а вечные ухабы, спуски и подъемы. Помните, как хорошо сказал об этом Маркс: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сиющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам».

г. Дубна.

Владимир ИШИМОВ

НА ГИМНАСТЕРКЕ— ОРДЕН СЛАВЫ

Николай Лянцев, мастер Московской карандашной фабрики имени Сакко и Ванцетти,— очень скромный человек. Он не любит в будние дни носить свои ордена и медали. Но однажды друзья уговорили его, как он смущенно пошутил, «нацепить весь иконостас»: предстоял торжественный вечер. Дело было летним порой, и взгляды многих прохожих останавливались на боевых знаках отличия, прикрепленных к штатскому пиджаку. А на обратном пути, в метро, какой-то офицер с нескользкими рядами орденских планок остановился, глянул Николаю вслед, а потом, нагнав, дотронулся до рукава и взял под козырек:

— Прошу прощения, товарищ! Я сам воевал, видел многих герояев. Но кавалера Славы всех трех степеней встречал впервые. Счастлив был бы познакомиться...

Чему так удивился бывший офицер? Неужто и в самом деле кавалер ордена Славы полного, как говорили в старину, банта — такая редкость?

Судите сами.

За четыре года великой войны с фашизмом миллионы советских воинов были награждены орденами и медалями. Сотни тысяч из них — орденом Славы III степени. Второй орден Славы заслужили десятки тысяч. А вот ордена Славы высшей, I, степени удостоились всего лишь две тысячи бойцов!

Отчего же так мало? Ведь даже медаль «Золотая звезда» — высшая награда страны — украсила за войну грудь более одиннадцати тысяч Героев Советского Союза!

Дело в том, что орден Славы — своеобразный, необычный знак доблести. Его не мог получить ни офицер, ни генерал, ни адмирал, ни маршал. Президиум Верховного Совета СССР учредил его как особый, исключительно солдат-

ский орден. Да и солдату или сержанту далеко не всякий успех в бою приносил право на эту награду. «Солдатская Слава», как прозвали орден на фронте, венчала только личную отвагу, личный подвиг.

Что же должен был совершить советский боец, чтобы на него пропаленный солнцем, продутой многими ветрами, продубленной потом, вышвященной гимнастерке спрятали своим звездными лучами орден Славы?

Об этом и трактует орденский статут.

Вот они, эти поступки.

Орденом Славы награждается тот, кто:

ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал успеху общего дела...

Карельский перешеек. Гремит кровавый бой. Фашисты **ожесточенно** дерутся, изо всех сил цепляясь за каждый метр земли. Роте, где командовал взводом кавалер двух орденов Славы старший сержант Николай Залетов, предстояло захватить поселок. Это так говорится — поселок. Гитлеровцы укрепили его и сделали своим опорным пунктом.

Выбыл из строя командир роты. Залетов заменил его. По его приказанию один взвод открыл по поселку бешеный огонь. А два других взвода под командованием Николая пошли на поселок лесом, в обход.

— Вперед! — И бойцы бросились за своим командиром в атаку. Противник не ожидал этого удара. И был полностью уничтожен.

Старший сержант Залетов получил орден Славы I степени. На тыльной стороне ордена было выгравировано: № 1. Так Николай Андреевич Залетов, ныне начальник электростанции Сердобского часовного завода, стал пер-



вым полным кавалером ордена Славы.

Орденом Славы награждается тот, кто:

...из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника...

На личный счет снайпера Анатолия Козленкова в один из последних дней войны был занесен статистика деяния четвертый убитый фашист.

Орденом Славы награждается тот, кто:

...презирая опасность, первым ворвался в дзот (дот, окоп или блиндаж) противника, решительными действиями уничтожил его гарнизон...

30 апреля 1945 года. Бой идет в здании рейхстага. Туда ворвались несколько рот советских автоматчиков. В их числе отделение во главе со старшиной Иваном Голобоковым. Рейхстаг не дот. Это крепость, где дот — каждая комната, каждый лестничный проход. И Голобоков впереди своих бойцов первым брыкался в эти доты.

А тем временем, прикрываемые Иваном Голобоковым и другими автоматчиками, сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария пробирались все выше и выше — на крышу рейхстага, чтобы водрузить над ним знамя Победы.

Орденом Славы награждается тот, кто:

...в результате личной разведки установил слабые места обороны противника и вызвал наши войска в тыл противника...

Сержант Николай Первухин с группой разведчиков прошел через

линию фронта на окраину Кривого Рога и захватил двух пленных. Прикрывая отход разведчиков с пленными, обстрелял группу немцев и принудил их к бегству. Благодаря доставил пленных в штаб, где они дали ценные свидетельства. В ту же ночь прошел через фронт в центр города стрелковую роту, чтобы не дать немцам увезти ценностей... Кстати сказать, не кто иной, как Первухин во главе своего взвода первым ступил на польскую землю — форсировал Буг у Бреста...

Орденом Славы награждается тот, кто:

лично захватил в плен вражеского офицера...

Что там один офицер! Командир разведвзвода 404-го отдельного пулевого батальона старшина Иван Васютов за один лишь 1944 год притянул 32 «языка».

Орденом Славы награждается тот, кто:

...рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему неизвестной опасности...

1 мая 1945 года, за неделю до конца войны, командир полка подполковник Эберзин на «джипе» под охраной посаженных на бронетранспортер разведчиков, которых возглавлял Валентин Паутов, ехал на НП командира дивизии. Внезапно на них напали немцы. Шофер «джипа» былбит. Эберзин ранен. Многие бойцы сразу всплыли из страха. Разведчики заняли круговую оборону. Но немцев значительно больше. Кольцо сжимается. Вскоре в строю оста-

ются лишь Паутов и Лесников. Валентин Паутов послал товарища за подмогой и один ведет бой, не давая немцам подойти к Эберзину. Вдруг колоссальная мощность взрыва прогрыз землю. Паутов потерял сознание. Это было фауст-патрон... Но тут подоспели свои. Командир и Паутов были спасены.

Орденом Славы награждается тот, кто:

...находясь в подбитом танке, продолжал из оружия танка выполнять боевую задачу...

Механик-водитель Григорий Васильевич Тюлев ворвался на своей машине в польский город Ярослав, за который яростно дрались фашисты. Несколько часов он вихрем носился по городу, прочесывая улицы и переулки, давя огневые точки, пулеметы, истребляя живую силу, уничтожая автомашины. И вдруг в танк ударила снаряд. Два члена экипажа ранены. Танк застыл, недвижимый. На него бросились гитлеровцы. Но Тюлев и радост открыли по ним огонь. Атака захлебнулась. Фашисты побежали, оставив семнадцать трупов... Отважные танкисты держались в своей маленькой крепости, покуда в Ярослав не вошла наша пехота.

Орденом Славы награждается:

...летчик-штурмовик, который в результате смелых инициативных действий уничтожил в воздушном бою один или два самолета противника...

А воздушный стрелок из экипажа Героя Советского Союза Николая Тараканова старшина Федор Занко сбил шесть истребите-

лей врага. Всего же за войну он сделал 335 боевых вылетов.

Конечно, это не весь статут. Но теперь вы представляете себе, какой ценой давались храбрецам их подвиги! А кавалеры двух орденов Славы? Ведь так отмечались лишь те, кто подобный акт высшего личного качества совершил минимум дважды! Храбрецы из храбрецов! Как же тогда назвать воинов, заслуживших третью звезду Славы?

Орден Славы был установлен в дни празднования двадцати шестой годовщины Октябрьской революции — 8 ноября 1943 года. Незадолго перед тем бесславно закончилось последнее стратегическое наступление Гитлера на Курской дуге.

Героизм советских солдат, массовый из самого начала Великой Отечественной войны, становился всеобщим. И мне кажется, что рядовой солдат в пилотке, в кирзовых сапогах, со звездой ордена Славы на гимнастирке — это лучший и точнейший символ нашей армии-освободительницы, нашего народа, принесшего тяжайшие жертвы и сделавшего гигантские усилия, чтобы похоронить коричневую чуму. Чтобы завоевать мир для мира. Чтобы обеспечить счастье человечеству. Потому что именно он, рядовой советский солдат, труженик войны, — главный «виновник» победы.

И если ты, товарищ молодой современник, встретишь человека с орденом Славы на груди, вспомни: он не желал своей жизни, чтобы жила ты! Пусть он увидит признательность в твоем взгляде.

**К. К. РОКОССОВСКИЙ,
Маршал Советского Союза**

ПУСТЬ ЗНАЮТ ИХ ИМЕНА

Да, орден Славы не обычный орден. Он стоит особняком среди всех других орденов Страны Советов.

А ведь наше народное правительство учредило их немало — знаков отличия, которыми награждаются за заслуги перед революцией. Двадцать три боевых ордена и десятки медалей, начиная с первого советского ордена Красного Знамени, чьим первым кавалером был Василий Константинович Блохер. Особенностью многих новых боевых орденов являются в годы Великой Отечественной войны. Большинство их назовано именами наших великих полководцев и флотоходцев прошлого: Суворова и Кутузова, Нахимова и Ушакова, Александра Невского и Богдана Хмель-

ницкого. И это хорошо, потому что тем самым подчеркивалась преемственность прогрессивных воинских традиций нашего народа, связь между борьбой, которую в былье времена вела Россия против иностранных захватчиков, и Великой Отечественной войной Советского Союза. Жаль, конечно, что не были установлены ордена, которые олицетворяли бы еще более близкие нам традиции — революционные традиции гражданской войны. Разве не было бы для любого советского военачальника великой честью награждение, скажем, орденом Фрунзе?

Солдатский орден Славы тоже в какой-то мере перекликался со старинным солдатским орденом, дававшимся за личную отвагу, — Георгиевским крестом.

Этим крестом, или, как он официально именовался, знаком отличия Военного ордена, тоже награждали, начиная с пиньши, четвертой степени. Лейтей для ордена Славы была избрана георгиевская ленточка. В статуте ордена Славы, наподобие статута Георгиевского креста, были конкретно перечислены подвиги, за которые полагался орден.

Но не подумайте, что перечень в статуте был таким догматическим прокрустовым ложем, в которое старались втиснуть любой смелый поступок. Конечно, нет! Ведь военные будни то и дело рождали такие ситуации, такие эпизоды, такие формы геронизма, которые невозможно было ни предусмотреть, ни предугадать. Жизнь всегда изобретательнее самой изощренной фантазии. На то она и жизнь! Даже если эта жизнь называется войной.

И в самом деле! Разве можно было, например, обойти наградой разведчика Ефима Минкина, который наряду с бесчисленными «утвержденными» подвигами проделал такую операцию: в Словакии, во глаze группы отважных, перебрался через фронт, углубился на пятьдесят километров в горы и вышел оттуда к нашим войскам партизанский отряд, состоявший из бежавших военнопленных-французов, и советскую диверсионную группу. До самого последнего момента все шло как нельзя лучше. Неожиданность подстерегла группу уже в расположении наших войск: французы были в словацкой, а наши диверсанты — в немецкой форме, и заметившие их танкисты приняли положение «к бою». Минкин со всех ног пустился к командирскому танку и успел предотвратить кровопролитие. За этот подвиг Минкин был награжден третьим солдатским орденом. Ныне кандидат наук, научный сотрудник Института гидрогеологии и инженерной геологии Ефим Альович Минкин по праву носит титул полного кавалера ордена Славы...

Илан взяты сапера Пантелеймона Ивановича Демина. В июле 1944 года при форсировании Вислы под Демблином 70 амфибий с солдатами 172-го гвардейского стрелкового полка сели на мель и оказались под сильным огнем противника. Демин первым спустился на воду лодку и поплыл к амфибиям. За ним последовали товарищи. Десятки лодок по примеру Пантелеймона Ивановича снимали солдат с машин и перевозили их на западный берег. Немецкий огонь все усиливался. Уже множество лодок разбито минами и снарядами, перевернуто. Тонут люди. Раздаются крики раненых. Демин знал уже пять рейсов, когда над рекой появились пикирующие бомбардировщики «Ю-88». Они построились в адский хоровод и приготовились пикировать на переправу. Раздался леденящий душу вой их сирен... Демин увидел, как от одной из машин оторвались две капли — бомбы... С ужасающей скоростью они стали расти, мчаась прямо в его лодку. Он закинулася, пригнувшись в воду и достала дно, когда ударили взрывы. Оглушенный, Демин все-таки выплыл. От лодки остались лишь щепки. С величайшим трудом добыл Демин до своего берега, обесцелился, полежав несколько минут на песке и снова, искочив в другую лодку, принялся перевозить нехотитцев. На девятом рейсе снова налетели самолеты. Осколок пробил борт. Демин сорвал с себя гимнастерку и заткнул пробону. Он сделал еще семь рейсов... Орден Славы I степени вручали мужественному саперу.

...да, кавалеры ордена Славы и в особенности полные кавалеры заслуживают того, чтобы народ воздал им особые почести.

Я не берусь предложить готовый рецепт, как это сделать, какие формы должны принять эти почести. Быть может, надо в каждом городе или деревне, где живут кавалеры Славы, соорудить своеобразную до-



Маршал Советского Союза
Константин Константинович Рокоссовский.

ску почета с их фамилиями и портретами. Быть может, высечь имена полных кавалеров на специальном обелиске в Москве или во Дворце съездов, или в Центральном Доме Советской Армии. Быть может, следует издать подробный биографический справочник о героях. Насколько мне известно, за последние годы вышло всего три книги, посвященных полным кавалерам Славы. Конечно, этого мало! Тем более что самая большая из них — «Солдатская слава», написанная генералом В. Лободой, содержит сведения только о 200 с лишним воинах из двух тысяч. Кстати сказать, товарищ Лобода проделал гигантическую работу, почти неисполненную для одного человека: ведь ингредиент в том числе и в Музее Советской Армии, к сожалению, нет систематизированных сведений о кавалерах ордена Славы.

Наш общий долг — сделать так, чтобы каждый солдат-герой, увенчанный орденом Славы, был окружён любовью иуважением сограждан.

За это дело надо брататься общественности, и прежде всего, мне думается, комсомольской, молодежной общественности. Потому что задача здесь двуединая — не только воздать должное отважным, но и внимательно в них взглянуть, решая извечный вопрос, встающий перед юным поколением: с кого делать жизнь? Среди них, храбрейших из храбрых, вы, молодые мои друзья, можете найти достойные подражания образцы.

мена, когда он стал уже широко известным писателем, автором таких книг, как «Мое поколение», «Облачно-зеленая Арктика», «Непокоренные», «Донбас»... Давайте на страницах «Юности» начнется письма Бориса Гордатова. Первый раз (в 1955 году) это было письма Альфреда Каприана и Людмилы Альфредовны (они были женой и сыном писателя в 1953 году) — письма красноармейца Гордатова, несшего в начале службы на Канаке — к той же Альфе, но уже ставшей его женой. В обоих случаях это были чудесные письма человека чистых помыслов, щедрого сердца, умелого по-настоящему ценить красоту человеческих отношений. Читаем «Юности» оба раза в одинаковом интересе и внимание. И можно не сомневаться, что наше юношество с таким же интересом встретят книгу «Воспоминания о Борисе Гордатове» — книгу, в которой шаг за шагом прослежены низкая и творчество умного и честного писателя, одного из лучших приставленных новоиспеченых гордиков.

Человек с коринками — так называют Гордатова писатель Константин Симонов в своем очеркне, который открывается эта книга. Человека характеризует не только потому, что на протяжении всей своей жизни Гордатова питал сиюююю привязанность к Донбассу и его людям, и краю, где родился, — но и по восторгам и благодарениям, которые он по восторгам и благодарениям — то ли в шахтерском земледелии, то ли на арктических островах воине.

Сборник этот выпущен издательством «Советский писатель». Он представляет собой книгу для коллегиально-попестной Гордатова, написанную его друзьями и фланками, довольно знакомыми и радостями жизни и новогодними и новым настроением детства, и в годы юности, и в более поздние времена.

Борис Гордатов никогда не назывался «тираж завоеваний», его всегда величали «стремителем знаний». Потому что и книги его так склонны, проникнуты, достоверны, проникнуты, его такой глубокий и любознательный, строящим завоевания или рубающие углы, или обнимавшим Арктику или с оружием в руках, защищающим Родину от врагов!

Канаки, кто забочет прочность

Бориса Гордатова никогда не назывался «тираж завоеваний», его всегда величали «стремителем знаний». Потому что и книги его так склонны, проникнуты, достоверны, проникнуты, его такой глубокий и любознательный, строящим завоевания или рубающие углы, или обнимавшим Арктику или с оружием в руках, защищающим Родину от врагов!

Канаки, кто забочет прочность

Бориса Гордатова, узнает много интересного о становлении писателя, о понимании им своего места в обществе, о присущем писателю чувстве личной ответственности за все, что происходит вокруг, о его чувстве постоянного интереса к майнингу на борьбу (во всех ее проявлениях), за торнество новой жизни.

Л. ЖЕЛЕЗНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ о Борисе Гордатове

У этого книги — трицать четырех авторов, а могло быть и во много раз больше: ведь Бориса Гордатова знали во всех уголках страны, и не только по его талантливым произведениям, но и по восторгам и благодарениям — то ли в шахтерском земледелии, то ли на арктических островах воине. Сборник этот выпущен издательством «Советский писатель». Он представляет собой книгу для коллегиально-попестной Гордатова, написанную его друзьями и фланками, довольно знакомыми и радостями жизни и новогодними и новым настроением детства, и в годы юности, и в более поздние времена.

Если вам никогда еще не приходилось читать произведение писателя Юрия Казакова, обязательно — доставьте эту книгу — «Голубое и зеленое» (изд. по «Советской писательству»). Широко представлена в ней тема писательского творчества своего соотечественника — знатного писателя Юрия Казакова, чье сияющее, яркое, лирическое, исполненное теплоты и любви и чистоты и нежности и людей и мыслей русской пряди. О природе Ю. Казаков пишет проницательно, с якобы явленной прутью: «Несколько лет начинавший ходить по обрывкам цветов, мелкими, все сияют, — синие густые, и оранжевые и сизые, Казаков Николай Иванович, забывший синий ручей, который издавна питал его, — вспоминает многое героя. На землю, опиравшуюся природой, все больше света сияет, исчезает, но напротив усиливается густота, и оранжевые смутные темы передвигаются, сцеплены по цветовому мосту». В природе находят душевное спокойствие и гармонию, а в природе — чистоту и ясность.

Все синие цвета синеют, исчезают, но напротив усиливается густота, и оранжевые смутные темы передвигаются, сцеплены по цветовому мосту».

В природе находят душевное спокойствие и гармонию, а в природе — чистоту и ясность.

Все синие цвета синеют, исчезают, но напротив усиливается густота, и оранжевые смутные темы передвигаются, сцеплены по цветовому мосту».

В природе находят душевное спокойствие и гармонию, а в природе — чистоту и ясность.

Все синие цвета синеют, исчезают, но напротив усиливается густота, и оранжевые смутные темы передвигаются, сцеплены по цветовому мосту».

В природе находят душевное спокойствие и гармонию, а в природе — чистоту и ясность.

Все синие цвета синеют, исчезают, но напротив усиливается густота, и оранжевые смутные темы передвигаются, сцеплены по цветовому мосту».

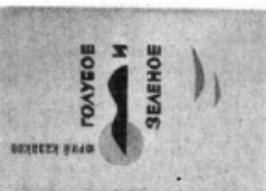
В природе находят душевное спокойствие и гармонию, а в природе — чистоту и ясность.

Все синие цвета синеют, исчезают, но напротив усиливается густота, и оранжевые смутные темы передвигаются, сцеплены по цветовому мосту».

В природе находят душевное спокойствие и гармонию, а в природе — чистоту и ясность.

Все синие цвета синеют, исчезают, но напротив усиливается густота, и оранжевые смутные темы передвигаются, сцеплены по цветовому мосту».

В природе находят душевное спокойствие и гармонию, а в природе — чистоту и ясность.



русского и северорусского пейзажа, написанных западными художниками, которые живут и действуют в Калиновских рассказах.

**ГОЛУБОЕ
и
ЗЕЛЕННОЕ**

С. ДМИТРИЕВ

отражением в подчиненных единицах НИИ несанкционированных данных, уведомлены И.И. Никонов и Герберт в Любо-гофии. Гостиницы мы предложили в Любо-гофии.

В прошлый «деревенский» день — «нана» — находилась на скамейке, которая, автор сам с уверенностью утверждает, принадлежала матери его отца. Анатолий Борисович, увидевший впервые в жизни свою мать, был поражен ее красотой и приветливостью. Он, конечно же, не знал, что это было для него последней встречей с матерью. Мать умерла в 1941 году, когда Анатолию было всего пять лет.

неожиданно вышло из-под пера человека, мнение свое споразумевшегося с кем-либо из истиной, как она ему представляется, остроожно выражается не только в виде выразившейся в точности и чистоте мысли, но и в звучании ее.

— «Деревенский дневник» выпущен вторым изданием в Советском писательстве. Естественно, представляет собой этот томик любовь к любому из литераторов-дворянам: в национальном простоте соседствует с прелестями национальной интеллигентности. Опыт разросшихся на племянниках волнистых синеватых полосок на белом фоне вспоминает вновь Всеволода Высоцкого, неизменно мечтавшего о Навои и Федорове. Но естественно, что он не может забыть себя этого тома и вспоминать о золоте молодых. Потомка, что эта книга приста. Слава, Талантова.

Анна СОЛОВЬЕВА

Сосредоточася, брони сдвинуя,
Скульптуры в разлумин свои.

они для меня мерло
литературного оптимизма — душин-
ства: в них особом, счастли-
вым ² ощущение прадничности
нашней нации. И это насто-
ящая, идущая от самого спо-
кая, видения мира граждан-
ственности, о любви к Родине
сказано просто и увер-
енно и со своеобразной, «есме-
чко-публицистично-
прозаичной

— в Мараты! —
Мараты! — в Мараты!

卷之三



Кажденно в издательстве «Молодая гвардия» вышла вторым, дополненным изданием книга Яро-Симеона Смирнова «Работа и здоровье», в которую вошли стихи из его произведений тридцатых годов, так и последних лет.

В этой книге явственно читается эстетическое и музикальное обличье смелковской лирики. Поясни трудной, неизученной читательницей, сердечная болезнь — пристальность к общему существу, для нее исключительно, если настает честолюбиво-творческой ступи, кто тай? — спрашивает поэт.— Творческий или — я обличие жизни?»
А это придает его стихам дополнительный лиризм, потому что поэту не mestает прямая, откровенная манера разговора читателем по душам, без обиняков.

BIBLIOGRAPHY



Геннадий
ПОЖИДАЕВ

КИНО В МИР
ПРЕКРАСНОГО

ВОСХОЖДЕНИЕ В МУЗЫКУ

*

К сожалению, я не альпинист, но мне кажется, что восхождение на вершины гор¹ родственно по духу с восприятием человеком серьезной музыки. Тут самая широкая аналогия.

Давайте же с помощью этой аналогии проследим, какими путями восходим мы в большую музыку.

Пусты однажды вам в голову придет счастливая мысль: посвятить свой отпуск лазанию по горам. Вы послушались своего товарища, уже искушенного альпиниста, и поехали вместе с ним в альпинистский лагерь на Кавказ.

И пусть однажды пригласят вас в концертный зал послушать симфоническую музыку другой ваш товарищ, искушенный в серьезной музыке. Вы послушали его горячие высказывания о произведениях классиков, и вам тоже захотелось пережить эти восторги.

Представьте себя в альпинистском лагере. К вам прокрепляют инструктора, дают специальное снаряжение для безопасного и удобного лазания по горам и чут, как им пользоваться.

В концертном же зале лежитесь «инструктаж», заменяя коротенькая программа, где указаны исполнители и кратко изложено содержание симфонии. Пусть это будет, к примеру, Пятая симфония Бетховена. Правда, это вам пока еще ничего не говорит о самой симфонии, так как вы ее не знаете, не слышали. И если один поэт сказал, что ему о море гораздо больше говорят весло, лежащее на берегу, чем все рассказы

о море, то это так лишь потому, что он был в нем, боролся с его волнами. Точно так же веревка и альпинисты на ровном месте никакого интереса для вас не представляют, пока вы не узнали, что такое горы.

И вот начались первые тренировки на небольших скалах. Вам внушили мысль, что восхождение на горы — трудное и даже рискованное занятие, если вы не овладеете техникой скалолазания.

К сожалению, ваш друг не предупредил вас о серьезности музыкального восприятия, когда вы шли на концерт. Ваш прежний музыкальный опыт заключался либо в небольших затруднениях при запоминании песен, и вы это за труд не считали (так же как движение в ритме музыки во время танца). Этот ваш опыт в музыке равен ходьбе по ровной местности и далек от восхождений на высоты.

И вот первое восхождение. Обязавшись веревкой в паре со своим товарищем, с рюкзаком за плечами и альпинистиком в руках, с камнями на камень, с уступа на уступ вы поднимаетесь в гору. Через час вы уже на вершине. С непривычки вы устали, одна болтюк почему-то натер ногу. Но вы забываете все и с новым, неизвестным ранее чувством оглядываетесь по сторонам. Вернее, тут смешаны два чувства: радость покорения высоты и наслаждение красотой, открывшейся перед вашим взором...

Каждый человек воспринимает музыку по-разному, по-своему (хотя ширина индивидуального восприятия музыки, безусловно, ограничена рамками объективного содержания музыкального образа). Эта истинна стара и существует с тех пор, как родилась музыка.

Но сделаем небольшое отступление. Пусть вы чувствуете примерно то, чточувствовал я при первом прослушивании Пятой симфонии Бетховена, и это будет, в общем, не так далеко от истины.

1 Г. Позидаев, конечно, не знал, когда писал эту статью, что сравнение с альпинистами, штурмующими горные вершины, придется в голову и Г. Флерону, автору статьи, напечатанной нессылочными страницами раньше в этом же номере нашего журнала. Ничего не поделаешь: в нашей жизни можно многое спаривать с восхождением на горные кручки! (Ред.)

Поптрях, у вас нет никакого опыта слушания большого музыкального произведения, вы только знаете и любите песни и танцевальные пьесы, то есть любите ходить легко, не чувствуя под собой ног, по равнине земле.

Вот раздались первые мощные, как удары, аккорды оркестра, и пошлины, перебиная друг друга, бес покойные энергичные звуки. Это бессознательно привлекает ваше внимание к музыке, и вы начинаете невольно следить за ней. Ставшие уже знакомыми четыре мощных звука прерываются временем появляются в симфонии и поддерживают работу вашего внимания. Но вот вы чувствуете, что внимание ослабевает, вы выпадаете из потока музыки. Правда, это падение менее опасно, чем в горах. Вы смотрите по сторонам. Товарищ сосредоточенно слушает, он поглощен музыкой. Вы немного смущены этим обстоятельством и подумываете, что причиной всему, по видимому, ваша полная музыкальная бездарность.

А музыка звучит непрерывно, и поток звуков малоизменяется захватывает вас... И неожиданно музыка обрывается. Закончилась первая часть симфонии. Восхождение было неудачным, «скажа» оказалась слишком крутой, и почти не за что было уцепиться. Вы не выдержали напряжения подъема в музыке. Но красоту звучания оркестра вы почувствовали.

Началась вторая часть. Появилась спокойная, величественная мелодия. Это—совсем другое дело! Вы покорены ее ясностью, простотой и слушаете с удовольствием. Вот ее сменяет другая—гордая, призывающая, трубная. Она отвечает безмятежности первой мелодии. И в бессознательном сравнении их вы чувствуете какую-то новую красоту, новое качество.

Опять началось восхождение в музыку, то есть связное восприятие стихии звуков, организованной композитором. Вы слушаете с интересом, с напряженным вниманием. Вы начинаете смутно чувствовать красоту и привлекательность этого занятия. Вслушивание в музыку... Но вас опять хватает и неудало, вы опять устали следить за звуками, потеряли с музыкой контакт. И это от непривычки, от неумения слушать. В спорте это называется отсутствием тренированности. Теперь музыка льется мимо вас, и вы ее почти не замечаете.

Незаметно подступает финал симфонии. Он обрушивается грандиозной маршевойобразной поступью музыки. И вы неожиданно для себя как будто легко поднимаетесь на ноги и весело лежите выше в гору, отчаянно и лихо цепляясь за уступы. Вас охватывает радость. ...Одна маршевая мелодия сменяет другую, одни красавцы другой. И вот в изнеможении вы падаете на камни. До вершин еще неизвестно сколько, ее закрыли облака, но вы чувствуете, как здесь уже легче дышится и силы быстро возвращаются к вам... Вы оглядываете ряды слушателей. Нет ни одного равнодушного лица: улыбающиеся или молчаливые, но светлые лица.

Симфония окончена. Вы пережили лишь несколько волнующих мгновений, когда наслаждались музыкой, ее движением, контрастами, энергией, то есть самон ее жизнью. Вы почувствовали в ней, хотя и очень смутно, какую-то мысль, почувствовали самую возможность следить за этой мыслью, за процессом ее рождения, становления, развития. Почувствовали, что в этой музыке можно размышлять, и на размышлении эти tolkayut чувства, которые пробуждаются она. Ведь «музыка овладевает нашими чувствами прежде, чем ее постигает разум»,— писал Ромен Роллан. Вы почувствовали, что в музыке можно идти вперед, и не только вперед, но и вверх. Чувства и мысли ваши получают поистине возвышенный характер.

Но становится ясным и то, что такое состояние не приходит само. Напряженное вдумывание, вслушивание в музыку — это и есть тот подъем в гору, часто очень нелегкий, но с каждым шагом открывающий новые горизонты, когда победа над вершиной кажется уже самой желанной целью.

И первая усталость от музыки прекрасна, как у спортсмена усталость мышц. Недаром кто-то очень метко сказал, что усталость мышц — это их радость. Мыши крепнут и наливаются новой, еще большей силой только после усталости. И душа наша обретает новые силы, дух наш крепнет и проясняется в музыке. Теперь вы будете стремиться к вершинам. Вы почувствовали, что это прекрасно.

Но что такое в музыке вершина? Для каждого человека морей его проникновения, «подъема» в музыку будет то, что он взял от нее для себя,— какие чувства, какую радость. Значит, одни и то же произведение для разных людей будет разной «высоты», и для одного и того же человека высота будет меняться от каждого нового прослушивания. Отсюда вытекает, что определить подлинную высоту музыкального произведения может человек, глубоко чувствующий музыку. А глубоко чувствовать музыку, «душою понимать все ее совершенство» может каждый, научившись слушать ее, научившись «восходить» в нее как альпинист в гору.

Таким образом, мы подошли к самому главному условию: нужно прежде всего слушать музыку, как можно больше слушать. И если уж повести речь о втором и третьем условиях успешного проникновения в музыку, то и второе и третье условия будут: слушать и слушать. Все остальное потом.

Восхождение в музыку есть, это мы усвоили. Но есть ли вершины? В великих произведениях искусства до «вершин» всегда будет еще несколько шагов, потому что нет опущенного до конца предела совершенствования человека, как в создании произведений искусства, так и в понимании их. Скажем больше: каждая эпоха продолжает «восхождение» в искусство и поднимается до таких вершин понимания, о которых предыдущие поколения могли только смутно догадываться.

Можно ли исчерпать до конца свои впечатления от восприятия подлинного произведения искусства? Пожалуй, нет. Вот что пишет о Пятой симфонии Бетховена знаменитый американский дирижер Леопольд Стоковский: «Для меня... Пятая симфония Бетховена постоянно растет и развивается. Она мне напоминает гигантское дерево секвойи, разрастающееся с каждым столетием все более и более».

Так же точно разрастаются в нашем понимании и лучшие произведения литературы и живописи.

Можно сказать так: музыка дает человеку ровно столько, сколько он может у нее взять. Или, как сказал Стоковский, «сама музыка вызывает в нас те чувства, на которые мы способны». А мы часто не знаем, во какие чувства мы способны. В известном смысле можно сказать, что музыка открывает человека самого себя.

Одно из замечательных признаний о том, что дала человеку музыка, мы встречаем у Ромена Роллана. О своем любимом композиторе, изучению творчества которого он посвятил много лет жизни,— Бетховене — он пишет: «Бетховен учил прямоте и искренности. Я большему научился у него, чем у всех учителей моего времени. Всем, что есть лучшего во мне, я обязан Бетховену. Думаю, что множество скромных людей во всех странах, как и я, обязаны ему тем, что сохранили прозрачными родники своей жизни и неустанные стремление к свету и чистому воздуху горных вершин».

Их много уже — тех, кто в пути к большой музыке.

Если сравнять между собой все письма любителей музыки в редакцию «Юности», то окажется, что в них немало общего. Прежде всего это своеобразное признание в любви к музыке, история первой радостной встречи с ней.

Читательница К. Дылкова из Тулы пишет: «От природы я человек пассивный, склонный к излишней созерцательности. Словесная агитация и призывы на меня мало действуют. Но Бетховену я не могла не поверить. Музыка 7-й симфонии помогла мне выработать жизненную философию, преодолевающую мозгово-бездейственность. Для меня эта симфония — гимн человеческой активности».

Иные спрашивают: можно ли, не будучи музыкантом и не имея музыкального образования, в то же время глубоко и правильно понимать музыку, чувствовать ее человеческую ценность?

Конечно же, неверно, что понимание серьезной музыки — это удел только музыкантов-профессионалов. Иначе для кого творили бы композиторы?

Интересное письмо прислали работник строительной лаборатории из Волгограда Р. Семенов. Он пишет, что понимать музыку — это значит чувствовать ее». И тут же говорит, что выражение «понимать музыку», видимо, не вполне удачное, потому что с ним связываются какие-то логические построения, напряжение ума. Он развивает свою мысль так: «Можно сказать, что мы испытываем напряжение ума, слушая, например, симфоническую музыку. Но ведь это напряжение есть уже результат действия музыки, а не стремления разобраться в ней». Тоже правильно, но нужно уточнить, что стремление разобраться в музыке само собой, без участия музыки, тоже не появится.

И дальше он пишет: «Содержание музыки — это чувства, мысли, желания, вызванные ею. Для каждого из нас в музыке — свое особое, неповторимое содержание, связанное с нашей личностью. А если попытаться идти к «пониманию» музыки от ее формы, от законов композиции, то придем к заблуждению, подменяя способность чувствовать, слушать музыку пониманием ее внешней формы». Правильно, да не совсем. Не надо противопоставлять одно другому.

Давайте рассуждать, пользуясь методом доказательства от противного. Если мы при прослушивании впервые в жизни большого музыкального произведения не испытали никаких чувств и желаний и оно не родило никаких мыслей (а так оно нередко бывает), то неужели же это произведение не имеет содержания? Вряд ли. Неужели, если мы не можем забраться на высокую гору, то говорим, что вид с вершины не интересен; неужели мы хотим быть похожими на известную лису, которая, видя, что не может достать виноград, говорит, что он зелен?

И если мы, чувствуя музыку, любят ее (первейшее и необходимое условие), пойдем дальше в понимании ее через познание формы произведений, законов композиции, то это будет совсем не плохо и во многом облегчит восприятие музыки. Плохо, когда под грузом привычки и профессиональному анализу теряется способность свежего, эмоционального восприятия музыки. Но можно позавидовать тем, кто, слушая музыку как «простой любитель», в то же время прекрасно понимает и одним взглядом обнимает форму произведения, ясно видит пропорции, самую его архитектонику. Не надо себя обделять, прикидывая значение знаний в этой области, которые, кстати, не так просто получить.

Музыка, действуя непосредственно и прямо на наши чувства, возбуждает через них воображение, будит ваше внутреннее «я», которое раскрывается на встречу музыке, как лягушка насторечу утреннему солнцу. Лягушка «понимает» солнце, знает, что оно несет ей. А человек? Он сам создает себе такое солнце, поднимает его высоко над собой, чтобы оно освещало путь и согревало душу всех людей.

И начинать приобщаться к музыке надо, как мы уже говорили, прежде всего с прослушиваниями произведений. Никакие рассказы о ней, даже самые увлекательные, не заменят ее. Но потом, после прослушивания, они могут быть очень полезными. Об этом пишет в своем письме из Минска студент Э. Пекарский. Его поразила в первом разе прослушанная 8-я «Патетическая», соната Бетховена. А потом он прочитал о ней в Романе Роллана и дополнил представление об этой сонате, хотя, слушая ее, он сомневался, что пошел бы на концерт, «заявив об этой музыке с чужих, пусть даже вдохновленных слов». В результате Э. Пекарский делает вывод: «...я твердо убежден, что лучший способ полюбить серьезную музыку — это регулярное посещение концертов... Нечего стесняться своей неподготовленности...»

Говорят, что каждое музыкальное произведение рождается два раза: первый раз, когда его создает композитор и записывает в виде нотных знаков; второй раз, когда его исполняют музыканты. И в каждом исполнении одно и то же произведение будет звучать по-разному. В нем отразятся темперамент и душевые качества не только автора, но и — не менее ярко — самого исполнителя. И, может, иногда сам автор удивится вдруг тому, что услышит в своем произведении в интерпретации выдающегося исполнителя (конечно, если это произведение способно глубоко взволновать музыканта). Но бывает и так, что великий композитор является одновременно и гениальным исполнителем-виртуозом. И тогда, казалось бы, после исполнения им своего произведения вечного уже делать другим: содержание исчерпано, лучше истолковать нельзя.

Вот что пишет в своей книге «Музыка для всех нас» А. Стоковский. Он прослушал записи соль-минорного прелюдия Рахманинова в блестящем авторском исполнении и сразу следом за ним — запись этого прелюдия в исполнении Владимира Горовица. И другая интерпретация оказалась тоже интересной, убедительной. «Педант сказал бы, что Рахманинов как композитор наверняка точно знает, как надо исполнять свою музыку, и что другой пианист, сыгравший его произведение по-своему, допускал произвол. Но истинный артист знает, что в области искусства нет ни пределов, ни канонов и что одно и то же произведение может быть исполнено совершенно по-разному, точно так же, как одни и тот же пейзаж может быть написан в бесчисленных и разнообразных вариантах художниками, умеющими видеть и обладающими воображением».

Так же с полным правом может быть истолковано слушателем любое музыкальное произведение. Каждое произведение рождается еще и в третий и в четвертый раз. Оно рождается в сердце и душе слушателя в процессе восприятия музыки. Это — наше непосредственное понимание музыки. Как рассказать о душевном трепете, охватившем вас, когда родилась в оркестре прекрасная мелодия? Что хотел здесь сказать автор музыки, какие чувства пережил он, создавая произведение? Что завещал людям в своем выстраданном творении?..

Видимо, эти мысли владели нашим читателем Евгением Адошкиным из Томска, который прислал в

редакцию «Юности» взволнованное письмо о музыке:

«...Мое посвящение в музыку произошло совсем недавно. Это было в октябрьские дни. Тучи без конца и края охватили небо. Их рваные ступени, умы, не открывали желанной синевы, и, словно демонстрируя свою мощь, они показывали второй, еще более плотный ряд серого дождевника. Казалось, они сдавлили не только небо, но и душу: таким тяжелым и тоскливым представлялся день. Сидя на стуле, я машинально перебирал пластинки в коробке. Вот большой диск с надписью «Рахманинов. 2-й концерт для фортепиано с оркестром».

Удары колокола взорвали тишину комнаты. Глухие, величественные, они как будто вещали о больших, важных событиях. Расчищая им дорогу, плавно и торжественно повел основную мелодию оркестр, постепенно уступая место фортепиано, переливы которого, то бурные, то тихие и грустные, до предела насыщенные жизнью, вырисовывали мне образ человека, не знающего покоя, дерзкого и непокорного. О

нем, наверное, писал поэт: «И вечный бой! Покой нам только снится...» Нет, не могли и не смогут сломить его удары жизни, звучащие в грозовых аккордах... Их сменяет прекрасная, залитая солнцем музыка...

Последние обороты, последние звуки — и вновь тишина, но уже не давящая и тоскливая, а наполненная жизнью, бодрым светом. Чудодейственная музыка Рахманинова разорвала мрак осени; это она наполнила душу верой в лучшее, жаждой деятельности, любви к жизни, к людям!»

И вся эта радость приобщения к большой музыке, обретенная в ней верного союзника на недетских дорогах жизни, радость восхождения на высоты ее понимания — одна из самых глубоких человеческих радостей. Очень образно сказал об этом читатель Р. Семенов: «Наверно, когда человек впервые попытается приподняться над своим настоящим, еще не вполне очеловеченным бытием, когда он захочет заглянуть в будущее и выразить свою истинную человеческую сущность, то он сделает это, создав музыку».

Владимир Файнберг

Быстрое время

Как бог,
восседает шофер за рулем.
— Машина! —
лиают мальчишки кругом.
В пыли догоняю,
и рядом бегу,
и удивляюсь
грузовику!
Не дикари — пионерский народ,
самолет увидав,
кричим: — Самолет!
Когда это было?
Не так уж давно.
Плелся извозчик заставой
московской,
тогда еще
было немое кино,
тогда уже
не был жив Маяковский.
Верили мы в покоренье планет,
приемник детекторный собирая,
но только когда? Чрез тысячи лет?
Нам не дожить.
Обида какая!..
Но вот стал привычным и трактор
на поле,
привыкли к метро,
к перелетам на полюс.
И вновь удивлялись.
И вновь привыкали.

И вновь открывались
незданные дали.
...Аэростат загражденья воздушный,
крест-накрест
заклеенное окно...
Ага!
По фашистам пробили «катюши»!
Когда это было?
Не так уж давно.
Но вот,
полнивая головы вверх,
над площадью
мчит реактивный мгновенно,
и сразу —
уже привычен для всех,
как вертолет
или телевизор.
Когда это было?
Как будто вчера..
В сумерках тесно стояли на крыше,
в назначенный срок наступила пора
и Спутник
в звездное небо вышел.
Уже ничего не придумать
фантастам —
поют космонавты
над головой.
Мечта о планетах,
реальная,
здравствуй!
Товариш,
как молоды мы с тобой!



Ада БАСКИНА

БОЙСЯ

РАВНОДУШИЯ,
КОМСОМОЛЕЦ!

Фото А. Макарова.

Комсомол и творчество — понятия неотделимы. Творчество требует талантливости, дарования, а именно дух творческого искания присущ молодежи. Но что греха тант: бывает так, что в иных молодежных коллективах живые, интересные дела подменяются рядом строго регламентированных скучных обязанностей, серых, безликих «мероприятий», и мертвая текучка заедает живую работу.

Вот почему активисты Киевского райкома ВЛКСМ Москвы решили провести диспут на тему «О творчестве в комсомольской работе».

В тот день во Дворце культуры имени Горбунова, в Филах, было шумно и весело, как всегда, когда собирается много молодых людей. Сгрудившись вокруг парня с гитарой, ребята распевали «Я люблю-ю тебя, жизнь!»; скучающий юноша в очках увлеченно читал любителям поэзии стихи; девушки весело обсуждали последнюю кинокомедию. Но тут же, обрывая задорную песню, прерывая интересный рассказ, вспыхивали первые маленькие споры о самом главном, самом волнующем — о работе комсомола. А когда наконец начались выступления, трудно было ограничить ораторов регламентом, предусмотрительно предложенным опытными ведущими. Да и вообще от желающих выступать не было отбоя.

«СВОЕ ЛИЦО, СВОЯ ПЕСНЯ»

Иногда бывает так. Комсомольцы более или менее исправно платят взносы, посещают собрания, выполняют «отдельные поручения». На первый взгляд, с таким коллективом никаких хлопот и забот. Но представьте себе, что речь идет не о комсомольской организации, не о группе людей, а об одном человеке — приленном, «правильном» и... скучном до зевоты. Поправится вам такой человек? Вряд ли.

— А хороший коллектив — это как хороший человек. У него свое лицо, свою радость, свою песню, — сказал известный в районе комсомольский активист инженер Юрий Чистяков.

Слушатели в зале радостно зааплодировали: очень уж образно и доходчиво сказал Юрий. Действительно, в коллективах со «своим лицом» работают не просто добросовестные члены ВЛКСМ, а люди творческие, ищущие, с выдумкой и фантазией.

«Своя песня» может быть у каждого комсомольского коллектива.

Есть такие дела, которые обязательно должны быть в центре внимания всех комсомольских организаций: я имею в виду заботу о молодых рабочих. И здесь успех зависит от творческого подхода к делу. Где-то люди лишь на словах проявляют такую заботу, говорят правильные вещи, призывают к чуткости и вниманию, а практически ничего не делают. А можно ведь и без громких слов, по-деловому приглядеться: какая нужна помощь, и сразу же, без промедления, начать действовать. Ну, например: не ладится с работой — прикрепите к каждому опытного рабочего-комсомольца; недогрузили в какой-то месяц молодого парня работой — попросите мастеров загружать молодых ребят наравне со всеми; нарушил трудовую дисциплину — выясните причину, привлечь к этому внимание всей заводской общественности, а главное, не дать новичку почувствовать себя чужим в заводском коллективе.

Про интересного, яркого человека часто говорят, что он «с изюминкой». Если есть такая «изюминка» у комсомольского коллектива, тогда все его самые будничные дела приобретают высокий смысл, становятся значительными и важными. Это хорошо понимает комсомолец Сергей Курпreev. Даже в его манере говорить — напористо, толково, ясно — постоянно



И в перерывах не утихают споры...

чувствуется ищущая, беспокойная мысль. Умно и живо рассказывает он о делах заводского комсомола. Вот одно из них:

— Строятся у нас при заводе ясли, и в помощь строителям мы все время посыпаем комсомольцев. Если говорить честно, налаживалась эта помощь со скрипом. Но на заводе есть много молодых родителей, которым очень нужны путевки для ребятинек в ясли. И вот мы сказали нашим комсомольцам: «Чем больше на стройку придет людей, тем скорее мы сумеем помочь нашим товарищам». А путевки стали вручать торжественно, от имени комсомольского коллектива. Так, вы знаете, сколько больше ребят стало ходить на стройку! И как охотно, с огоньком они там работают...

В хорошем коллективе каждому находится дело по душе — именно в этом и кроется секрет комсомольской активности. Ведь для того, чтобы заниматься чем-то вдохновенно, творчески, надо прежде всего глубоко этим заинтересоваться.

«ОПТИЧКОВАНИЕ»

Слово это имеет чисто фольклорное происхождение. И как все истинно народное — удивительно точно передает суть цеплого явления.

«Оптичковаться» — значит провести какое-то мероприятие с единственной целью — поставить в отчете «птичку».

И с какой болью, с какой неизвестностью говорили комсомольцы об общем враге — формализме! Это оно, проклятое «оптичкование», — причина малой активности некоторых



Сергей Купреев: «Самое наше большое зло — «оптичкование»!»

рных комсомольцев, причина скучных «мероприятий», пустых, серых семинаров, бесплодных собраний по принципу «шумим, братцы, шумим».

Многие понятия пересматриваются на диспуте комсомольцы. Горою обсуждали целесообразность некоторых своих комсомольских дел. И почти в каждом выступлении сквозило желание, чтобы слова «комсомольское беспокойство» имели свой первородный смысл.

Известно, что формализм, равнодушно губят любое новое дело. Это верно. Но стоит присмотреться и к тому, всякое ли новое дело полезно.

— Говорят, нужна инициатива, спешат мысль. А в чем ее суть? Вот ведь как бывает: комсомолец внес рационализаторское предложение в бриз, остался на час другой работать сверхурочно; что же в этом нового и смелого? Казалось бы, ничего особенного, событие совершенно обыденное. Но мы порою поднимаем шум и треск: «Это, мол, в струе нового движения».

Об этом говорил на диспуте инженер Рудольф Пятibrat, на первый взгляд, человек несколько флегматичный, но, видимо, думающий и не терпящий компромиссов. Не без иронии поведал Рудольф об одном «значении» комсомольской организации его предприятия: провести обязательную проверку домашних библиотек у каждого комсомольца.

— А если я хочу взять книгу у товарища, а не покупать ее? Или вообще предпочитаю читать в публичной библиотеке? Разве это плохо? — спросил он. — Да и вообще, каким мерилом следует определять, хорошая у «блескедуемого» библиотека или нет? «Те или кие тез» книги он читает? Привыкнуть человека к чтению, привить ему хороший литературный вкус, научить понимать творения великих писателей и поэтов — дело, требующее большой культуры и умения. И тут, конечно, никакие проверки того, кто и сколько книг покупает, не дадут ничего, кроме очередных «галочек в отчетах».

Профанация общественной работы страшна не только тем, что мешает самой работе, но и тем, что плодит скептиков, которые не верят в нужность и полезность комсомольских дел.

Сергей Купреев рассказал о таком случае. В комитет пришел молодой рабочий, недавно окончивший техникум, и попросил исключить его из рядов ВЛКСМ. На вопрос, зачем же он вступал в комсомол, парнишка ответил: «А нам комсорг сказал: если не вступите, вам не повысят разряд».

Если бы знал тот комсорг, какими словами поминали его заводские комсомольцы! Сколько ума и такта понадобилось им, чтобы исправить вред от такого безумного «оптичкования». Конечно, легче всего было бы исключить парнишку, раз он сам этого хочет. Или, наоборот, оставить, но сурово отругать и дело с концом. Но здесь поступали иначе: ребята стали горячо бороться за комсомольца, за его веру, убежденность.

— Мы рассказывали ему об интересных делах нашего заводского комсомола, — говорил Купреев. — Осторожно, тактично напоминали на мысль, чтобы он сам принял участие в этих делах. Потом узнали, что паренек любит Маяковского, привлекли в нашу самодеятельность. Он теперь там один из активнейших участников. И к нам в комитет то и дело наведывается — за советом, за помощью.



От желающих выступить нет отбоя...

«ЧУТКОСТЬ ИЛИ УБЕЖДЕННОСТЬ»

Аушевность, доброжелательное внимание к каждому человеку — вот что убеждает лучше всяких лозунгов и громких фраз.

Строгая, немного суровая Аня Суровцева и приветливая, добруюшая Лида Малышкина — молодые работницы — дружно высказали сходные мнения: в комсомольской работе нет мелочей. Вот у них на предприятии долго не было буфета, сотрудники бегали обедать в далекую от работы столовую. За дело взялись комсомольцы — и буфет открыли. Многие молодые матери жаловались: возмеша на воскресение ребенка из детсада, и весь день связаны руки, а ведь к выходному столике дел накапливается! И тут комсомольцы пришли на помощь: в воскресенье они собирают ребятников и везут их за город: и родители свободны, и ребятам радость.

Казалось бы, хорошо. Но Борис Королев из Института патентной экспертизы считает иначе:

— А по-моему, буфет, возня с детишками — все это не дело комсомола. Пусть этим профсоюз занимается. Комсомол же — боевой политический союз. И его активист должен быть прежде всего идеально подкованным и политически образованным, а уж душевным — это кто как сумеет.

— Тогда зачем нам нужен живой активист? с нарочито серьезным видом спросил техник Борис Муратов. — У нас есть очень совершенные электронные машины. Давайте запрограммируем в такую машину всю сумму необходимых знаний — вот вам и идеальный активист. По-моему, главное в комсомольском вожаке — это личное обаяние!

Но Королев стоял на своем:

— При чем здесь обаяние? Человек может быть и упрямым и необщительным, но убежденный в правоте идей комсомола, это будет притягивать к нему людей.

Зал напряженно замер. Очень уж неприятна была для ребят тема: комсомольский вожак и обаяние.

Конечно, все сходились на том, что убежденность, идеальность, вера в высокое назначение комсомола, помощника партии, — непре-

менные качества активиста. Но нужно ли при этом обращать внимание на его манеру держаться, разговаривать с людьми, на его аушенную тошноту и отъевчивость? Только ли о форме идет здесь речь?

В какой-то степени ответом на этот спор послужило выступление одной девушки — секретаря крупной комсомольской организации. Девушка говорила о благородных задачах комсомола, о геройских подвигах комсомольцев, о том, что должно было бы взволновать сидящих в зале.

А из зала вдруг пришла записка: «Скучно говорите. Будто газетную статью пересказываете». Но ведь девушка говорила очень убежденно и наверняка искренне.

Просто она взяла готовые формулировки и не обогатила их своим опытом, своими чувствами, своими раздумьями.

Я не упоминаю имени девушки, потому что, возможно, ее неудачное выступление было случайным. Но если комсомольский вожак не умеет быть думающим, интересным в общении, не умеет убедительно разговаривать с товарищами, — это уже беда.

А вот выступление самого Бориса Королева, которое вызвало столько споров, было хоть и резким и не во всем верным, но страстным и ярким, потому что были в его убежденности большая притягательная сила и — не знаю уж, будет ли ему это приятно, — обаяние.

«НАДО ЛИ ЧИТАТЬ «КАПИТАЛ»»

Борис убежденно говорил о том, что каждый комсомолец обязан повышать свое политическое образование, должен читать Маркса, Энгельса, Ленина.

— Партии нужны грамотные люди, свободно владеющие теорией марксизма-ленинизма. Каждый ли из вас прочел, скажем, «Капитал» Маркса?

— А нужно ли нам читать «Капитал»? Это ведь чистая теория. Не лучше ли потратить это время на практические дела, их у комсомольцев хоть отбавляй, — замечали кто-то с места.

— Зачем вообще изучать теорию? — спросил другой голос.

— Чтобы четко знать цели комсомола и партии, — не задумываясь, ответил Королев.

— Чтобы верно ориентироваться в нашей практической работе, — уверенно поддержал его Юрий Чистяков.

— Поэтому что все наши дела — и бытовые и организационные — это в конечном счете дела политические, — обобщил Сергей Купреев и, как бы подытожив выступления товарищей, рекомендовал: — Для того, чтобы мы, комсомольцы, могли убеждать своими идеями людей, мы сами должны оточно разбираться в этих идеях.

Большинство выступавших поддержало Королева, Чистякова, Купреева. Ну, а что касается «Капитала», спор решили два выступления. Александр Саломаткин честно искренно признался:

— Я «Капитала» читать не могу: это для меня слишком сложно. Я еще не дорос до «Капитала».

Михаил Ихненко, человек об разованный и начитанный, возразил:

— «Не дорос» — еще не значит, что и не должен дорасти. Сейчас еще не каждому по плечу прочитать все три тома «Капитала». Но стремиться к этому надо!

Долго еще продолжался этот честный комсомольский разговор. И на лицах ребят и в их глазах светилось такое желание отдать свои силы чему-то достойному, общественно значимому, что это можно было угадать и без слов. А слова их, проникнутые этим желанием, звучали искренне и торжественно:

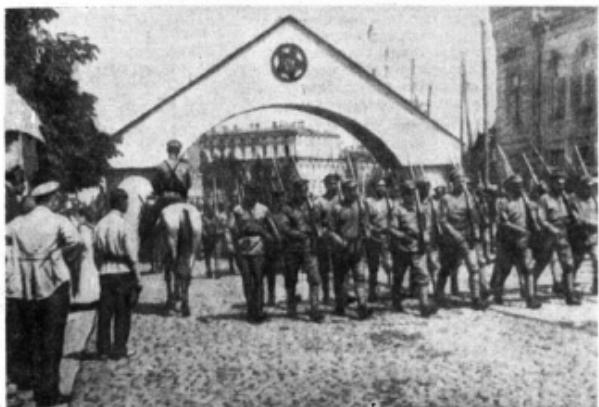
— Надо, чтобы у нас была такая же ясность цели, как у наших отцов, делавших революцию...

— Как у наших братьев, проливавших кровь в борьбе с фашистами...

— Как у наших товарищей, уезжающих на целину и строяки больших химии...

... В засиненном сквере у Дворца культуры имени Горбунова поздно вечером еще раздавались взволнованные, возбужденные голоса: когда что-нибудь заденет за живое, трудно сразу успокоиться. И чувствовалось по всему, что ребята по-настоящему забочены стремлением изгнать из комсомольской работы любые проявления казенщины и равнодушия.

„ДЕЛО № 14“



В начале прошлого года мне довелось принять участие в работе над телевизионным фильмом о судьбе Украинского Демидовского красногвардейского отряда, сражавшегося в первые годы Советской власти за победу революции.

Мы просмотрели десятки и сотни документальных кадров, снимков тех лет. Среди груды материалов, отобранных в Государственной публичной библиотеке Академии наук Украины, была старая папка с надписью «Дело № 14. Первомайская демонстрация». Не ожидая никаких особых открытий, мы стали просматривать ее чуть ли не последней.

Раскладывая на столе содержимое «Дела № 14», перед нами

старые снимки. Многие из них узнаем: это Киев, Первомай 1919 года. Но оказались в этой папке и неизвестные, редкие фотографии.

Что нового они расскажут нам?



Как вспоминают очевидцы и рассказывают документы, Первомай 1919 года в Киеве был необычайным: это была первая советская весна, первый после установления Советской власти революционный праздник.

Фронт проходил недалеко, и часто была слышна перестрелка с проравившимися в пригородах вра-

жескими отрядами. Город жил сурово и напряженно. Но в день Первомая пролетарскии Киев среди разлага кумача, алых знамен, ярких плакатов бурно, грохко и весело демонстрировали свою несгибаемую волю к окончательной победе. Он принимал парад готовых к бою молодых частей Красной Армии. Вместе с пехотинцами, артиллеристами, конниками шли воины первого Киевского интернационального полка — отряд немецких спартаковцев, венгерский, китайский, чехословацкий батальоны. Бойцы несли плафеты, написанные на двенадцати языках. На Софийской площади летчик, перелетевший через Карпаты, передал Киеву привет от красного революционного Будапешта. А три аэроплана разбросали над городом революционные листовки.

Описаный этого Первомая сохранилось немало, а вот фотографии — немного. Как же нам было не обрадоваться «Делу № 14», в котором оказалось столько неизвестных кадров!

Внимательно изучая найденные снимки, мы обнаружили, что многие из них сделаны не 1 мая 1919 года, а другой день: на обороте этих фотографий удалось разобрать полуслерупчатые надписи «27/VII—1919 г.».

События, происходившие на киевских улицах и площадях 27 июля 1919 года, по своей грандиозности и революционному размаху не уступали празднику Первомая.

Город осажден. Деникинцы и петлюровцы с двух сторон рвутся к центру. На углах главных улиц



На снимке вверху: парад Красной Армии в Киеве 27 июля 1919 года.

На фото справа: «Живая картина» из «Поезда истории».



«Поезд истории». Одна из «живых картин».

уже поставлены заставы. Вражеские листовки, пытаясь посеять панику, назначают сроки падения Советской власти. Белогвардейцы угрожают Киеву применением неизвестных «ослепляющих фиолетовых лучей».

И вот в такой обстановке 27 июля Киев проводит смотр своих боевых сил — подразделений Красной Армии, Всевобуча — и демонстрацию готовности «защитить революцию до последней капли крови», как писал тогда нарком Украины Н. И. Подвойский.

В воскресенье 27 июля 1919 года в городе началась неделя Всевобуча. Руководители украинских большевиков призвали трудящихся Киева не отрываясь от станков, ежедневно два часа заниматься военным делом.

Отыскиваем выпущенную в тот день однодневную газету «Неделя Всевобуча».

В ней рассказывается о том, как будет праздноваться этот день 27 июля, и о военном параде, и о звенении боевого знамени подразделениям Всевобуча, и об открытии памятника вооруженному народу, и о демонстрациях, которые услышат речь Ленина, записанную на граммофонную пластинку.

С помощью газетной заметки удалось расшифровать, что изображено на снимках из папки.

В 1919 году актеры киевских театров решили, выйдя на площади и улицы города, показать тысячам зрителей невиданные ранее революционные представления. К сожалению, фотоснимки этих грандиозных революционных мистерий и театральных действий до сих пор были неизвестны. И вот в папке

«Дело № 14» мы вдруг нашли такие фото.

Оказывается, и 1 Мая и в день Всевобуча по Киеву курсировал «Поезд истории»: на десятках специально декорированных автомашин и трамвайных площадок была представлена в живых картинах история борьбы народов за свободу. Участниками пантомимы стали актеры, студийцы, активисты шести районных рабочих театров и красноармейцы. Это было грандиозное массовое зрелище, взволновавшее весь Киев.

На одном из грузовиков был установлен огромный глобус, и вокруг него в своих национальных одеждах стояли представители трудящихся всех материиков. На бортах машины были прибиты щиты: «1 мая 1920 года». Таким способом участники торжеств выражали свою веру в очень близкую победу всемирной революции. Ведь не случайно все материки на гигант-

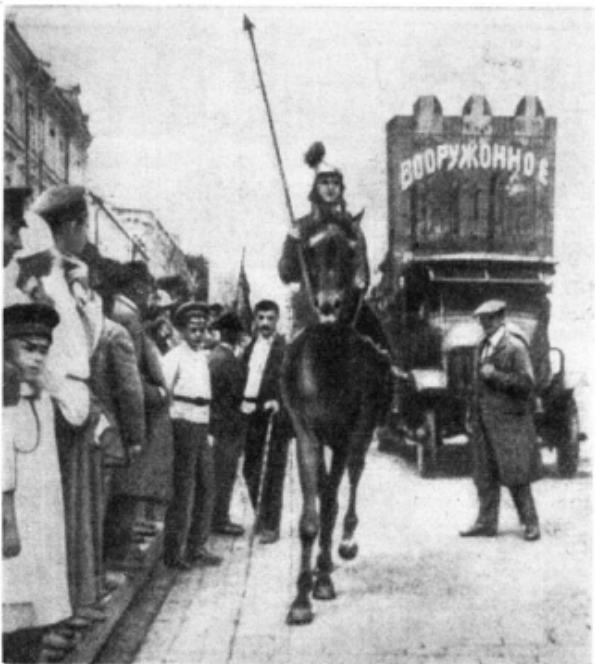
ском глобусе художники выкрасили в красный цвет.

К сожалению, в папке не оказалось многих кадров «Поезда истории», в частности эпизодов «Конец двухглавого орла», «Штурм Зимнего в октябре 1917 г.»...

Организатором всех этих массовых театральных зрелищ был выдающийся режиссер и театральный деятель Константин Марджанов. Свой киевский опыт он использовал позже, когда через несколько месяцев ставил в Петрограде массовую инсценировку «К мировой Коммуне», показанную делегатам II конгресса Коминтерна. Действие тогда было развернуто на ступенях здания биржи, и участвовало в нем четыре тысячи человек.

...Во вкратце и вся история о старой папке, которая помогла восстановить несколько интересных подробностей о славных днях революционной юности нашей страны.

И. ТЕЛЬМАН



Движется «Поезд истории». Еще одна «живая картина», рассказывающая о взятии Бастии.

УЧЕНЫЙ ТВОРИТ ЧУДО

то случилось глубокой ночью. В квартире молодого ярославского хирурга Юрия Васильевича Новикова раздался телефонный звонок.

— Срочная операция! Машина вызвана...

На операционном столе лежит молодой человек. С ним произошел несчастный случай: кисть руки висит на лоскуте кожи, перерезаны все сухожилия, кровеносные сосуды, нервные стволы, раздроблены кости. Молодой рабочий вопросительно и тревожно смотрит на Новикова. «Неужели отрежут руку?» — говорит взгляд больного.

«Да, обычно в таких случаях ампутируют руку», — думает хирург. — Но надо попробовать... Будем пробовать», — решает он.

После короткого совещания со своим руководителем профессором Анатолием Константиновичем Щиповым хирург Юрий Новиков начинает операцию. Несколько часов длится ювелирная работа. Новиков



Еще недавно щестилетнему Саше Тетюшеву из-за ранения угрожала ампутация ноги. Юрий Васильевич спас его.

собирает в единое целое осколки кости, сшивает кровеносные сосуды, диаметр которых два-три миллиметра, десяток сухожилий и нервные стволы.

Но вот операция закончена. Хирург еще не снял резиновых перчаток, а пришитая кисть руки начинает теплеть, разозляет погиблое кронообразование восстановлено. Редкийший в мировой практике эксперимент завершен успешно.

Прошло всего несколько дней, и в переполненной аудитории городского медицинского института после долгих аплодисментов торжественно звучат слова: «Ученый совет Ярославского медицинского института единогласно присуждает Юрию Васильевичу Новикову...»

Отныне 27-летний врач, коммунист, а в недавнем прошлом комсомолец Юрий Новиков — кандидат медицинских наук. Позади годы учебы, дни, ночи, месяцы экспериментов, когда проведено более 150 операций на животных, чтобы освоить все тонкости сшивания сосудов. Позади 77 операций в клинике, вернувших десяткам людей радость труда, счастье жизни. А впереди у молодого ученого новые операции, новые эксперименты и поиски.

Пожелаем ему успехов и счастья.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СЕЛА ПАРХОМОВКА

В селе Пархомовка, Богодуховского района, Харьковской области, пришло письмо из Германской Демократической Республики. Доктор Г. Менц, директор музея «Альтер Майстер», приглашал школьников села посетить в удобное для них время прославленную Дрезденскую галерею.

Почему вдруг директора знаменитого на весь мир музея заинтересовали школьники украинского села?

Дело в том, что есть в селе Пархомовка свой школьный музей изобразительных искусств. В 1963 году его посетило более 30 тысяч человек со всех концов страны.

Экспонаты этого музея собраны энтузиастами-школьниками и их замечательным директором А. Ф. Луневым. Среди этих экспонатов — подлинные полотна А. Иванова, И. Шишкина, Ярошенко,

Петрова-Водкина, Бенуа, гравюры Рембрандта, Пикассо, Милле.

Советское искусство представлена С. Коненковым, В. Фаворским, И. Сарыяном, Б. Пророковым, Кукрыниксами, О. Верейским, Ю. Пименовым... Со всеми этими мастерами переписываются пархомовские школьники.

Как попали замечательные произведения русского искусства в Пархомовку?

Один из сахарных заводов под Харьковом принадлежал до революции богачу и меценату Харитоненко. Было у него имение. В окрестных селах смыла Харитоненко чудаком: собирая он какие-то картины и развешивал их дома на стенах. После Октября 1917 года пропал куда-то Харитоненко; в имении его обосновался санаторий. Прошли годы. Выросло село Пархомовка, построена школа, пришел туда директорствовать А. Ф. Лунев. В школе организова-

ли кружок «Юный историк», в нем искусствоведческую секцию. Колхозники привнесли в эту секцию хранящиеся у них картины из имения Харитоненко. Так начал свое существование школьный музей.

А потом ребята сами стали путешествовать по близлежащим селам, ходить в дома, собирать в свой музей старинные орудия труда и быта, одежду и утварь, украшения и предметы обихода. Собирательство произведений искусства стало призванием школьников села Пархомовка.

Работая в своем школьном музее, ребята не только сами обрели новые знания, но помогли и колхозникам, живущим окрест, познать великую силу искусства. Записи посетителей в книге отзывов музея наглядно рассказывают о великой воспитательной роли настоящего искусства.

Илья СУСЛОВ

«ЮНОСТЬ» В ЛЕНИНГРАДЕ

В гости к ленинградским читателям в начале марта выезжала группа членов редколлегии, авторов и сотрудников редакции «Юности». Пять дней пробыли они в Ленинграде, посвящавшиеся с тысячами читателей во Дворцах культуры имени Первой Пятилетки, имени С. М. Кирова, имени Н. К. Крупской, а также в Ленинградском Концертном зале и Доме писателя.

Посездка в Ленинград и выступления перед читателями города-героя явились своеобразным отчетом коллектива «Юности» о работе, проделанной за год, минувший со дня встречи руководителей

Десятиклассница Наташа Элбашян, выступавшая на конференции во Дворце культуры имени Первой Пятилетки, говорила, что с интересом она и ее товарищи встретили письма геройски погибшего в Якутии молодого архитектора Володы Корнилова, напечатанные под заголовком «Человек нашего времени» в журнале «Юность» № 8 за 1963 год.

— Читая письма Володы, — говорила Наташа, — мы видели человека, не искашившего легких путей в жизни, а стремившегося туда, где он мог принести больше пользы. Такие парни, как Володя, — пример для молодежи!

читательны по теме и по-настоящему поэтичны.

Читателю «Юности» В. Макееву, сотруднику Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, понравились повести Я. Голованова «Кузнецы грома», М. Красавицкой «Если ты назывался смелым», роман Ю. Пиляра «Люди остаются людьми». В то же время В. Макеев критиковал напечатанные в начале прошлого года повести А. Гладилина «Первый день нового года» и В. Аксенова «Алельсин из Марокко».

Читатель В. Авров отметил, что опубликованная в «Юности» повесть Ю. Семенова «При исполнении служебных обязанностей» при переходе на экран утратила свои лучшие качества. Повесть производила хорошее впечатление, а фильм получился слабый.

— Мне хочется отметить, — сказал В. Авров, — что последний год у «Юности» был переломным годом. В журнале за 1963 год и первые месяцы 1964 года напечатано несколько произведений, которые убедительно свидетельствуют об интересных сдвигах, происходящих в молодой литературе. Так, по мнению В. Аврова, поэма Беллы Ахмадулиной «Моя родословная» («Юность» № 1 за 1964 год) обладает новым для самой поэтессы и для ее литературных сверстников качеством — стремлением вырваться из мира скучных переживаний на простор философского осмыслиения бытия.

На литературных вечерах во Дворцах культуры выступали авторы «Юности» — прозаики, поэты, критики: Василий Аксенов, Ярослав Головин, Алексей Коробицын, Борис Никольский, Н. Долинина, А. Лазарев, Белла Ахмадулина, Виктор Боков, Инна Кащекова, Римма Казакова, Михаил Альзов, Борис Слуцкий, Булат Окуджава, авторы отдела «Пылесос» А. Арканов, М. Розовский, Ю. Горин.

Встречи «Юности» с читателями Ленинграда открыли представители Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР, поэты и прозаики Ленинграда: Н. Бранин, А. Чепуров, О. Шестинский, В. Инфантин, Е. Воеводин.

Во время пребывания группы работников «Юности» в Ленинграде были проведены также встречи с молодыми ленинградскими поэтами и прозаиками.

И. БОБРОВА



Белла Ахмадулина читает свои стихи...

Фото В. Сергеева.

партии и правительства с деятелями литературы и искусства.

Заместитель главного редактора «Юности» С. Преображенский рассказал, как коллектив журнала претворяет в жизнь указания Центрального Комитета партии о более тесной связи литературы с жизнью, как воспринял справедливые критические замечания в адрес отдельных авторов журнала, какие новые произведения появились на его страницах за прошедший год и появятся в ближайшее время. Читатели, выступавшие на встречах с «Юностью», говорили о понравившихся им произведениях, критиковали слабые вещи, вносили предложения, как улучшить журнал.

Школьник В. Козырев — член литературного клуба «Алые паруса» — рассказал, что, читая «Юность», он научился лучше понимать и ценить стихи. По словам В. Козырева, «Юность» открыла для него мир поэзии. С большой теплотой говорил он о стихах погибших в дни Великой Отечественной войны молодых поэтов П. Котана и В. Багрицкого.

С интересом было выслушано выступление инженера В. Халупенко. Он говорил о поэтическом отделе журнала, который, по его мнению, ведется интересно, но неровно. Журнал печатает много стихов, вводит в литературу новые имена, и это хорошо, но не все опубликованные стихи зна-

ЮНОСТЬ



ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Человеку было семь лет, когда вместе с другими детьми его эвакуировали из Ленинграда. На рукав пальто ему нашли тряпичку: год рождения, родители, фамилия, адрес... В дороге все стерлось, остались только имя и фамилия. Но память сохранила имя матери. Память «смысла» ее плач, когда принесли похоронную о гибели отца, «видела» двор, в котором они жили, школу во дворе и рядом кино, куда его не пустили.

Человека привезли на хутор Ореховский Краснодарского края. Раньше он знал, что есть фашисты и есть «наши». Теперь он узнал, что еще бывают и предатели...

Немцы наступали. Воспитанников детского дома повели в лес и растерзали там, испуганных, голодных, плачущих. А потом появился он — однорукий герой. Он повел ребят обратно в Ореховский и был с ними все время, пока не ушли немцы. Чувствительная, как фотопленка, детская память на всю жизнь сохранила отпечатки тех далеких лет.

Кончилась война, и человек по имени Толя, по фамилии Иванов

бежит из детского дома к себе, в Ленинград. Он помнит мост, двор, школу, кино, красивую маму Шурпу... По дороге его задерживают. И на этот раз отправляют в другой детский дом — под Тулу. Но он помнит и через четыре года снова бежит в Ленинград. И добирается и приходит прямо в милицию. Он говорит: пдемте, я найду свой дом. Но... Ивановых много, примет мало, и милиция возвращает его обратно в Тулу.

Двадцать лет в ответ на свои попытки найти родителей Анатолий Иванов слышал одно и то же: нет, это невозможно... Ивановых много, примет мало... Попадалось всего три для, чтобы именно эти приметы привели его к родному дому, чтобы он нашел отца. И только потому, что нашлись люди, которые не поклоняли ни времени, ни сердца, чтобы заняться Ивановым — не героем Ивановым, не знаменитым Ивановым, а простым Ивановым, который за все эти годы не разучился верить и ждать.

Историю своего размысла писательница Э. Малых рассказала еще в 8-м номере «Юности» в 1962 году. Редакция получила много писем. Читатели спрашивали

ли: а где же тот герой, однорукий? Герой не должен быть безымянным, если только есть люди, которые могут его помнить, могут о нем рассказать. И Э. Малых нашла таких людей. Правда, не все, кто помнил, хотели говорить: к чему им была свидетель их трусливости? Но другие вспомнили и заговорили. Они сами вызвались помочь. В конце концов писательница удалось связать разрозненные факты, слухи, противоречивые воспоминания в одну нить и раскрыть неизвестного...

Да был такой — Ремизов его фамилия, Иван Федорович Ремизов. Вот только далеко он, в Иркутской области, ничего не поделалось, так сложилась жизнь.

И снова идут в редакцию письма — теперь уже от некоторых воспитанников. Они не забыли его, просто не думали, что он жив. И теперь хотят его видеть. Но больше всего этого хотел тот, кто первый о нем вспомнил, кто рассказал о нем писателю и назвал героя.

И вот они встретились в Москве. Как преданный сын и любящий отец, склоняли друг друга в объятиях Толя Иванов и Иван Федорович Ремизов. И так они были взволнованы, потрясены, что те, кто видел эту встречу, не могли сдержать слез.

А потом они заговорили. Толя восторгалась: «Такой же! Ну, конечно, вы были помоложе и в буденовке. Я и не улице вас признал бы». А Иван Федорович объяснял, что просто выполнил свой человеческий долг. Он старался напомнить Толе о других людях, которые в те страшные дни пытались прокормить и сберечь сотни ребят. Не сorda с Толи ярко-голубых добрых, благодарных глаз, Иван Федорович вспоминал, что и воспитанники всегда отвечали ему добром. В 43-м году, уже при национальной нации, когда он был несправедливо арестован; дети прошли 35 километров, чтобы защитить своего героя, кормильца. И отстояли.

«А помнишь, Толик?..» «А помнишь, Иван Федорович?..»

Казалось, они встретились для того, чтобы сказать друг другу: мы все помним — и добро и зло. Помним, чтобы передать, как связана реальность, эту нашу память тем, кто родился после войны.

А. Г.

На снимке: Анатолий Иванов (справа) и Иван Федорович Ремизов.



Алексей Шмаринов.

Эту очередную выставку в редакции журнала нельзя рассматривать как первую творческую заявку молодого художника. Работы Алексея Шмаринова уже неоднократно демонстрировались на различных, в том числе на всесоюзных, выставках. А недавно издательство «Молодая гвардия» выпустило превосходный альбом об Италии с рисунками и текстом А. Шмаринова.

На стенах «Юности» он представлен в основном графикой. И лишь несколько холстов, выполненных темперой, знакомят читателей «Юности» с А. Шмариновым-живописцем. Правда, и эти полотна в какой-то мере графичны своим лаконизмом цвета. Но, очевидно, сама природа Севера, которому посвящены картины, диктует строгое графическое решение.

Несколько графических работ с выставки мы публикуем на этих

На стенах «Юности»

СОВРЕМЕННОСТЬ И МАСТЕРСТВО

странницах. На третьей странице обложки вы сможете познакомиться с живописью А. Шмаринова.

Его выставка в «Юности» разделена на два цикла. Первый — зарубежные зарисовки и акварели. Второй — наша Камчатка, куда художник ездил в длительную командировку в прошлом году.

Интересно само по себе сопоставление этих двух циклов. Зрителя уже не единожды встречал виды Венеции с мостиками и гондолами, парижского Нотр-Дама или лондонского парламента. Но когда художник находит свою собственную точку зрения, то даже на эти хорошо знакомые места смотришь по-новому, с интересом.

Алексей Шмаринов на редкость честен и прямолинеен в рисовании с натуры. Он совершенно не забивается о том, оригинал ли его почерк, он не кокетничает техническим приемом. Он использует технику главным образом для максимального напряжения цвета в рисунке, и, может быть, поэтому ему удается так сдержанно и тонко передать лирическое состояние типизмы (например, «Версаль осенью») или сложный индустри-

альный пейзаж («Англия. Тидбери»).

Очень хорошо, когда художник не чурается современного темпа жизни и рисует сегодняшний день честно и прямо — «и упор». При этом в рисунках нет беглой репортажности, случайного кадра: художник все время стремится к монументальному решению компози-



Продавщица кумшинов (Болгария)

ции. И особенно ярко это выражено во втором разделе выставки — в северном цикле.

После нескольких камерной, уютной красоты Европы суровая, романтичная Камчатка производит особо весомое, сильное впечатление.

И в этих работах, как и всегда, самым привлекательным качеством А. Шмаринова является стремление увидеть именно то главное, со-



На летнем промысле (Камчатка).

временное, что так сильно изменяет суровый пейзаж нашего Севера. Художник любуется органическим слиянием новых строений, кораблей, заводов с острыми горными хребтами, холодными бухтами и с удивительным, нетривиальным изображением небом. Такие рисунки, как «Петропавловский плавучий док», «На летнем промысле», «Южная», «Ханалино» или «Причал», говорят о высоком композиционном даровании художника, о его умении быстро улавливать самое главное. Но вместе с тем все эти пейзажи сохраняют свою поэтическую лиричность. Например, Петропавловск и в темперной картине и на рисунке воспринимается не менее лирично, чем тихие кварталы маленького венгерского или итальянского города. Только эта лиричность более сурова, более мужественна.

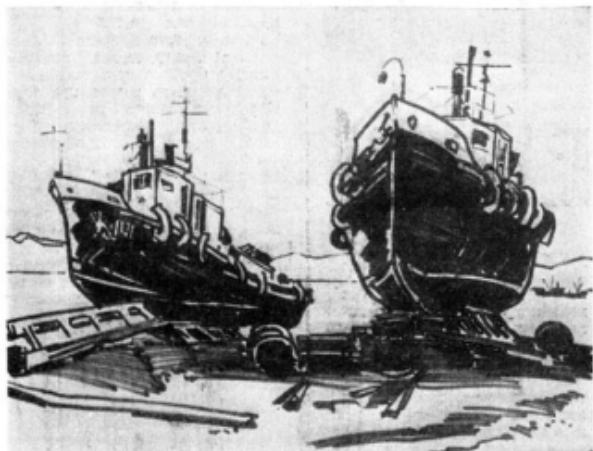
Если попробовать смешать оба раздела выставки и развесить рядом листы «зарубежные» и «камчатские», — все равно было бы ясно различимо «встроение» рисунков, сделанных где-нибудь в Англии или во Франции и Петропавловске. (При этом я, конечно, не имею в виду чисто внешнее различие сюжетов.) «Рыбакий бот» и «Венеция» будто и одинаково нарисованы, а воздух, климат их совершенно различны, и это — важнейшее качество художника, желающего даже в таких быстрых натуральных зарисовках во что бы то ни стало и прежде всего быть совершенно правдивым.



Автопробег.



Лондон. Большой Бен.



Сейнеры.

Почти во всех пейзажах А. Шмаринова присутствуют люди. И все же жаль, что на этой выставке так мало большого, «первопланового» человека; нет таких же острых и ярких, как пейзажи портретов.

Я понимаю, что художник не мог показать в маленьком помещении «Юности» всего огромного материала, собранного им на Севере. Может быть, следовало бы Алексею Шмаринову попытаться создать такой же альбом, как «Италия», только посвященный нашей Камчатке, которая даже после такой небольшой выставки стала нам гораздо ближе, ощущимее.

В. МИНАЕВ

Обсуждение выставки произведений Алексея Шмаринова привлекло в маленький зал «Юности» много художников и искусствоведов.

Художники В. Минаев, Б. Генин, В. Горяев, С. Бродский, П. Покаревский, Н. Коробьев, Ю. Цицерский, М. Захаревский и другие, а также искусствоведы В. Костин, К. Краченко, Т. Михайлова поделились своим впечатлением о выставке, с удовлетворением говорили о том, что Алексей Шмаринов очень быстро прошел путь от ученичества и зрелости. Многие отмечали многосторонность художника и его стремление быть ближе к жизни.

Очень тепло отозвался о камчатских работах А. Шмаринова художник В. Давыдов, побывавший на Камчатке и полюбивший этот отдаленный уголок нашей Родины.

Вместе с тем выставлявшие указывали, что А. Шмаринову подчас не хватает творческих держаний и смелого поиска. Говорилось и о том, что художники в своих работах избегают изображения людей (в его камчатских работах, например, почти не видно образа нашего современника).

Во время состоявшейся в «Юности» беседы молодой художник получил много добрых и ценных советов, которые он сможет с пользой применить в своем творчестве.



ТАКТИКА



ПОВЕЛЕВАЕТ

(Заметки журналиста)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

Постоянные международные турниры, частые межконтинентальные встречи стерли границы различных футбольных школ. Общим достоянием команд высших классов стала высокая тех-

ника игры, атлетизм, скорость, волевые качества, причем ни один из этих компонентов не является большим «секретным оружием». Именно поэтому система игры, определенный ее план, тактическое мышление имеют сейчас решающее значение. При прочих равных условиях теперь побеждает

команда, футболисты которой лучше мыслят на поле, то есть ведут такую игру, которую мы называем интеллектуальной.

Те из тренеров, ком раньше поняли верховенство интеллектуального футбола и поставили силу, скорость, виртуозное обращение с мячом на службу тактике, сумели двинуть свои команды вперед и добиться ощущимых успехов. В данном случае пальмовая ветвь по праву вручена бразильцам. Имея великолепно подобранный ансамбль первоклассных мастеров, они в 1958 году показали в Швеции на шестом чемпионате мира новую тактическую систему игры, которая была полным откровением для всего футбольного мира. Тренеры сборных национальных команд, удивленные необычной игрой заокеанских гостей, потерпели поражение.

Что же нового показали бразильцы?

Прежде всего обратила на себя внимание необычная расстановка футболистов на поле: четыре защитника, четыре форварда и два хавбека. В этой схеме число игроков, действующих в обороне и в атаке, впервые уравнялось. На базе этой расстановки сла родилась новая система игры.

Здесь уместно вспомнить, что за сто лет существования организованного футбола тактическая система менялась только три раза. Она определялась расстановкой футболистов, а в связи с ней и новыми формами игры. Однако отличительной чертой каждой новой системы был рост числа защитников. Сначала их было двое, затем трое, наконец, как мы уже знаем, на шведское поле вышли четыре игрока обороны.

Но расстановка футболистов — это только основа, каркас, на котором держится сложная система игры и предопределяется тактика команды. Она и рождает новые амплуа, новые игровые функции, меняет связи между футболиста-

«Вратарь». Фотоэтюд А. Бодрина.

ми. Стало заметно, например, как мелкий пас, который господствовал при старой системе «дубль-вей», постепенно уступает место средним и длинным передачам. Футбол стал быстрее, интенсивнее, продуктивнее, рациональнее; он потребовал более высокой технической оснастки. Весь этот комплекс и есть широкая, увлекательная система игры, допускающая поправки, развитие, поиски лучших ходов.

Арифметически она выражается так: $1+4+2+4$.

Её-то и называют бразильской новинкой.

ВСТРЕЧА С ВИНСЕНТО ФЕОЛА

В дачном местечке Хундос, что неподалеку от Гетеборга, мне довелось беседовать с Винсенто Феола — одним из авторов новой тактической системы и пропагандистом ее жизнеспособности и привлекательности. Он был старшим тренером сборной команды Бразилии, которая к этому моменту хотя и не была еще чемпионом мира, но своей игрой давала журналистам пищу для самых оптимистических высказываний. Мы гуляли в лесу, на берегу красивого озера, и беседовали о новых формах игры. Феола говорил много и убежденно, но когда мы, устав от долгой ходьбы, сели на скамейку, он взял в руки мою трость и начал на песке рисовать различные схемы расстановки каких-то чертежиков, которые условно обозначали футболистов.

Он сказал:

— Весь смысъ этой перестройки в том, чтобы прикрыть уязвимую площадку у ворот. Поэтому перед воротами в направлении главного удара теперь стоит не один, а два центральных защитника, а затем и два хавбека. Как видите, пробиться по центру стало труднее. Несомненно, это относится и к атаке, в которой теперь участвуют два центральных нападающих. А потому-то особую роль приобрели фланговые атаки, и от крайних форвардов мы ждем иных форм игры и повышенной скорости...

Вечером того же дня на гетеборгском стадионе «Нью Улеви» бразильцы в матче с нашей сборной командой показали свою тактическую систему, в частности преподали предметный урок фланговых атак в исполнении Гарричча.

Помнишь, мы были ошарашены его игрой. Ошарашен был и отличный защитник Борис Кузнецов.

Вся наша команда с трудом сдерживала неистовый написк заокеанских форвардов и все же проиграла 0 : 2.

Тогда, в Гетеборге и Стокгольме, бразильская команда, блеснувшая всеми качествами футбольного мастерства, была на голову выше таких сильных команд, как французская, шведская, советская и западногерманская.

В 1962 году эти же бразильские футболисты, постаревшие на четыре года, повторили свой успех и вновь стали чемпионами мира. Но на чилийском чемпионате им было труднее.

Они встретились с командами, которые применяли их же, бразильскую систему, хотя и в разных тактических вариантах, в разной «национальной окраске». Это и естественно.

У каждого игрока есть свои функции, своя логика действий, воля, инициатива. В процессе игры он разрабатывает все это, шлифует в меру своего мастерства, таланта, опыта, темперамента, «договаривается» ногами то, что не сказал ему и не мог сказать тренер, ибо никто не может предугадать коллизии матча и хаверзность игровых ситуаций.

Так и появляются различные варианты одной тактической системы.

КАКОВЫ ЖЕ ТЕНДЕНЦИИ?

Вот уже шесть лет весь футбольный мир либо копирует игру бразильских футболистов, либо ищет лучшее продолжение новой системы, новые тактические ходы, которые вскоре могут оказаться неожиданными для самих бразильцев. Те команды, которые копировали игру бразильцев и в целом и в деталях, естественно, успеха не имели и начали роптать на... бразильцев.

Другие, в частности итальянцы, истолковали бразильскую игру как оборонительную и, сломав все схемы, предложили миру свой вариант с пятью защитниками, из которых пятый, занимающий позицию у самых ворот, назывался «кликер», или «свободный». Они решали проблему тыла.

Так перестраивался, перевооружался, искал новые пути мировой футбол, в котором борьба двух постоянных началь — «атаки» и «обороны» (или, выражаясь образно, «снаряда» и «броня») — облекалась в новые формы.

Можно смело сказать, что все типичные явления тактической перестройки на мировой арене в ка-

кой-то степени свойственны и нашему футболу.

Не обошлось и у нас без увеличения «проблемами тыла». В этой области нашлись и способные практики и эрудированные теоретики. Они охотно копировали итальянский «вариант» новой системы, выставив чуть ли не на варшавской площадке пятого защитника и назвав его более прозаичным именем — «чистильщик».

В итоге некоторые команды наивысшей лиги, не считаясь ни с какими принципами и системами, выработали практику так называемой «массированной обороны», которая неизменно создавала спасительную супулоку у ворот и... похищала красоту футбола.

Футболисты таких команд походили на молодых, необученных солдат, которые вздрагивают от первого выстрела и готовы отступать. Как правило, этот оборонительный инстинкт не имел ничего общего с тактической системой или продуманным планом действий. Это бессистемье было основано на беликовском принципе «скак бы чего не вышло». Струившись на штрафной площадке, игроки создавали «бетонированную защиту», а тренеры, улыбаясь, изрекали:

— Мы броня; попробуйте пробить ее вашими снарядами...

Иногда такая команда в матче с более сильным соперником удавалось сделать ничью, но разочарованная публика, зевая, покидала стадион. Советский футбол терял свою хорошую репутацию.

Однако в конечном счете «снаряды» научились пробивать «броню», и мачи начали влетать сквозь «бетонированные» заслоны.

Интересно, что команды, играющие с большим числом защитников и «стражами» неприкосновенности ворот — «чистильщиками», в прошлом сезоне пропустили наибольшее число мячей. Так, харьковский «Авангард» пропустил 56, московский «Локомотив» — 54, ереванский «Арарат» — 57, куйбышевский коллектив «Крылья Советов» — 53 мяча. Это цифры-свидетели. Они дают показания о провале тактики массированной обороны.

Но в какой-то степени «бетоники» принесли пользу нашему футболу, ибо они научили форвардов многих наших команд вливаться в мощные оборонительные линии и бомбардировать ворота.

В частности, мы это видели в матче на Кубок Европы сборной СССР против итальянской команды. Апологеты оборонительной игры еще раз могли тогда убедиться, что защищаться нужно не числом, а умением.

ДЕРЖАЩИЙ НИТИ ЗАГОВОРА

Тактическое перевооружение, естественно, коснулось не только линии обороны. Значительное изменилась роль хавбеков и особенно одного из них — так называемого «диспетчера», или, как удачно назвал его С. Сальников, «держащего нити заговора».

Это образное выражение очень точно определяет роль «диспетчера». В момент, когда он получает мяч, все преобразуется: его партнеры приходят в движение, пытаясь занять позицию, свободную от бдительных взглядов защитников; защитники же, не зная, что может предпринять «диспетчер», должны следить за ним и за беготней форвардов, на первый взгляд мало объяснимой.

И вот в этот момент раскрывается творчество игрока, «держащего нити заговора». От его хода зависит направление и успех атаки или ее провал.

Образом такого «диспетчера» был бразилец Адида. Помнишь, в Стокгольме в 1958 году в решаю-

щих матчах чемпионата мира он умело направлял в атаку своих форвардов.

Спустя четыре года я вновь увидел Адида, но сей раз в другом конце света — в Чили. В городке Вилья-дель-Мар, что на берегу Тихого океана, где тренировались бразильцы, мне удалось наблюдать, как этот уже пожелавший футболист с мировым именем подолгу отрабатывал «окрученный удар», или, как теперь его называют, «сухой аист». Потом он мне сказал:

— Я потерял скорость. Мне много лет. Теперь хочется, чтобы мяч бегал за меня. Вот я и тренирую резные удары на разные дистанции.

Эти слова мне припомнились спустя две недели в Сантьяго, в финальном матче чемпионата мира. Тогда Адида, медленно, но разумно передвигаясь по полю, снабжал своих форвардов неожиданными для противников резанными передачами. Он по-прежнему держал в своих руках «нити заговора».

Прекрасно подражали ему игроки чехословацкой сборной И. Масо-



Встреча сборных команд СССР и Италии на Кубок Европы. Москва. 1963 год.

Фото А. Бочинина.

пуст, югослав Д. Шекуларац, чилиец Х. Торо. Среди наших футболистов лучшим «заговорщиком» был И. Нетто.

Новая система породила новый тип хавбека — «заговорника», который больше не держит «своего» инсайдера, так как инсайдов теперь нет.

Получив свободу, хавбек стал активным игроком середины поля; решающая роль его бросается в глаза.

КАК НАСТУПАТЬ: ТРЕМЯ ИЛИ ЧЕТЫРЕМ ФОРВАРДАМИ?

Наименее законченной выглядят тактическая перестройка линии форвардов. И если крайние нападающие сравнительно хорошо освоили новые функции, стали играть быстрее и маневреннее, то центральные нападающие пока не нашли своей игры.

Можно сказать, что в советском футболе появилась проблема центральных форвардов. По новой системе, как мы знаем, их должно быть двое. Но попытки использовать инсайдера в роли центрального форварда успеха не принесли. Опыт показал, что подобная переквалификация удается редко. Многие инсайды охотнее становятся хавбеками. Примеры В. Амбарцумяна из «Спартака», А. Биби из киевского «Динамо», Б. Батанова из «Торпедо» хорошо иллюстрируют эту мысль.

Дефицит атакующих центров неизменно ломал стойкую, продуманную, очень гибкую и эффективную тактику атаки.

Появились новые формы наступательных действий — с тремя выдвинутыми вперед форвардами и тремя полузащитниками. Это не является новостью. Подобную тактику нападения мне приходилось видеть еще на олимпийском турнире в Риме четыре года назад. Тогда ее очень эффективно применяли югославы в финальном матче против датчан. Да и сами бразильцы на последнем чемпионате мира, после того, как Пеле получил травму, решили оттянуть назад левого крайнего Загалло, который, правда, показал исключительную энергию и всегда успевал к моменту атаки.

С тремя выдвинутыми вперед находящимися играл «Спартак» во второй половине прошлогоднего сезона. Что побудило команду пойти на такую тактику, неспростающую ее наступательному стилю? Прежде всего отсутствие равноценного Ю. Севидова центрального на-

падающего. К тому же команда весь сезон провела без правого крайнего. Эти недостатки компенсировались подбором отличных хавбеков, которые, по существу, были вторым эшелоном форвардов: И. Нетто, Г. Логофет, Ю. Фалин, В. Амбарцумян, С. Рожков — на выбор. Поэтому «Спартак» часто вел наступательные действия шестью футболистами, трое из которых в самые неожиданные моменты в самые неожиданных местах вклинивались в «линию огня». Принесло это успех? Да, пока совершили окончательно не приспособились к подобной манере игры. Конечно прошлогоднего сезона экс-чемпион провел слабее.

В нынешнем году с приходом Б. Абулханирова спартаковцы вновь попробовали игру с четырьмя форвардами. Матчи в Болгарии принесли им успех. Как будет дальше — посмотрим. Видимо, нужно искать новые тактические варианты внутри системы. Она дает для этого широкие возможности.

К сожалению, многие команды тоже начали играть с тремя форвардами, но не с целью атаковать двумя эшелонами, как это делал «Спартак». «Демобилизованного» форварда они откомандировывали в линию обороны, считая, что «так спокойнее».

В прошлом году, как известно, наибольший успех выпал на долю московских динамовцев. На мой взгляд, они [как, впрочем, и их минские и тбилисские одноклубники] правильно поняли бразильскую систему и сумели применить ее, не поступившись основными принципами советской школы футбола — ее коллективизмом, быстротой, маневренностью, атлетической выполнимостью. Тренеры А. Пономарев и В. Блинов хорошо поняли, что при решительном тактическом перевооружении легче привить новые функции молодому футболисту, чем переучивать старого. Вот почему «качественный скачок» мы увидели у В. Фадеева, В. Глотова, В. Аничкина, Э. Мурдика, В. Маслова, В. Короленкова и других мо-



Атакуют советские футболисты. Игроки сборной команды Италии вынуждены уйти в глухую защиту.

льных футболистов. Теперь уже они составляют основной костяк команды и создают «тактический фон».

Если к этому добавить, что и опытные мастера (В. Кесарев, В. Царев, Г. Гусаров, И. Численко) хорошо поняли свои новые задачи, то станет понятным успех московских динамовцев, десятый раз завоевавших почетное звание чемпионов СССР.

Но у динамовцев еще не завершена перестройка атакующих линий, хотя оба крайних форварда — В. Фадеев и И. Численко — внесли в игру разнообразие, маневренность и, я бы сказал, «моторность». Они лучше других усвоили уроки, преподанные нам бразильцами.

Примерно так же играли и минчане (тренер А. Севидов). Разница лишь в том, что у них есть не только два стоппера, но и два центральных нападающих — Э. Малафеев и М. Мустыгин, которые показали нам отличный образец игры сдвоенных центров, а также прекрасные индивидуальные дей-

ствия. Пусть они играют пока хуже Пеле и База, но зато они сумели найти новое в действиях центральных форвардов — комбинационную игру, которая плохо удавалась бразильцам на последнем чемпионате мира.

Сейчас начался новый сезон. Прошлогодний был «пробным камнем» тактической перестройки. Отчетливо проступали огни. В поиске это неизбежно.

Тактическая мысль, высказанная на теоретических занятиях в стенах уютных комнат, претерпевает самые неожиданные превращения на зеленом футбольном поле.

Контрольные матчи на юге да и первые туры Всесоюзного чемпионата не дают пока повода для анализа и тем более выводов. Подождем.

И все же новая тактическая система, приподнятая на дрожжах отечественного футбола, имеет хорошие образцы. Мы должны на- капливать крупные этого опыта; из него можно будет извлечь новые тактические законы.



Галка ГАЛКИНА

МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



Рисунок И. Бронинкова.

Это было чудесное утро. В это утро я решила родиться как первооткрывательница, родиться как прародительница. Этот момент я откладывала со дня на день вот уже много лет. Я давно хотела выбрать самую белую страницу науки и заполнить ее до конца своим твердым и убористым почерком. Но где найти сегодня эту белую страницу, на чём сосредоточить скопившиеся силы, я не знала.

В это утро за завтраком меня осенило. Квадраты кругли! До сих пор человечество не решило вопроса о квадрате круга. Вот где я скажу свое слово!

Покончил с чаем, я села за стол, положила перед собой лист бумаги и взяла в руки карандаш. Первые две формулы дались легко, потом пришлося надолго задуматься.

Главному течению мысли мешал сильный шум с улицы,

лассе не обращать на это внимание, но дальше одного уравнения дело не пошло. И вдруг я поняла, что вся проблема квадратуры круга — в уличном шуме. В городах живет много талантливых математиков. Они тоже ломают свои головы в своих кабинетах, но из-за этого проектирования взглаза автомобилей тонкая нить их рассуждений рвется, так и не достигая решения сложной задачи.

Я подумала, что добьюсь большего, если расчищу путь к гениальным открытиям, уничтожив уличный шум. Мое имя засияет не только в гробовой тишине улиц, но будет связано со всеми вершинами науки и быта.

Я открыла книгу «Торможение легковых и грузовых автомобилей». Первые две главы дались легко, но с третьей справиться было труднее. В третьей было четыре опечатки. Это заставило меня надолго задуматься над содержанием главы.

Все тормоза: жесткие, полужесткие, переведочные, масляные и гидравлические — слабеют перед опечатками — всеми сильным тормозом прогресса.

«Но так было до сегодняшнего дня. Сейчас же включаясь в эту область», — думала я, взбираясь по лестнице к потолку, где у меня стояли тома энциклопедии на букву «П» (надо было ознакомиться со значением слова «полиграфия»).

Мне оставалось каких-нибудь пять ступенек, когда я почувствовала, как лестница уходит из-под ног. Я оглянулась и увидела, что нижний ко-

нец лестницы скользит по полу, все больше и больше отдаляясь от стены. Я тем временем все быстрее и быстрее приближалась к полу.

Перед тем как упасть, я сделала открытие. Я поняла основной просчет человечества за всю многовековую историю: до сих пор не изобретены нескользящие лестницы.



Смазав раскашенную коленку мазью из плоской коробочки, я засела за чертежи. Ступеньки я решила поставить под углом 45°, а для уменьшения коэффициента трения вертикальные бруски закрепить так, чтобы... Чертовски ныла коленка.

«До чего же слаба еще медицина!» — воскликнула я про себя и решила изменить состав мази в плоской баночке.

Я добавила в мазь соды, горчицы, рисового ствара, газированной воды и поставила все это на спиртовку. Баночка вспыхнула: она оказалась пластмассовой. Огонь кинулся на шторы. Я кинулась за огне-



Дело в том, что внизу, под моими окнами, стоял светофор, и все машины целыми днями тормозили около него со страшным взгом. Я попыта-



тушителем. Огнетушитель оказался незаряженным.

Я срочно начала изобретать

эффективный способ тушения пожаров без противопожарных средств. Я уже почти вывела зависимость цвета пламени от температуры воды, как загорелся лист бумаги, на котором я выводила. Пришлось переключиться на проблему несгораемости бумаги. Тем временем пожар затих, и я услышала, как что-то разномерно тикает, сбивая меня с мысли. Погарив взглядом, я увидела будильник, который чудом уцелел от пожара. Присмотревшись пристальнее, я окликнула и вскрикнула. Оикнула потому,

что стрелки показывали полночь, а вскрикнула следующее:

«Вот почему я ничего не успела за деньги! Вот почему не доделала начатых дел! Время! Надо усовершенствовать время! Надо сделать так, чтобы день длился год, а неделя — век. Только тогда я успею родиться, родиться как первооткрывательница и прародительница».

Назначив на завтра день своего рождения и положив под голову «Самоучитель ремонта часов», я крепко заснула.

ПРО ГВОЗДЬ

(Из цикла «Гротески»)

Марк РОЗОВСКИЙ

Рисунок И. Оффенгендена.

Украли гвоздь. Кто — неизвестно.
— Ну, и кто?.. Подумавши, гвоздь украли! Что мы, без одного гвоздя прожить не сможем?! — сказал Рабочий.— Ах, какое преступление!.. Вот если бы молоток украли...

Украли молоток. Кто — неизвестно.

— Ну и что?.. Подумавши, молоток украли! Что мы, без одного молотка работать не будем?! — сказал Мастер.— Ах, ах, какое преступление!.. Вот если бы коленчатый вал украли...

Украли коленчатый вал. Кто — неизвестно.

— Ну и что?.. Подумавши, коленчатый вал украли! Что мы, без одного коленчатого вала продукцию не давим?! — сказал Начальник цеха.— Ах, ах, ах, какое преступление!.. Вот если бы турбину украли...

Украли турбину. Кто — неизвестно.

— Ну и что?.. Подумавши, турбину украли! Что мы, без одной турбиной план не выполним?! — сказал Директор завода.— Ах, ах, ах, какое преступление!.. Вот если бы целую гидростанцию украли...

Украли гидростанцию. Кто — неизвестно.

— Ну и что?.. Подумавши, гидростанцию украли!. Что мы, без одной гидростанции светлое будущее не построим?! — сказал Министр.— Ах, ах, ах, ах, какое преступление!.. Вот если бы...

Был если бы у такого Рабочего — расческу, у такого Мастера — авторучку, у такого Начальника — часы, у такого Директора — шляпу и у такого Министра — портфель украли,— что бы тогда они сказали, а?



БИЛЕТ И ПИОН

Младшему брату было восемь лет. Старшему — пятнадцать. Старший очень любил младшего и захотел сделать ему приятное. А младший очень любил футбол. И еще почему-то — цветы. Особенно пионы. Особенно красные пионы. Маки тоже красные, но в маках какая-то черная серединка. А красные пионы — целиком красные...

И старший сказал младшему:

— Что тебе купить? Красный пион или билет на футбол?
— Красный пион, — сказал младший, — или билет на футбол.

— Нет, — сказал старший, — ты должен выбрать определенно: красный пион или билет на футбол.

— Билет на футбол, — сказал младший, — или красный пион.

— Нет, — наставлял старший, — что-нибудь одно: красный пион или билет на футбол...

Младший представил себе где-нибудь на восточной трибуне стадиона... Обязательно должен выиграть «Спартак»... Он в красных футболках... Правой рукой младший сжимает руку старшего, а левой — красный пион...

И младший сказал:

— Красный пион и билет на футбол.

— Да пойми же...

Но младший не мог понять, а старший не хотел объяснять.

Да и что надо было понимать и что надо было объяснять?

Что билет на футбол стоил пятьдесят копеек?

Что красный пион стоил пятьдесят копеек?

Что у старшего в кармане было только пятьдесят копеек?

Нет. Младший не мог этого понять.

А если бы он понял, то, наверное, стал бы уже взрослым человеком.



В Н О М Е Р Е :

Михаил СВЕТЛОВ. «Музыка ли, поенье, что ли, эх ли...» В большинце. Стихи	3
Фазиль ИСКАНДЕР. Весна. Утро в Дубне. Баллада о кедовочке из саркофага. Альпийский холод. Зимние игры. Стихи	4
Анатолий АНАНЬЕВ. Козыри монаха Григория. Повесть	6
Яков КОЗЛОВСКИЙ. Сыну. «С утра до вечера мело...» Конь. Советники. Стихи	46
Юрий ПИЛЯР. Люди остаются людьми. Роман. (Окончание)	47

К нашей складке

И. ПРУСС. Национальная гордость (к 200-летию Эрмитажа)	64
Римма КАЗАКОВА. Рыбалка. «Моя учительница — поэтесса» В сорок втором. Сыну вместо колыбельной. «О, жаждя детская учиться...» Стихи	66
Иgorь БАХТЕГЕВ. 250 часов с Лениным	68

Трибуна «Юности»

Иван ВИНИЧЕНКО. Запах земли	73
Димитр МЕТОДИЕВ. Открытие мира. Стихи. (Перевод с болгарского)	76

Наш фельетон

Александр ВАСИНСКИЙ. Это было в пансионате на Клязьме	77
Г. ФЛЕРОВ. Путь к вершинам. (Статья написана по просьбе «Юности»)	82

Знаки солдатской доблести

Владимир ИШИМОВ. На гимнастерке — орден Славы	87
К. К. РОКОССОВСКИЙ. Пусть знают их имена	88

Среди книг 90—91

Окно в мир прекрасного	92
Геннадий ПОЖИДАЕВ. Восхождение в музыку	92

Владимир ФАЙНБЕРГ. Быстрое время. Стихи.	95
--	----

Заметки и корреспонденции

★ Ада БАСКИНА. Бойся равнодушия, комсомолец!	
★ И. ТЕЛЬМАН. «Дело № 14». ★ Ученый творит чудо.	
★ Илья СУСЛОВ. Школьный музей села Пархомовка.	
★ И. БОРОВА. «Юность» в Ленинграде. ★ А. Г. Двадцать лет спустя	96—103

На стенах «Юности»

В. МИНАЕВ. Современность и мастерство	104—105
---	---------

Спорт

Мартын МЕРЖАНОВ. Тактика повелевает	106
---	-----

«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора)

★ Галка ГАЛКИНА. Мой день рождения. ★ Марк РОЗОВСКИЙ. Про гвоздь. ★ Арк. АРКАНОВ. Билет и пион	110—112
--	---------

На обложке — рисунок художников Г. НИКИТИНОЙ и Э. РАПОПОРТА.	
--	--

На 3-й стр. обложки: Бухта Южная глубокая (Камчатка). Работа художника А. ШМАРИНОВА.	
--	--

Художественный редактор
Ю. Цишелевский

Технический редактор
Л. Забкина

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-63.
Рукописи не возвращаются.

А 00386. Подп. к печ. 30.IV—1964 г. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № 937.
Заказ № 816. Формат бумаги 84×108^{1/4}. Вум. л. 3.63. Печ. л. 11.89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



На стендах
«Юности»



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120